МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

11•1981

Дмитрий Андреевич Фурманов

К 90-летию со дня рождения

Портрет работы художника В. Носко

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ

11 • 1981

Основан в 1922 году

В НОМЕРЕ:

ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ

Зори братства. Платон ВОРОНЬКО. **Память.** Дмитро ПАВЛЫЧКО. **«Опять стоит перед глазами...». Притча о любви.** Борис ОЛЕЙНИК. **Магистраль. Девятое мая сорок пятого. Возвращение. Старая песня на новый мотив.** Петр ЗАСЕНКО. **Косари. Мой самолет.** Олесь ЛУПИЙ. **Родное.** Лина КОСТЕНКО. **«Глядятся розы в зыбку золотую...». Смертельный падеграс. Листопад.** Иван ДРАЧ. **Как мы ездили в гости к Чехову. Минорный пейзаж.** Микола ВИНГРАНОВСКИЙ. **«Из-за лимана, в жарком поле...». Тополь.** Тамара КОЛОМИЕЦ. **«Пастушеская сумка...».** Леонид ГОРЛАЧ. **Монолог Комсомольска-на-Амуре.** Микола ФЕДУНЕЦ. **Аллея дружбы в Ямполе.** Сергей БУРЛАКОВ. **«Электролинии стройные опоры...».** Валентина ТКАЧЕНКО. **«Тугие стебли нож легко срезает...».** Анатолий БОРТНЯК. **Соловей.** Юрий СЕРДЮК. **«— Уж осень, мама?..».** Станислав СТРИЖЕНЮК. **Сходство.** Ганна ЧУБАЧ. **Отчим.** Наталья АНИКЕЕВА. **«Может, кому-то поздно...».** Стихи. Перевели с украинского Юрий Денисов, Лев Смирнов, Анатолий Заяц, Николай Котенко, Борис Попов, Игорь Тарасевич, Тамара Истомина

Юрий ПОМЧЕНКО. **Дивизион.** Повесть 27
Олег ПОСКРЕБЫШЕВ **Годовые кольца.** Стихи 79
Михаил ГУСАРОВ. **Смена дней.** Стихи 84
Николай ДЕМЕНТЬЕВ. **Воскресенье на озере.** Повесть 88
Борис ШИШАЕВ. **Образ Родины.** Стихи 125

СТИХИ МОЛОДЫХ

Игорь КРОХИН. **Горсть земли** 129
Семен КЛЕБАНОВ. **Прозрение.** Повесть. Окончание 132

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ «ТОВАРИЩ»

К 60-летию СССР. Рассказываем об Эстонской Советской Социалистической Республике 161

●

Евгений ДВОРНИКОВ. **Свет изначальный.** Стихи 224
Николай ШИРЯЕВ. **Через время.** Стихи 228

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Навстречу XIX съезду ВЛКСМ

Виктор КАМАНИН. **Жуковский корень** 229
Алексей ПОДОЛЬСКИЙ. **Грозные крылья** 235

Подвигу — 40 лет

Николай МИХАЙЛОВСКИЙ. **В те блокадные дни...** 240

●

Геннадий ГУСЕВ. **Путь Пробуждения, или Странствия Великой Мечты.** Окончание 245

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Рубежи творческой зрелости

Андрей БЛИНОВ. **За гранью грань.** О поэзии Игоря Ляпина 296

К 90-летию со дня рождения Д. А. Фурманова

Георгий СУРИН. **Комиссар** 303

НАШЕ ОБОЗРЕНИЕ

С. ШЕШУКОВ. **Правда истории.** Николай ЗАЙЦЕВ. **Наследие.** Е. ПАНФИЛОВА. **Сокровища дятьковской местины** 308

Наш адрес:

125015, Москва, А-15, Новодмитровская ул., д. 5а.
Телефоны редакции: приемная — 285-88-58; отдел прозы — 285-80-55; отдел поэзии — 285-88-40; отдел очерка и публицистики — 285-80-26; отдел критики — 285-80-14; отдел «Товарищ» — 285-89-66; секретариат — 285-80-16.

© «Молодая гвардия», 1981 г.

ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ

ЗОРИ БРАТСТВА

Платон ВОРОНЬКО

ПАМЯТЬ

Он — весь порыв, он, кажется,
в пути,
Вокруг не пули свищут — соловьи.
И чаши вишен поднял ввысь
Путивль
За земляка в знак славы и любви.
Струится пена через край, светла,
Спадая в реку с берегов крутых,
И поднимают чарки вкруг стола
Те, кто остался до сих пор в живых.
Всего лишь горсть осталась их,
рубак,
Из многих сотен — сотня за столом.
Кто пал в бою, кто умер просто так,
А у живых — седины над челом.
Но память — с ними, и в единый
миг
Она сведет живых и мертвых вновь.
Тогда былое снова загремит,

Бои возобновятся — кровь за кровь.
И всяк себя увидит молодым
В том, партизанском, мстительном краю,
Вперед бегущим сквозь огонь и дым,
В одной тачанке с Ковпаком, в бою...
Умолкнут речи. Памяти слова
Беззвучны, а в душе звучат, как гром.
Тут песня юных зазвучит сперва —
Плеснет мелодией за окоем.
Вольется в тризну пенье сыновей
И внуков, крепких телом и душой.
И дружно ветераны сотней всей
Подтянут этой песне молодой.
А он молчит, как будто внемлет им,
И тишина уносит песню прочь.
Нет-нет, да и вспомянется иным
Их первая, их боевая ночь,
Тогда в лесу на мине, как вулкан,
Взорвался вражий танк, огнем объят.
Он первый на счету у партизан.
Приятен взрыва дальнего раскат!
Шли рощею каратели, в обход,
Но партизаны крепче, чем броня.
Ковпак в атаку бросился — вперед:
— А ну подсыпьте, хлопцы, им огня! —
И сорок шесть винтовок льют огонь —
Врага назад заставят повернуть.
Потел приклад, а ствол — рукой не тронь...
Наутро — в путь, тяжелый, дальний путь.
Воспоминанья дальше потекут —
Отсюда, из Путивля, — до Карпат.
И Рудневых до боли обожгут.
Ведь там, в горах, — отец, и сын, и брат...
Раздастся тост победный, и Ковпак
На миг окажется вблизи стола,
И вновь на круче встанет, как маяк.
Венок из звезд заблещет вкруг чела.
Он — весь порыв, он, кажется, в пути,
Вокруг не пули свищут — соловьи.
И чаши вишен поднял вверх Путивль
За земляка в знак славы и любви.

Перевел Юрий ДЕНИСОВ

Дмитро ПАВЛЫЧКО

* * *

Опять стоит перед глазами,
Как в давнем детстве, мать моя...
Глаза смеются васильками,
И в жите глохнет колея.

Сорочка белая сверкает,
Белее яблони. Чело
Платок зеленый оттеняет,
Как птицы сказочной крыло.

Горит на матери монисто,
И видят очи далеко...
А солнце пахнет так душисто,
Как только пахнет молоко.

Родимая, побудь со мною,
Покуда солнца не напьюсь.
Покуда свет живой волною
С моей души не смоет грусть.

Хочу твое услышать слово,
Стать чистым-чистым, как родник,
И к песне колыбельной снова
Припасть всем сердцем хоть на миг,

Чтоб материнские печали
Поили мужеством меня,
Чтобы на времени скрижалях
Хоть слово смог оставить я.

Чтоб с миром, полным непокоя,
Не прерывало сердце связь,
Под материнскою рукою
Нежней и чище становясь.

ПРИТЧА О ЛЮБВИ

Жил мастер в старом Косове. Бывало,
На ярмарку он приносил охапки
Свирелей разных, дудок и сопилок;
Брал каждую и пробовал на звук,

И каждая мгновенно отзывалась:
Та плакала, а та смеялась звонко;
Та щебетала, как ребенок малый,
А та соловушкою разливалась
В честь дней весенних и любви счастливой;
Та, как вдова бессонная, тужила
О времени своем невозвратимом,
А та вонзалась в сердце острой сталью,
По лезвию которой кровь стекала
Невинная; та песней колыбельной
Звучала и во мраке темной ночи
Светилась вся, облитая слезами;
А та — одна за голос целой свадьбы
Могла сойти: такой была счастливой,
Богатой отголосками. Казалось,
Что музыкант мог взять простую палку,
Иль батожок, иль страннический посох —
И превратить их легким дуновеньем
В волшебный инструмент. В его руках
Свирель листвой зеленой шелестела,
Душа лещины воскресала в ней,
И над старинным Косовом, как в сказке,
Орехи золотые вызревали —
Любви и ревности земной звезды.
Никто не знал, что музыкант играет
Лишь для своей возлюбленной далекой,
Что он, играя, видит, как она
В платочке золотистом на вершине
Горы высокой, среди туч небесных,
Стоит и слушает, и целый мир
Проходит перед нею в море звуков, —
Сама ж она то плачет, то смеется,
Целуя звуки тех свирелей дальних,
Встречая песню, как цветок пчелу.
Но вот однажды все свирели разом
Заплакали: невеста за другого
Вдруг вышла замуж — стало грустно в мире;
И солнце в небе словно потемнело,
Как явор одинокий в час ненастья.
А после... после снова засмеялись
На ярмарке сопилки и свирели.
Они смеялись, но был тяжкий камень
В душе у всех в той толчее торговой:
Все оттого, что больше не грустила

Свирель, а только смех один дурачил
Всех, как купец, за счастье выдавая
Беду и горесть, скрытые глубоко.
Ну а потом и вовсе перестал
Ходить на площадь с флейтами своими
Великий музыкант... Не знаю, где он...
Безумный смех — любви несчастной знак —
Переживется, мастер! Ты вернись
К нам и играй!.. И я смеялся так
И так рыдал, пока не догадался,
Что та любовь на высоте небесной —
Не смех, не плач, а лишь одна печаль!

Перевел Лев СМИРНОВ

Борис ОЛЕЙНИК

МАГИСТРАЛЬ

Опавшею листвой земля устелена,
Ласкает снег Богданово плечо.
А семафорам, словно в мае, зелено,
И вдаль дорога зелено течет.
Еще разлука с нами не венчается,
Еще весь в дреме голубой вагон,
Но нас уже зовет с Байкала чаечка,
И вальс амурский всколыхнул перрон.
Берем в дорогу с берега днепровского
Все, что нам с детства Родина дала, —
Садок вишневый да роман Островского,
Грусть милых глаз да верных два крыла.
Давай-ка, друг, отцовскую гармонию,
Пускай напомнит нам далекий бас
Годов тридцатых нашу комсомолию,
Что открывала этот край для нас!
Постигнем в непогодь законы чести мы
И закалим на злых морозах сталь,
Как две струны, натянем мы для вечности
Прямую, словно совесть, магистраль!

Перевел Юрий ДЕНИСОВ

ДЕВЯТОЕ МАЯ СОРОК ПЯТОГО

Словно гляжу я в бинокль,
Только бинокль перевернут:
С криком бегу на урок,
Ветер мне льется за ворот.

Память хранят о войне
Хмурые в хате оконца.
Кажется «мессером» мне
Даже журавль против солнца.

Все еще дышит войной,
Все притаилось сторожко.
Кажется, вот подо мной
Вдруг оборвется дорожка.

Спит в каждой хате очаг,
Вестью не тронут большою
Ни про разбитый рейхстаг,
Ни про салют над Москвою.

Я ж от предчувствий дрожу,
Школьную дверь открываю,
Перелетаю межу,
В эру другую влетаю.

Там — тишина, тишина,
И, как на дальней планете,
Вдруг чей-то голос: — Война
Вот и окончилась, дети!

Взрослыми стали сыны.
Но в золотистой той шири
Все я бегу из войны,
И просыпаюсь вдруг... в мире.

Лезвием тонким ножа
В поле широком и сиром
Острая блещет межа
Между войною и миром.

Грань ненадежна, как нить,
Ветер дохнет — и порвется.

Но перейти, может быть,
Мне ее ввек не придется.

Что же мне делать? Бежать,
С пулей шальною столкнуться,
Гильзою в травах лежать,
Только бы... в мире проснуться!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

С неба звезд не хватал этот тайный агент,
Но свой долг исполнял и во время молебна.
Тут, в глуши, недреманное око потребно:
Ненадежный повсюду кишит элемент!

...Затерялася Шуша меж белых снегов —
Небольшое село в необъятной Сибири.
Не укрыться нигде посреди этой шири:
Видно всех, как на белом листе муравьев.

И когда, свою ссылку отбыв,
этот край
Собирался покинуть его подопечный,
Затужил надзиратель до боли сердечной:
Он Ульянова знает насквозь — ну, конечно!
А другого пришлют — все с азов начинай!

...Отзвенел станционный последний звонок,
И, как только за сопками скрылись вагоны,
Как велит предписание, сторож короны
Вмиг отстукал депешу: «Отъехали в срок».

Все ты знал, надзиратель,
и лишь об одном
Ты в тот миг не догадывался, пожалуй:
Вез Ульянов на родину
взрыв небывалый,
Что уже прогремел под высоким челом!

И не знала охранка,
что в поезде том,
Канцелярский блокнотик держа на коленях,
Возвращается в о ж д ь.
Приближается Л е н и н.
...Закипала речная вода подо льдом.

СТАРАЯ ПЕСНЯ НА НОВЫЙ МОТИВ

Я тебя любил, я так любил,
Горе мое, злато мое, лада,
Что слова от счастья загубил,
Не найдет никто их, и не надо!

К твоему окну я, сам не свой,
Подплывал, как лебедь белокрылый,
Ты ж лукаво, как на рану соль,
Мне бросала: «Здравствуй, сватик милый!»

Как-то раз отец меня в ночи
Подстерег и говорит мне:
«Хлопче!
Ты к ней стежку даром не топчи,
К ней давно сосед наш стежку топчет.

Знаю, эта правда хуже лжи.
Только пусть уж будет так, как вышло.
Грянь о землю лихом, не тужи,
Про других послушай, что там слышно!»

На край света, в травы, в забытье
Побежал я со своей бедою.
Только ты на горе на мое,
Где б я ни ступал, цвела звездою.

Может, кто-то зельем опоил,
Памятью той сердце растревожа, —
Я жену за то лишь полюбил,
Что она с тобой красою схожа!

Думал, что зарос травою след...
Но увидел дикой розы пламень,
Соловьем запел весь белый свет,
А на сердце — тот же старый камень.

Косы твои вьются, как в дыму,
Издалека светишь юным станом...
Стала ты женой давно ему,
Ну а мне навек звездою стала!

Перевел Лев СМИРНОВ

Петр ЗАСЕНКО

КОСАРИ

Мы косили хлеба на широком днепровском раздолье,
Нас на ужин не ждите с тоской в постаревших глазах...
Мы не пали в бою на искромсанном танками поле, —
Просто мы, косари, на ночевку остались в степях.

В изголовье себе постелили мы спелое жито,
И снопами легли, и сомкнули уста навсегда...
Спим натруженным сном, грудь немецким свинцом
не пробита, —
Просто страдная ночь растянулась для нас на года.

Ясный месяц с небес разливает свой свет по долинам.
Зверь и птаха уснули. Ни друга вокруг, ни врага.
Мы встаем по ночам и тревожным ключом журавлиным
Пролетаем над полем и белые косим снега.

Мы — молчанье само, наши песни безмолвны, как ночи.
Не зерно — спелый колос, — то сердце роняет слова.
Мимо дремлющих сел, словно тени, проносимся молча,
После нас на земле вырастает забвенья трава.

Не тревожьте себя, не ищите звезду на могиле,
Не грустите о нас, наши матери, жены, друзья.
Нас работа зовет — мы планету не всю обкосили,
Мы б вернулись домой, да вернуться домой нам нельзя.

На полдневных ветрах наши косы звенят невесомо,
Перед нами — века, словно золото наших полей.
Нам обед не несите, мы слишком далеко от дома,
Только помните нас, молодых навсегда косарей!

МОЙ САМОЛЕТ

Самолет мой не спит.
Сушит крылья средь ночи.
Как пчела, сушит крылья у древних могил.
Слыша дьявольский грохот, стою у обочин,

И об очи мои
Трется вымытый мир.
Входит в плоть
Нарастаньем моторного гуда,
Миллионами жизней
За плечи трясет,
И клянет,
И ласкает,
И молит — покуда
Вдруг на полную мощь меня не заведет.
Всходит солнце
И дарит мне луч на прощанье.
Гнутся в синие дуги небес виражи...
Посылай меня, век,
На такое летанье,
Чтоб достичь мне высот
Человечьей души!

Перевел Лев СМИРНОВ

Олесь ЛУПИЙ

РОДНОЕ

1

С восходом солнца
Вижу я нежданно:
Каштаны листья щедро развернули.
Как журавли, над Заднепровьем краны,
И золотой Крещатик, словно улей.

С восходом солнца
Видеть синь над миром,
Над городом, который миру снится.
И видеть свет печерской сказки милой,
Над площадью —
Богданову десницу.

С восходом солнца
Знать, что вы со мною —

Каштан в цвету,
Разлившиеся реки.
Что все вокруг —
Простое и родное,
В душе неугасимое навеки.

2

В мае цветущие вишни
Слаще созревших плодов.
Доброе утро,
затишье
Киевских белых садов!
Здесь, под кипеньем зеленым,
Я, отрешаясь от дел,
Шел молодым и влюбленным,
С каждой весной молодел.
В окнах, как мир и свобода,
Тихая верба цвела.
Наша простая работа
Вольно, как речка, плыла.
Дума летела, как птица,
За голубые леса,
Чтобы услышать
в светлице
Добрых людей голоса.
Молодость не за плечами —
Молодо верится мне,
Что без вражды и печали
Люди живут на земле.

Перевел Анатолий ЗАЯЦ

Лина КОСТЕНКО

* * *

Глядятся розы в зыбку золотую,
У хаты на реснице синий свет,
И тайна подошла к тебе вплотную.
Начало есть уже.
А слова — нет.

Еще ни роще, ни родному крову
Непостижимых не дано имен,
И туча, не привязанная к слову,
Плывет, пересекая небосклон,

И каждый пальчик сам себе Бетховен,
И в клюве воробья трепещет весть
О том, что за окном полно диковин.
Нет слов еще.
Поэзия же — есть!

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПАДЕГРАС

Земля в космическом кружи́тся вальсе,
Рыдают скрипки — звездные смерчи.
Гармония сквозь скрежет диссонансов
Проносит ритмы нежные в ночи.

Порой прихлынут к сердцу эти ритмы.
Тоску, как струны, черный рвет смычок.
Нальется тело силой первобытной
И кровь пройдет по жилам, словно ток, —

И вот паркет уже натерт до глянца,
И на душе тенет бывалых нет.
Ох, я люблю неугомонность танца,
Печаль гитар и страстность кастаньет!

Гремят высоко трубы полонеза,
И шапкой бьет о землю перепляс.
Лезгинка точит острое железо,
И грациозно ходит падеграс.

Швырял канкан красивых парижанок,
Свистел аркан по древним постолам.
В отчаяннейшем танце меж ножами
Шотландки проносились по столам.

Большое дело — танец меж ножами!
Сплошной расчет — весь этот страх и пыл...
А мы в войну под бомбами бежали,
И танец бездорожья нас кружил.

Труп лошади — один на все раздолье.
Сечет лицо мне снежная крупа.

А я иду, а я на минном поле
Свершаю осмотрительные па.

А я иду. Шаги свои считаю.
Про фатализм не знаю ничего.
Мне мало лет. Я маму вспоминаю.
Кромешный свет ложится на чело.

А мне кричат: — Вернись скорей! Останься!
Там подрывались многие не раз... —
Вот таковы мои уроки танцев —
Дорог войны смертельный падеграс.

ЛИСТОПАД

Принарядились яблони-цыганки.
Бескрылым кровлям снится синева.
Как брошенные в темноте цигарки,
В садах костры горят едва-едва.

С ума сойдешь от этой панорамы.
Опавших листьев видеть не могу.
И кто тут я? Статист осенней драмы.
Сгребаю их и потихоньку жгу.

Они горят, иных забот не знают,
Немым полянам руку золотят.
Промчалось лето — вот и облетают,
А облетели — вот и шелестят.

Перевел Лев СМИРНОВ

Иван ДРАЧ

КАК МЫ ЕЗДИЛИ В ГОСТИ К ЧЕХОВУ

С. Баруздину

Буря была. Гололедица. Нас повстречали... солью.
Машины соль рассыпали по ледяному шоссе.

Потом уже хлебом-солью нас приглашали к застолью:
Смотрите, чтоб рядом с «Волгой» в кювете Пегас
не засел!

А позже вошли мы в Мелихово. Ведь он где-то там,
в кабинете.
Мы шли, словно с полными ведрами, во тьме опасно
скользя.
Девятнадцатый век пожаловал к двадцатому
на планету —
Все провода порвало. Не видят ни зги глаза.

Чую: живые классики по рытвинам шарят руками.
Вижу, как Антон Павлович оконницы приотворил,
Чтоб нам посветить алмазами, вернее, звезд угольками,
А мы все плывем во мраке, совсем выбиваясь из сил.

Потом со свечами выходят навстречу его пациенты.
Уже им за девяносто. Он оспу им прививал.
Ну, где ты еще причастишься таких бородатых
моментов?
А даже дорогу к Чехову торить — не пир пировать!

Нас в дом приглашают деды! Компанией к самовару.
Хозяин где-то замешкался. Наваливайтесь на пироги.
А вот и компот — угощайтесь! — из этих антоновок
старых...
Но слышу я, очень близко слышу его шаги.

Он входит... или не входит? Нет его, ясное дело.
Вот стол его. Вот чернильница. Огонь негасимой свечи.
И только стенает дерево, будней его свидетель.
И только его фигуры не встретишь в метельной ночи.

Нас всех осеняет чайка. Из прошлого в настоящее
Летит она неприкаянно, насквозь пронзая века.
А сколько в ней грациозности! О чайка его парящая!
Свечей наших пламя мажорное покорно ее виткам.

Но вот он сидит, мерещится. Слиянье сарказма и муки.
Безднами тайны светятся стекла его пенсне.
Но буря настежь распахивает проржавевшие фрамуги —
Вот-вот загостившихся выметет обратно в темень и снег.

И тут современность вступает. Слепя, расцветают лампы.
В столетии девятнадцатом скрывается чайка тотчас.
А мы удивленно смотрим — как будто вновь перед
рампой.
Вот почему, как пуля, слеза поражает нас...

Крылом нас коснулась чайка в полете своем по свету,—
Ни буря, ни мрак злокозненный теперь нас не устрашат.
Уж в небе звезда сверкнула, как свечка в его кабинете.
...Ушел от гостей. Работает. Не будем ему мешать...

Перевел Николай КОТЕНКО

МИНОРНЫЙ ПЕЙЗАЖ

А море все катит и катит
Свой шум на прибрежный песок,
На теннисный корт и на катер,
На след чьих-то маленьких ног.

И даром слепящим — ударом
Ракетки: скорее лови! —
Пасуют небесные — карим,
Открытым для звезд и любви.

И ты, среди сохнущих бредней,
Лучом пробежав по веслу,
Врываешься в сон мой
последней
Звездой в эту осень-весну.

Как пледом своим светоносным,
Укрыла печалью небес,
И месяц сквозь мокрые сосны
Ворсистым медведем пролез.

Шум моря, шум древнего горя...
Свод неба красив и свинцов...
И сосны стоят возле моря,
Как копья — одни — без бойцов...

Перевел Лев СМИРНОВ

Микола ВИНГРАНОВСКИЙ

* * *

Из-за лимана, в жарком поле,
Где дремлют дыни в желтых снах,
Где зайцы прыгают на воле,
И голубой смеется птах,
В усталом вывяленном лете,
Где дремлет облака крыло,
Где виснут дали, словно плети,
Где за селом сидит село, —
Меня окликнул кто-то... Голос
Был женский, влажный и грудной.
Я обернулся на тот голос,
Но — никого передо мной!
И вскрикнула душа в тревоге,
А голос, смолкнувший вдали,
Дорогой стал — по той дороге
Уже столетья люди шли.
А сколько их стояло станом
За мною в древних небесах...
И я заплакал над лиманом,
Где голубой смеялся птах.

ТОПОЛЬ

Когда заснет устало и глубоко
Огромный город, залитый огнем, —
Ко мне приходит тополь издалека
И шелестит, как в детстве, под окном.

Он все зовет меня на Украину —
Плугами землю черную пахать,
И яблони за домом поливать,
И рвать под осень терпкую калину.

Идут года... И с каждым днем верней
Я отличаю цвет от пустоцвета...
И потому лишь дорога планета,
Что есть земля отцовская на ней.

Перевел Лев СМИРНОВ

Тамара КОЛОМИЕЦ

* * *

Пастушеская сумка. Два куска
ржаного хлеба. Кнут из бересклета.
Не дней былых воспоминанья это,
нахлынувшие вдруг издалека.
А это дар, из тех даров моих,
что я в наследство дочке дать желаю,
хоть будут нарекания, я знаю,
со стороны родителей иных.
Одни готовят простыни. Игрушку
несут другие. Третьи бутерброд
минуту каждую суют ребенку в рот.
А я, чудачка, — видишь ли, — горбушку.
Все это — форма лишь на первый взгляд.
А содержанье — рощ весенних звуки,
комок земли, что ощущают руки,
и ноги, что куда-то семенят,
чтоб чувствовать дыханье свежих пахот,
чтоб дали узнавать, иметь в виду,
как ветки гнутся от плодов в саду
на яблонях, что так медово пахнут.
Чтоб, ключ целебный в чаще отыскав,
тропу оставить в солнца позолоте,
чтоб человек — с лицом в соленом поте
Отчизну видел не из далека.

Перевел Юрий ДЕНИСОВ

Леонид ГОРЛАЧ

МОНОЛОГ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Вот вы мчитесь,
открываете новые дали,
легко вам, юным,
мчаться и без дорог.

Но моего начала
дела небывалые
приведут вас на старый
поседевший порог.
Вы его переступите —
и к океану
умчитесь —
попробуй, останови!..
Но за вами восстанут,
как из тумана,
мое начало,
старты мои.
Здесь, где финиш мне выпал,
костры горели,
спали кедры,
невиданные богатыри,
здесь для дикого сна
простирались постели,
дух болотный, застойный
среди сопок царил.
Вся тайга спала,
устав от сражений,
сны кровавые
в топях теряли след,
где — ни голоса,
ни движения,
где залетной птице
виделась клеть.
Еще не было города
даже на картах,
еще крылья растила моя страна,
но уже выходили
комсомольцы на старты,
разгоралась
строительная страда.
И тогда,
как первый весенний дождь,
пронеслось над страной,
сердца маня:
— Комсомольск-на-Амуре
даешь!
Даешь
сказку о наших днях!.. —

Как трудно мне было
расти средь сопок,
как нелегко было
зодчим моим,
но я комсомолом
навеки создан —
труду и отваге
высокий гимн.
Вот вы мчитесь —
скорость набрали, —
не мне вас
правилам бега учить.
Но в сердце вашей стальной магистрали
мое
неуемное
сердце звучит.
Во мне —
красота и мощь комсомола,
его размах
и страстей накал, —
он здесь
на земле пустынной и голой
воздвиг меня
на века!..

Перевел Николай КОТЕНКО

Микола ФЕДУНЕЦ

АЛЛЕЯ ДРУЖБЫ В ЯМПОЛЕ

Посадили березки латышские гости.
Посадили березки вдоль длинных аллей.
Солнце в парке среди зеленеющих просек,
Как охрану, расставило войско лучей.

Небеса развернулись, как сказочный веер,
В этот день, в этот праздник у всех на глазах.
В древнем Ямполе дружбы шумели деревья
О свободе, о мире, о наших друзьях.

Почки юных березок светились во взоре,
И казалось тогда среди буйной весны,
Что не почки, а капли Балтийского моря
На березки зеленые вознесены!

Перевел Борис ПОПОВ

Сергей БУРЛАКОВ

* * *

Электролиний стройные опоры
Застыли на курганах — как дозор...
Вот здесь и встретил Святослава ворог,
Стрелой коварной разрешая спор.
Здесь корчилась земля от печенегов,
И Днепр стонал порогами в ночи.
Тот стон ловили Новгород, Чернигов,
Древляне отзывались, кривичи.
В дружине шли, согласья добивались
Среди разрух, опасностей, невзгод.
Как нелегко походы те давались —
Во тьме лесов, предательстве болот.
Хворобы их терзали и раздоры,
Языческий преследовал их страх.
...Электролиний стройные опоры
Стоят дозором в солнечных степях.

Перевел Николай КОТЕНКО

Валентина ТКАЧЕНКО

* * *

Тугие стебли нож легко срезает
Пшеница в бункер сыплется, звеня...
Пыль и полову ветер прибивает,
Щетинится измятая стерня.

Бестарки полнятся зерном: весь день им
Сновать по полю вдоль и поперек,
Озвучивать колесным тарахтеньем
Степные дали высохших дорог.
Несется эхо радостно, протяжно...
И я по звону воза узнаю,
Когда вдоль шляха тянется упряжка
Того, кто взял навек любовь мою.
Бегу ему навстречу с сенокоса,
Чтоб до села подъехать на обед.
С усмешкой девушки звонкоголосо:
— Счастливого пути!.. — кричат вослед...

Перевел Юрий ДЕНИСОВ

Анатолий БОРТНЯК

СОЛОВЕЙ

А соловей поет,
Как при Мамае...

В. Боков

Покуда край пылал в огне
И враг сажал русинов на кол,
То соловей — сдается мне —
Не пел — он петь не мог, — а плакал.
Покуда хан Мамай, как тать,
Ходил на Русь — не пел он боле...
Но вот сошлась с ордою рать
На Куликовом славном поле.
Тогда он взял такой разгон —
Запел вослед разбитой стае
Врагов...
Не пел он при Мамае,
Он пел при Дмитрии Донском.

Перевел Юрий ДЕНИСОВ

Юрий СЕРДЮК

* * *

— Уж осень, мама?
— Да, уж, видно, осень... —
И голос твой слабеет в безголосье.
Ну, будем жить, раз тихо на земле...
И жизнь идет, но лет немного мне.
К морям, где вечно жаркая погода,
Крылами аист гонит небосвод.
Пускай летит! Его зовет природа,
Меня — твой голос ласковый зовет.
Спокойны сны — душа покоя просит.
Такая явь! Она звенит, дрожит...
Давай минуем, мама, эту осень,
Ведь нам еще и жить, и жить, и жить!..

Стучат под ветром ветви абрикоса,
И солнышко уходит —
до тепла.
Голодный год. Прошла бы эта осень!..
Уже весна за нею зацвела.

Перевел Игорь ТАРАСЕВИЧ

Станислав СТРИЖЕНЮК

СХОДСТВО

Я помню эти проводы во вторник
(Позавчера объявлена война...).
Ему исполнилось в июне сорок —
В кудрях едва пробилась седина.
Мой добрый дядя,
Песне синеблузой
Покорно внемлет тридевятый вал...
Ты так спокойно-мудро улыбнулся
И руку мне, как равному, подал!
И сверстникам

В десятый раз и в сотый
Я сообщал, ликуя и гордясь,
Что дядя мой теперь
В морской пехоте —
Врагу любому не дойти до нас.
Шептала бабка:
«Уж не будет Пети...» —
И на передник падала рука.
Я — в знак протеста —
Надевал с рассвета
Фуражку набекрень — без козырька.
Молитвы бабки — что горох о стенку.
Я веровал в иное волшебство:
Усатый дядя — вылитый Шевченко! —
Какая пуля может взять его?!
У дяди бескозырка — не корона,
Она перед фашистом не падет...
И началась Одессы оборона —
Тот гул во мне и по сей день живет.
Все говорят,
Что не вернулся Петя...
Я слушаю.
Дрожит моя рука.
А сын мой убегает на рассвете:
Фуражка набекрень — без козырька.
Годами с дядей я теперь сравнялся.
И вот — молчу. И слушаю других.
Ведь был он, помню,
Вылитым Тарасом,
Как мне поверить в то, что он погиб?..

Авторизованный перевод
Николая КОТЕНКО

Ганна ЧУБАЧ

ОТЧИМ

Война нам отца не вернула,
мать больше не верила снам
и к отчиму сердцем прильнула,

чужому, далекому нам.
Пришлось ему тяжко трудиться —
делился последним своим.
А мама устало, как птица,
все билась меж нами и им.
Отцом называть избегали,
скрывая то слезы, то всхлип,
ведь батько наш, точно мы знали,
на фронте геройски погиб.
Мы выросли. Доля — как поле,
идешь и не видно конца...
...И отчим наш крепко, до боли,
спешит нас обнять у крыльца.

Перевел Юрий ДЕНИСОВ

Наталья АНИКЕЕВА

* * *

Может, кому-то поздно,
Может, кому-то рано,
А я родилась не напрасно
В час, когда капли зари
Восток обагрили грозно,
И пахло медами пьяно,
И мир улыбался, ясной
Улыбкой меня озарив.
И жить на свете прекрасно!
И счастье мое так прочно:
Под вечер идти с работы
Меж добрых таких людей!
Нет, я родилась не напрасно,
Нет, я родилась урочно —
Ведь счастлив тот, чьим заботам
Созвучен завтрашний день.

Перевела Тамара ИСТОМИНА

Юрий
ПОМЧЕНКО

ДИВИЗИОН

Повесть

1

Командир зенитного ракетного дивизиона капитан Лукин назначение майора Жихарева на должность заместителя по политической части встретил с недоумением. Непохож на военного, пожилой, форма сидит неряшливо. «Лет за сорок?» — подумал капитан, разглядывая нового заместителя.

Положив на стол предписание, Лукин распахнул окно. Потянуло ветерком. Жихарев, поежившись, попросил:

— Закройте, пожалуйста. Сквозняк!

Своей просьбой он окончательно расстроил командира.

— С размещением у нас трудно, — сказал Лукин хмурому майору. — Квартира для вашей семьи освободится месяцев через пять-шесть. Придется пока пожить в гостинице.

— Благодарю вас, капитан. Перевозить семью я не собираюсь.

— Так, понятно, — протянул Лукин.

Если офицер не собирается перевозить семью из города в гарнизон, хорошего политработника из него не получится.

— Что ж, сегодня размещайтесь, а завтра я представлю вас личному составу.

— Зачем завтра? — возразил майор. — Устроюсь вечером!

— Хорошо, — согласился капитан. — Это, пожалуй, лучший вариант. У меня есть два часа свободного времени. Покажу вам позицию.

У ракет офицеров встретил прапорщик Татаринов. Рапортуя, он, как положено по уставу, попросил у майора разрешения обратиться к капитану, приняв Жихарева за приехавшее начальство. Лукин сморщился и поправил прапорщика:

— Товарищ Татаринов, майор Жихарев назначен в дивизион моим заместителем.

— Виноват, товарищ капитан.

Лукин заметил, как у Жихарева дрогнуло лицо. Видно, обиделся. Это вызвало у капитана раздражение. «Не нравится? — подумал он. — Майор и в заместители к капитану! За какие грехи его перевели из политотдела в дивизион? Наверное, решили избавиться и прислали дослужить до пенсии? Ну и ну!»

По сигналу командира прапорщик повернул переключатель на пульте, и двери ровно и плавно разошлись в стороны. Одновременно раздвинулись двери расположенных напротив боксов автопарка, вспыхнули сигнальные лампочки.

— Этой малой автоматизацией я сократил общее время боевой готовности дивизиона на одну минуту, — объяснил Лукин.

В глубине холодно поблескивали головки ракет. Лукин нажал кнопку на пульте, одна из ракет, вздрогнув, двинулась вперед. Майор невольно отшатнулся в сторону. Лукин усмехнулся. Оказывается, майор ко всему еще и не разбирается в технике?

Ракета, выдвинувшись из проема, замерла. Лучи солнца, переливая по металлу блики, скользнули по серебрянке боков. Показалось, ракета, как живая, затаила дыхание перед прыжком.

— Рационализация сократила общее время готовности дивизиона еще на сорок три секунды.

Жихарев промолчал. Лукин, повернувшись к прапорщику, приказал:

— Татаринов, приведите все в нормальное положение и проследите за температурным режимом!

На стартовой позиции Лукин подвел своего заместителя к одной из пусковых установок. Над окопом натянута маскировочная сетка. Капитан сорвал узел петли на тросе, и сеть, скользнув вниз, освободила пусковую.

— Здесь выиграно еще двадцать секунд!

Майор не прореагировал на сказанное. Словно ему совсем неинтересно увиденное. А за этими секундами — многие часы кропотливого труда ракетчиков. «Ясно, он ничего не понимает в технике, — подумал Лукин, наблюдая за своим заместителем. — Вот это подарочек для дивизиона!» Расстроенный безразличием политработника, Лукин назидательно произнес:

— Боевая готовность — мой бог! Я сам молюсь этому богу и заставляю молиться подчиненных! Пока на земле существует хотя бы один человек, желающий развязать войну, мы, ракетчики, не имеем права на спокойный сон! Извините, товарищ майор, но я рационалист. Как вам известно, США в этом году увеличили военный бюджет на тридцать процентов, а китайские лидеры мировую войну возвели в ранг государственной политики!

— Понятно, — согласился Жихарев. — А как со вторым богом — воспитанием личного состава?

«Иронизирует? — подумал капитан. — Ну что ж!» Резко ответил:

— Мой второй бог — железная дисциплина! Заставишь людей — сделают, не заставишь — будут одни слова! Я требую от всех прежде всего дела!

— Я тоже за дело, Игорь Николаевич!

— Вот и прекрасно. Значит, у нас с вами не будет разногласий!

Жихарев чуть заметно усмехнулся.

Зашли на командный пункт. Прошли по комнатам, где размещалась аппаратура. На узле связи за коммутатором сидела девушка в солдатской форме. Она поднялась, торопливо поправила берет и доложила Лукину:

— Дежурная телефонистка рядовая Демина. Связь работает нормально!

Девушка чего-то испугалась. Лукин поморщился.

— Вы почему вчера пропустили дежурство?

— Заболела. О болезни доложила начальнику дежурной смены. Если нужно, я отдежурю пропущенную смену!

— Это не мне, а службе нужно, товарищ Демина! В армии заведено, что от службы освобождает только командир!

Девушка растерялась и опустила голову. У нее повлажнели глаза, дрогнул подбородок.

— Запомните раз и навсегда, — отчеканил Лукин, — если соизволили надеть солдатский мундир, то несите службу как положено!

Она кивала головой, и в этих быстрых покорных кивках было что-то по-женски трогательное.

Офицеры вышли из бункера и остановились возле беседки, окруженной молодыми березками. Лукин вытащил пачку сигарет.

— Попал с этой Деминой в историю. Муж уговорил принять на службу, а теперь — мучайся!

— Она жена капитана Демина?

— Была, — усмехнулся капитан. — Попробовал мирить их — ничего не получилось. Демин оставил ей однокомнатную квартиру. А мне каково? С жильем в гарнизоне плохо, но ее просто так не выселишь! А потом — незамужняя жена! В дивизионе полно холостяков!

— Она что же, поощряет холостяков?

— Да нет, пока не замечал...

Лукин притушил окурок, бросил в урну.

— Вы, Антон Дмитриевич, хоть немного знаете нашу технику?

— Некоторое понятие имею.

— Так. Думаю, вам нужно составить личный план изучения ракетного комплекса и попробовать хотя бы в объеме простейших связей разобраться в системах. Вы теперь мой заместитель, а следовательно, обязаны в любой момент боевой работы заменить командира. Хочу сразу предупредить, чтобы не было недоразумений: если не освоите технику и стрельбу, мы с вами не сработаемся!

— Вы правы, Игорь Николаевич. Думаю, недели через три разберусь!

Лукин посмотрел на замполита с удивлением.

— Три недели? Это слишком. Даю три месяца. А затем приму экзамен.

Устроившись с жильем, Жихарев направился к казарме. Старшина дивизиона прапорщик Глушков построил солдат на ужин. Увидев замполита, прапорщик подал команду «смирно». Замечая любопытные взгляды ракетчиков, майор прошел по центральной аллее, разделяющей позицию с солдатским городком.

Осень стояла сухой, с ясными солнечными днями. По ночам выпадали обильные росы. По оврагам и вырубкам налилась янтарем костяника, в ее зарослях жировали рябчики.

Присев на лавочку, майор вытянул ноги. Его знобило, он боялся заболеть. Солнце опускалось за лес, высокие облака были словно подкрашены снизу сиреневой гуашью, появлялся зыбкий вечерний туман.

Лукин сказал про себя, что он рационалист. Чувствуется, офицер он деловой и настойчивый. Впрочем, делать какие-либо выводы рано.

Десять дней назад Жихарева неожиданно вызвал начальник политотдела подполковник Шевцов. В кабинете находился подполковник Шорин — заместитель. Оба были чем-то недовольны.

— Садитесь, товарищ Жихарев.

Шорин покосился и поджал губы — ему не хотелось продолжать нежелательный разговор при подчиненном офицере. В политотделе Шорина не уважали: сух, педантичен, никакого чувства юмора.

— Значит, вы против? — спросил Шевцов своего заместителя.

— Разумеется, — Шорин снова покосился на Жихарева, явно остерегаясь, что тот поймет суть разговора.

— Ну, хорошо, Станислав Александрович, вы свободны!

Подполковник, демонстрируя перед начальником уставную зависимость во взаимоотношениях, щелкнул каблуками, резко повернулся и, печатая шаг, вышел из кабинета. Шевцов невесело покачал головой...

Жихарев и Шевцов хорошо знали друг друга. В сорок третьем году Шевцов шестнадцатилетним мальчишкой убежал на фронт и завершил войну лейтенантом, комсоргом артиллерийского противотанкового полка. В сорок пятом, при форсировании Одера, заменил в бою убитого командира батареи, успешно отразил атаку танков, уничтожив пять «тигров». Ему было присвоено звание Героя Советского Союза... Жихарев и Шевцов пятнадцать лет

назад встретились в зенитном ракетном дивизионе. Жихарев командовал радиотехнической батареей. Затем, по рекомендации Шевцова, был избран секретарем партийной организации. Через год Жихарева назначили замполитом, а четыре года назад Шевцов добился перевода Жихарева в политотдел части инструктором партработы.

— Был я в зенитном дивизионе, — заговорил Шевцов. — Командует капитан Лукин. Интересный командир. Отличный специалист, а энергии — на троих с избытком!

— Все мы в свое время были капитанами-рысаками!

Шевцов рассмеялся.

— Зато сейчас в ломовых битюгов превратились.

Лукин недавно принял зенитный дивизион. Жихарев с ним еще не встречался. Начальник политотдела полмесяца назад перевел от Лукина в другой дивизион заместителя по политической части старшего лейтенанта Кедрова. Жихарев был удивлен: если дивизион хороший, почему плох Кедров?

— Ты знаешь мою точку зрения, — сказал Шевцов. — Я за то, чтобы к молодому командиру ставили опытного политработника, а к опытному командиру — молодого замполита. Вот тогда будет положительный результат!

— Все-таки мне непонятен разговор, Владимир Иванович. Вы что, уже подыскали политработника в этот дивизион?

— Об этом успеется. Я хочу сказать, что Лукин закончил высшее училище с золотой медалью, через год после выпуска получил под начало батарею, а через три года ему досрочно присвоили капитана, и он принял дивизион. Представляешь? В двадцать пять лет доверили командовать дивизионом!

— Ого! — удивился Жихарев. — Лихо скачет!

— Но ведь не без заслуг! У Лукина обостренное чувство ответственности за дело. Много уделяет внимания боевой подготовке, требователен к себе и подчиненным. Правда, недостаточно занимается воспитанием личного состава. Дескать, если на должной высоте боевая готовность, то приложится и воспитание, и партийно-политическая работа.

— И кого же вы решили назначить замполитом к этому командиру?

— Тебя, Антон Дмитриевич!

Жихарев изумился.

— Меня? Владимир Иванович, вы не шутите?

— Понимаешь, Антон Дмитриевич, ты самый подходящий для этого дивизиона. Отличный специалист, имеешь богатый опыт воспитания. У Лукина будешь пользоваться крепким авторитетом!

— Товарищ полковник, мне через полгода предстоит уходить в запас. А потом: я, майор, и к капитану в заместители! Если я вас не устраиваю, то можно избавиться от меня другим путем!

— Глупости, Антон Дмитриевич! — нахмурился Шевцов. — Ты же знаешь мое отношение к тебе!

— Не пойду! — вскипел Жихарев. — Более или менее устроился с жильем, получил нормальную квартиру. Дети учатся, жена, наконец, работает по специальности. Я замполитом прослужил по глухим точкам десять лет! Нет! Если угодно, напишу рапорт на увольнение.

— Вот и Шорин против твоего назначения, — вставил Шевцов. — Считает, что не потянешь. Постарел.

Он знал, чем задеть Жихарева.

— В конце концов, это же понижение в должности! За какую провинность? А оклад?

— Подумаешь, десятка! Кто, ну кто, Антон Дмитриевич, как не ты, научит молодых? А Лукин, если ему помочь, станет толковым командиром! Никто, кроме тебя, лучше этого не сделает! Как старого товарища прошу!

— На психику давите?

— На партийную совесть. Семью из города не трогай. Будешь приезжать по выходным... А летом забирай. Там природа — залюбуешься. Сосновый бор, река. Лучше всякого санатория. Поставишь воспитательную работу в дивизионе и снова возвратишься в политотдел. Это я тебе обещаю. Соглашайся, Антон Дмитриевич! Неужели не надоело возиться с бумажками? Подумай хорошенько.

Шевцов подошел к книжному шкафу, достал книгу.

— «Чапаев»? — удивился Жихарев.

— Считаю, что эта книга должна быть настольной у каждого политработника. Кто сделал Чапая Чапаевым? Не попади к нему Фурманов комиссаром, Чапаев так и остался бы партизанским батькой. Перечитай!

— Лукин не Чапаев, а я не Фурманов. А за книгу спасибо. Свою имею.

И, хлопнув дверью, Жихарев вышел из кабинета. Но через неделю согласился принять должность заместителя командира по политической части в дивизионе.

Впереди темнела кабина радиолокационной станции. Над антенной зажглась вечерняя звезда, и Жихарев сравнил ее с каплей росы. Антенны станции пришли в движение, начали вращаться. На огромной высоте появился след реактивного самолета. Там еще светило солнце, истребитель горел в небе яркой звездой... Наблюдая за полетом самолета, Жихарев представил боевую работу расчета станции. На экранах сейчас пульсирует светящаяся точка — электронная отметка цели, операторы прослеживают полет истребителя. Представил — кто же они, его теперешние подчиненные? С этого ему придется начинать на новом месте.

Молодых солдат встретил старшина дивизиона прапорщик Глушков, в годах, заматерелый, с короткой стрижкой жестких волос, с обветренным лицом.

Тихонов толкнул Поливанова в бок и показал глазами на прапорщика:

— Держись! Этот даст нам прикурить.

— Не пугай, аж сердце кольнуло.

Глушков построил солдат у входа казармы, заставил подтянуть ремни. На веранде, наблюдая за молодыми, собрались старослужащие. Из казармы вышли командир и замполит.

— Ого, вот это богатырь! — воскликнул Лукин, останавливаясь перед Поливановым. — Почему стоите на левом фланге?

Капитан взглянул на прапорщика. Глушков повел плечом, досадуя, что не выстроил солдат по ранжиру.

— Вам, Поливанов, нужно стоять на правом фланге. Быть правофланговым во всем! Понятно?

В строю кто-то хмыкнул, а Поливанов бодро ответил капитану:

— Так точно, понял!

В канцелярии Жихарев просмотрел характеристики молодых. Призыв был хорошим, но «богатырь» Поливанов

за время прохождения курса молодого солдата успел получить четыре взыскания. Одно из них за выпивку. Молодых, как правило, не наказывают, но этот, видимо, вывел командиров из терпения. «Груб с сержантами, заносчив и самолюбив, технику осваивает слабо, часто вступает в пререкания, вспыльчив и несдержан». Образование восемь классов. Рабочий совхоза. Беспартийный.

Лукин сидел тут же и просматривал расписание занятий с молодыми солдатами. Жихарев подал ему характеристику на Поливанова.

— Игорь Николаевич, а «богатырь» успел получить четыре взыскания и одно из них за пьянку.

— Ого! — удивился Лукин. — Даже за пьянку? Ну что ж... Зажму так, что не пикнет.

— Игорь Николаевич, по-моему, лучше всего убедить Поливанова в необходимости честной службы. На последнем совещании полковник Шевцов привел интересные данные. По нашей части нарушают дисциплину всего лишь единицы, и в основном из-за неумелой воспитательной работы, то есть по вине командиров! Хотим мы или не хотим, а с этими данными нужно считаться! У нас в дивизионе уже есть такой Караваев, которого вы «жмете», а он...

Жихарев почувствовал, что его слова у командира вызвали раздражение.

— Уговаривать служить Родине не считаю нужным. Призвали в армию — выполняй обязанность, записанную в Конституции!

— Все не так просто, — вздохнул Жихарев. — К сожалению, многие пока усвоили лишь права. А вот обязанности...

Лукин поднялся, надел шинель и проговорил:

— Спокойной ночи, Антон Дмитриевич!

Жихарев слышал, как командир прошел по коридору, что-то выговорил дежурному, затем подковки сапог процокали под окном.

Темные стекла в сером налете влаги. По железному карнизу шелестел дождь. Капли, скатываясь с верхнего обреза рамы, вспыхивали под светом лампы звездной пылью... Жихареву нужно было подготовить выступление перед личным составом на утренней политинформации, и он остался в казарме.

Семен Поливанов первую ночь в дивизионе провел тоскливо: вдруг страшно заскучал по дому. Прошел всего месяц службы, а впереди целых двадцать три. Как он выдюжит?

Семен был старшим в семье. После восьми классов устроился в ремонтные мастерские учеником кузнеца, через полгода стал подручным. Ему шел шестнадцатый год, но выглядел он старше и тянулся к взрослым парням. Работа ему нравилась, кузнечное дело он полюбил. Теперь никто не считал его мальчишкой, он мог выпить с дружками — в этой самостоятельности была радостная гордость возмужания.

После первой получки Семен впервые при матери перед ужином налил себе полстакана водки.

— Не привыкай, Сеня! — сказала мать, заглядывая в синие, цвета осенней воды, беспокойные глаза сына. — Все бабьи слезы от этой напасти!

Семен смутился, поперхнулся, но солидно заверил:

— Ну что ты, мать? Я с устатку!..

В казарме было душно. Поливанов скинул одеяло и опустил ноги на холодный пол. Натянул сапоги, достал сигареты и вышел в коридор.

Дежурный сержант поднял брови.

— А ну марш в постель!

— Не возникай! — отрезал Семен.

— Что, что?! — опешил сержант. — Спать немедленно, товарищ рядовой! Взыскание захотели?

Семен поплелся, не покурив, обратно, а дневальный рассмеялся.

— Вы что это вдруг развеселились?

— Умора, товарищ сержант. Салага, службы еще не нюхал — а тоже!

— Не смешно.

Солдат согнал улыбку, лицо приняло скучающе-служебное выражение.

2

В гостинице давно спали. Жихарев, не включая света на веранде, прошел в свою комнату, стянул сапоги. В окно бился влажный ветер, сердито шлепал по карнизу.

Жихареву понравилось в дивизионе, но настоящей спайки, обычной для маленьких гарнизонов, здесь не чув-

ствовалось. Антон Дмитриевич не сомневался, что причиной была неопытность капитана Лукина. Офицеры больше побаивались, чем уважали капитана.

Первый конфликт у Жихарева с командиром произошел через несколько дней. Детей офицеров возили в совхозную школу — в восьми километрах от гарнизона. Последний автобус ходил без учеников, и старое командование на это смотрело сквозь пальцы. На автобусе приезжали жены офицеров, работающие в совхозе, а также кто уезжал из гарнизона по хозяйственным делам: в магазины или на рынок... Лукин, приняв командование дивизионом, этот рейс отменил. Его решение вызвало недовольство женщин, которое передалось и мужьям.

Антон Дмитриевич, разобравшись, посоветовал командиру отменить приказ, но тот воспротивился.

— Приказ отдан, и отменять его я не намерен!

— Нужно отменить, Игорь Николаевич! Бог с ней, с экономией бензина. Выгода грошовая, а вред огромный!

— Не уговаривайте, товарищ майор. Занимайтесь-ка лучше своими делами.

— Вы рассуждаете как мальчишка.

Лукин побледнел, повысил голос.

— Да как вы смеете! Я ваш командир...

— Не нужно, — остановил его майор. — Я сейчас разговариваю с вами, как коммунист с коммунистом и как старший по возрасту. Советую настоятельно восстановить рейс. Неужели вы не чувствуете, что против вас настроены все женщины гарнизона?

— Мне глубоко безразлично мнение женщин! — ответил Лукин и покраснел. Видимо, он тоже заметил неприязнь женщин.

— А вот мне далеко не безразлично, как они относятся к командиру. Климат в гарнизоне во многом зависит от жен военнослужащих.

Выдержав неловкую паузу, Лукин через силу согласился с доводами политработника.

— Хорошо. Объявите всем, что рейс восстанавливается.

— Нет уж. Наломали дров, сами и исправляйте! — Увидев, что его отказ задел капитана, Жихарев мягко посоветовал: — Игорь Николаевич, женщин нужно уважать. Они едут за мужьями в глухие гарнизоны, лишаются многого, теряют свои профессии...

Несколько дней Лукин избегал замполита, сожалея о том, что уступил. Однажды при дневном построении

Жихарев, занятый составлением плана партийной работы, не вышел к строю, да и не было такой необходимости, и Лукин сделал ему замечание, предупредив, чтобы замполит становился в строй дивизиона при любом построении подразделения.

— Хорошо, товарищ капитан, — кивнул он. — Но беда в том, что в строю я буду видеть только грудь четвертого человека.

— Не понял вас.

— Согласитесь, что политработнику нужно видеть побольше!

Лукин взглянул на майора с удивлением, но больше на эту тему разговора не заводил.

Подошел срок сдачи экзаменов по технике и стрельбе. Жихарев за три недели успел повторить все забытое и разобраться в новом. Лукин на экзамен пригласил капитана Масленкова, начальника штаба дивизиона, и командира радиотехнической батареи капитана Тимофеева. Антон Дмитриевич догадался, что офицеры приглашены стать свидетелями его провала. Он даже представил, с какой пренебрежительностью и ледяной иронией Лукин спросит у него после экзамена: «Так как же мы будем с вами служить, товарищ майор?»

Но майор сдержал свое возмущение.

Слушая его, Лукин сначала хмурился и посматривал на замполита с изумлением, затем его глаза заблестели. В одном месте они заспорили о порядке выработки устройством отраженного сигнала и усиления его на промежуточной частоте. Но Жихарев настоял на своем, подкрепив доказательства математическими расчетами.

— Отлично, Антон Дмитриевич! — воскликнул Лукин и повернулся к капитану Масленкову: — Вот как, начальник штаба, нужно знать технику комплекса!

Странно устроен человек! В эту минуту Антон Дмитриевич испытывал к капитану если не любовь, то искреннее уважение. Лукин человек бескомпромиссный, и высокий профессиональный уровень подготовки подчиненных вызывает у него настоящее чувство радости.

После экзамена возбужденный Лукин признался:

— Честное слово, Антон Дмитриевич, не ожидал от вас таких глубоких знаний!

— Почему?

— Да ваш предшественник Кедров боялся техники, как черт ладана!

— Кедров только начал служить, а я уже двадцать семь лет сломал. Разница, как видите, существенная! А вы ему тоже такой экзамен устраивали?

— Разумеется!

«Так вот почему Кедров не прижился в дивизионе и написал рапорт о переводе! Но откуда у Лукина такая жестокость?»

— А если бы я провалился на экзамене? Наверняка сказали бы, что не сработаемся?

— Я предупреждал вас об этом в день приема должности. Впрочем, я предупреждал и Кедрова!

— Жалеете, что я не оказался в положении Кедрова?

— Вот тут вы не угадали. Искренне рад, что вы знаете комплекс.

— Н-да, — усмехнулся Жихарев. — Если вас не сдерживать, вы немало принесете вреда!

— Не понимаю вас.

— Что же тут понимать? Вы чуть не загубили Кедрова. Его пришлось перевести под начало опытного командира... Меняйте стиль работы, капитан. Отличное знание техники — лишь одна сторона медали. Нужно уважать подчиненных и заботиться о них, иначе современного командира из вас не получится!

Лукин промолчал и наклонил голову. Антон Дмитриевич поднялся и вышел из класса на свежий воздух.

До начала учебного года был еще месяц. С молодыми солдатами по отдельному расписанию проводились занятия по основам радиотехники и радиолокации. Старослужащие несли боевое дежурство и ходили в караул.

Осень доживала последние дни. Установилась ясная и прозрачная погода. Какая-то неумолимая печаль увядающего оголенного леса сжимала душу неясной тоской. Плыла в дымчатом воздухе редкая паутинка, скупо светило нежаркое солнце. Над лесом неярко светилась синева. На опушке, сбиваясь в стаю, кричали галки, а у самого горизонта горбились от озноба выполосканные осенними ветрами блеклые облака. Лес завалило палым листом. Тихо и неприметно выметывались грустные осенние дни...

Неожиданно для себя Поливанов сблизился с Николаем Коротковым, щупленьким, остролицым пареньком. Говорил Коротков окая, что служило причиной бесконеч-

ных шуток. Семен заступился за него перед старослужащим солдатом Караваевым, который пытался обменять свою старую шапку на новую Николая, и Коротков после этого привязался к Семену, угощал его сигаретами, во всем старался угодить.

На одном из занятий по основам радиолокации сержант Федоскин вызвал Семена к доске и приказал написать формулу предельной дальности радиолокационной станции. Семен топтался и краснел. Забыл! За спиной послышался негромкий голос:

— ...радиус земной поверхности равен шести тысячам тремстам семидесяти километрам. Подставляй два радиуса под корень!

— Прекратите подсказки, Ставров! — оборвал сержант. — Пусть сам!

Молодой сержант старался во всем подражать командиру дивизиона, даже глаза так же прищуривал, как капитан.

— Ну что мне с вами, Поливанов, делать? Элементарное не усваиваете. Садитесь!

Опустив голову, Поливанов прошел между столов, сел на свое место и опустил голову. Больше он урока не слушал. А на другой день Федоскин сделал ему едкое замечание за плохую заправку постели, и Семен взорвался:

— Что приклеился, как банный лист? Не нравится — заправь сам!

Сержант покраснел, принял строевую стойку.

— Вам непонятно мое замечание? Выполняйте!

— Бегу, аж голову сворочу!

— Что, что?! — сержант задохнулся от возмущения. Он заставил Поливанова встать по команде «смирно» и объявил ему наряд вне очереди.

Начались занятия на позиции. Старослужащие показывали молодым порядок заряжания пусковой установки. Капитан Демин объяснял операцию опытного расчета. Офицер стоял рядом с пусковой. Включили двигатель, направляющие пришли в движение. Семену показалось, что сейчас капитан будет сметен. Бросился из строя и оттолкнул офицера в сторону. Не удержавшись на ногах, капитан растянулся на земле. Ракетчики застыли от неожиданности. Капитан поднялся.

— Что это такое?

— Я... я... — Семен ничего не сказал и опустил голову.

Капитан приказал лейтенанту Сафонову продолжать

занятия и отошел на полянку, чистя шинель пучком травы.

В перерыве солдаты не дали покоя расстроенному Семену. За что же он решил нокаутировать комбата? Вечером Коротков тоже спросил у Семена — зачем он так поступил с капитаном?

— Зачем, зачем? — разъярился он. — Думал помочь. Если бы человек тонул, ты бы стал раздумывать?

А вечером после ужина Поливанова во дворе казармы остановил Федоскин.

Снег еще не лег, а землю прихватило морозцем. Стояла тишина, и цокающие звуки подкованных солдатских сапог звонко разносились по маленькому гарнизону.

— Хочу с вами поговорить откровенно, рядовой Поливанов.

Будь Федоскин поопытней, он бы просто сказал: «Не мудри, Семен! Ведь не для меня служишь. И я был не прав, но и ты хорош!»

— Не пойму, Поливанов, чего вы своим поведением добиваетесь?

Семен молчал и дымил сигареткой.

— Нечего сказать? Ну хорошо же, продолжайте разгильдяйничать, но за вами Коротков тянется. Он же восхищается вашим «геройством»!

— Знаешь что? — не выдержал Семен. — Катись ты от меня к богу в рай!

— Не забывайтесь, рядовой Поливанов! — повысил голос Федоскин.

— Пугаешь? Нарядом? Начхал я на твои взыскания!

— Что за шум, а драки нету? — раздался насмешливый голос.

Семен повернулся и увидел Караваева. Тот весело спросил:

— Воспитывает? Права качает?

— Рыбак рыбака... — выдавил Федоскин и ушел в казарму.

Поливанов вытащил сигаретку, снова закурил. У него дрожали руки. Появление Караваева вызвало раздражение.

— Кто тебя приглашал?

— Не лезь в бутылку! Шипишь, как самовар!

— А ну их! Огреб наряд вне очереди!

— И ты из-за этого расстроился? — удивился Караваев. — Подумаешь! Да я за полтора года нарядов нахва-

тал вагон и маленькую тележку, а служу — не тужу! Через полгода дембель!

Подошел прапорщик Глушков. Увидев старшину, Караваев переменил тон. Голос зазвучал назидательно.

— ...ничего, служба только поначалу трудная, а потом обвыкнешь, в отличники выйдешь! Знаешь, какая у нас романтика? Ракеты и то да се...

— Что вы тут, Караваев, делаете?

— Вот рассказываю, товарищ прапорщик, молодому солдату о нашей службе беспокойной!

— Ну-ну, — усмехнулся Глушков. — Воспитательную работу проводите, значит? Хорошие мысли от вас слышу. Молодец!

— Я от души, товарищ прапорщик!

— Ну ладно, Караваев, иди в казарму!

— У меня личное время! Что ж — воздухом подышать нельзя?

— Караваев, я не люблю повторять дважды! Кру-гом! Шагом марш!

Караваев повернулся и ушел. Глушков покачал головой.

— Ты смотри, воспитатель нашелся!

Попросил у Семена сигарету. Поливанов удивился. Знал, что прапорщик не курит.

— Иногда балуюсь, — сказал прапорщик. — Курить лет двадцать назад бросил. А сейчас просто так, без затяжки. Знобко... Морозец прихватил. Снег скоро ляжет. Приготовилась земля-матушка к зиме. Покров на носу. — Усмехнулся. — В моих родных краях в старое время девчата просили: «Батюшка Покров, покрой землю снегом, а меня женихом!» Урожай собрали, скоро свадьбы одна за другой пойдут... А ты, сынок, подальше держись от Караваева.

— Друзей я сам как-нибудь, без командиров выберу, — усмехнулся Семен.

Глушков быстро взглянул на солдата.

— Не подходит он для дружбы. Из боевого расчета выгнали, околачивается в хозотделении.

— Какой он мне друг? Второй раз вижусь.

— Подальше от него... Да и сам не горячись!

Командир дивизиона, перетянутый ремнем и с полевой сумкой, резко повернулся к застывшим в шеренгах ракетчикам.

— Товарищи солдаты! Наш зенитный ракетный комплекс — грозное оружие противовоздушной обороны. Комплекс оснащен сложной техникой. Но без людей техника — груда драгоценного металла!

Лукин замолчал, цепко охватил застывший строй глазами.

— Для старослужащих солдат все понятно, а вам, молодым, нужно знать, почему наше оружие называется комплексом. Все, что вы здесь видите, и есть комплекс. Это — радиолокационные станции наведения ракет и разведки, это — пусковые установки и дизельные электростанции, это — тягачи и ракеты. От слаженности всего дивизиона, от личной подготовки каждого номера — от меня и начальника штаба, от оператора и дизелиста, от стартовика и водителя — в полной мере зависит выполнение боевой задачи!

Поливанов с интересом вслушивался в звонкий голос капитана. В этот момент командир казался необычным человеком, стоящим над всеми и понимающим многое, что недоступно остальным.

— ...может случиться так, что при боевой работе все отлично выполнят свои обязанности, а один человек допустит ошибку, пусть даже непроизвольную — и тогда цель не уничтожится! Дивизион не выполнит боевую задачу! Вот что такое зенитный ракетный комплекс! Мы с вами — часовые советского неба!

Лукин перевел дух и закончил:

— А сейчас опытные солдаты покажут молодым боевую работу. Через полтора-два месяца вы должны так же владеть техникой комплекса и быть готовыми к заступлению на боевое дежурство!

Капитан посмотрел на часы и скомандовал:

— Дивизи-он, к бою!

Расчеты станций и пусковых установок кинулись на позицию. Через минуту полетели маскировочные чехлы, и тягачи с прицепами, переваливаясь на дороге, повезли ракеты. Стартовики зарядили пусковые, и ракеты — грозные и стремительные, поблескивая боками, начали подниматься на угол старта. Послышались команды сержантов: ракетчики убежали в укрытия. Ракеты завращались на пусковых, хищно поблескивая головками, направленными в голубое небо.

Молодых разбили по группам и повели по боевым местам расчетов. У пусковых Семену было понятно, а вот

в кабинах все показалось запутанным. Пульты с кнопками, светящиеся табло, экраны и штурвалы... Попробуй разберись!

Капитан Лукин указал на панель со светящимися неоновыми лампочками.

Его внимательно слушали, задавали вопросы.

— Посмотрите, вот отметка на экране — реальная цель. Это самолет идет рейсом на Сосновск.

Семен, пользуясь своим ростом, заглянул через головы солдат. По экрану вкруговую бежала узкая светящаяся стрелка. Вспыхивали точки и импульсы. Он хотел увидеть на экране крохотный силуэт самолета. Так он видел в одном фильме про ракетчиков. Но здесь светились, переплетаясь между собой, разные полосы и точки.

— Внимательно смотрите. Видите, за отметкой чуть заметный след? — спросил Лукин. — Поливанов, заметили?

Семен протолкался к индикатору, наклонился. Нет, ничего не понятно. У него покраснели уши.

— Вот местники — они стоят на месте, — подсказал Лукин. — А цель перемещается... Видите?

Поливанов кивнул, но так и не разобрался: где же этот самолет?

А дальше пошло еще хуже. Хоть голову разбей! На занятиях сержант Федоскин специально вводил неполадки в оборудование с целью обучения, и Поливанов становился беспомощным.

Открывая крышку блока, он с тупой тоской разглядывал сплетение цветных проводов и контактов, которые нужно было проверять на тесторе, находить обрыв или замыкание.

Постепенно сержант перестал спрашивать Семена и оставил его в покое. Поливанов сначала обрадовался, а потом стал замечать усмешки товарищей. Открыто издеваться над ним не рисковали — побаивались вспыльчивости, но насмешливые взгляды ранили самолюбие, и он все больше и больше замыкался, общаясь только с Коротковым. На гражданке не только сверстники, но и опытные рабочие считали его ровней, так как он был хорошим тружеником, а в армии все пошло шиворот-навыворот!

Как-то после занятий он забрел на хозяйственный двор. В сарае стоял мерин по кличке Аполлон. Зачем держали

в дивизионе лошадь, Семену было непонятно. Он видел, что Караваев на мерине возил мусор...

Перемахнув через забор, Семен подошел к лошади, похлопал по холке и почувствовал коросту и грязь.

— Здорово, Семен! — позвал его Караваев и сощурил светлые с нахалинкой глаза.

— Привет, — буркнул Семен, продолжая осматривать Аполлона.

Хомут развалился, супонь вся в узлах, вместо оглоблей две жерди. Эх, хозяева! Наклонился, схватил ногу коня и осмотрел: подкова треснула, шипы стерты, на бабках кровяные засеки.

— Паразит ты, а не человек! — сказал он ухмыляющемуся Матвею Караваеву. — До чего довел лошадь! За это голову отвернуть мало!

— Но-но, поосторожней на поворотах! Я ведь могу нечаянно и зашибить. Тоже мне командир нашелся!

— Лошадь-то зачем страдает? Она ж скотина безответная!

— Ха, нашел страдальца! Жрет что ни попало. Смотри, как бочка. За мной бы так командиры ухаживали!

Семен сплюнул. Разве что докажешь такому обормоту?

— Ну-ка, быстренько тащи два ведра теплой воды. Да поживее.

— Не командуй, без тебя хватает начальников!

— Матвей, — тихо произнес Поливанов, — по-хорошему прошу!

Тот фыркнул и отправился в сарай, загремел там пустыми ведрами.

— Эх ты, бедолага, — Семен похлопал мерина по крутой шее. Лошадь повернула к нему морду.

3

У входа на командный пункт Лукин встретил Демину. Она уступила дорогу, козырнула. Капитан остановился.

— Как ваши дела?

Таня опешила. С чего это вдруг суровый капитан заинтересовался ее делами?

— Все хорошо. Сейчас осваиваю смежную специаль-

ность радиотелеграфиста. Начала отрабатывать азбуку Морзе.

Лукин казался ей воплощением строгости, человеком, не подверженным никаким слабостям. Но почему он так покраснел?

— Я рад за вас, Демина. Рад вашим успехам. — Капитан козырнул и быстро поднялся по бетонным ступеням.

В автопарке проводились занятия с молодыми водителями. Лукин принял доклад прапорщика Татаринова, включил секундомер. Но на этот раз он не замечал ошибок водителей, не делал выговоров. Минут тридцать простоял он безучастно, затем приказал Татаринову продолжать занятия и ушел в штаб. Прапорщик удивился: странный сегодня командир!

Сын кадрового военного, Игорь Лукин учился отлично и с восьмого класса, под влиянием отца, стал думать о военном училище. В девятом классе он вдруг заявил родителям, что не намерен жить на их иждивении, перешел в вечернюю школу и стал зарабатывать сам себе на жизнь. Окончив вечернюю школу, Игорь поступил в Высшее зенитное ракетное училище. Выработанная привычка к самодисциплине в первый же год учебы выдвинула Лукина в ряды лучших курсантов.

Встретив сегодня Демину, он вдруг нашел, что она похожа на Лену Полянскую. В училище он дружил с Леной, но после выпуска она не захотела оставлять большой город, ехать с ним в глухой гарнизон. Первое время Лукин не находил себе места от тоски по Лене, писал длинные письма, она отвечала короткими записками, что-то скрывала. Он чувствовал, что все идет к неминуемому разрыву... Чтобы забыться, он всего себя отдает службе, не щадит ни себя, ни операторов.

Через год дивизион выполнял учебно-боевые стрельбы на полигоне, и он отличился. При маневре самолета-мишени произошел срыв с автосопровождения. Цель находилась в зоне огня считанные секунды. На повторный поиск не оставалось времени. Игорь принял рискованное решение. На командном пункте замерли, наблюдая за молодым офицером наведения. Но потерянная цель была захвачена, и раздался общий вздох облегчения. Воздушный «противник» был уничтожен, дивизион получил отличную оценку.

Командующий объявил Лукину благодарность и наградил его ценным подарком. Через три месяца молодого офицера повысили в должности, назначив командиром радиотехнической батареи. Он стал самым молодым комбатом среди ракетчиков.

В свободное от службы время офицеры брали увольнения, уезжали в город, ходили в театры, Лукин же, оставаясь в гарнизоне, занимался военной подготовкой: изучал теорию ракетной стрельбы и технику, читал специальные научные сборники. Через год он добился, что его батарея стала лучшей в полку, а личная профессиональная подготовка удивляла специалистов-ракетчиков. На офицерских совещаниях его ставили в пример. Однако сблизиться с ним никому не удавалось. С подчиненными Лукин был строг и недоступен, с равными начальниками — вежлив и холоден. Многих удивлял его строжайший режим: подъем в шесть утра, часовая зарядка с купанием в реке независимо от погоды, зимой — обтирание снегом... Три года подряд батарея занимает первое место в полку. Ему досрочно присваивают звание капитана, и в двадцать пять лет Лукин принимает под свое начало ракетный дивизион. Цель у него одна — сделать дивизион передовым в части. Но дивизион оказался не батареей. С первого дня на него обрушилось столько текущих дел, что он поначалу растерялся. Боевая готовность и обучение, служба караула и быта, взаимоотношения офицеров и их семей, хозяйственные дела... Но он чувствовал, что нельзя перед подчиненными показывать растерянность, и Лукин сидит по ночам, вникает во все стороны жизни гарнизона, постепенно разбирается во всех вопросах, и вскоре все ракетчики почувствовали крепкую командирскую руку молодого капитана.

Когда пришел новый замполит, Лукин подумал, что майора прислали дослужить до пенсии, считая пожилого политработника неудачником в службе. Даже после отличной сдачи экзамена по знанию техники, чему он искренне удивился, Лукин относился к майору с недоверием. Но к Жихареву потянулись люди. Через некоторое время Лукин заметил, что и ему самому все чаще хочется обратиться за советом к замполиту... Что-то изменилось в его характере... Например, та же Демина! Он ее раньше просто не замечал. Она — рядовая, он — капитан и командир дивизиона. Что же у них может быть общего?

Но сегодня, встретив ее, он почему-то растерялся...

Ударили морозы. Парок от дыхания солдат клубился над строем, искрящейся пылью оседал на плечи. Пусковые установки — в игольчатом серебре изморози. Руки прилипают к металлу.

Жихарев пришел на занятия во взвод Сафонова. Лейтенант старался показать себя: долго и придирчиво проверял солдат по технике безопасности. Жихарев взглянул на часы — прошло тридцать минут, а урок по теме еще не начался.

Наконец Сафонов подал команду «К бою». Повеселев, солдаты бросились к пусковым. Лейтенант, показывая усердие, появлялся то в одном, то в другом месте, делал замечания. Его вмешательство сбивало ритм боевой работы. Стартовики стали действовать неуверенно, с оглядкой на командира. Занервничали сержанты. Федоскин, поглядывая на майора, делал громкие замечания подчиненным, срывался на крик: уж очень ему хотелось показаться перед замполитом строгим командиром! Но усердие сержанта солдаты встречали с раздражением, а Поливанов что-то ляпнул такое, что Федоскин смутился и метнул в сторону Жихарева испуганный взгляд. Ракетчики, наклонив головы, прыснули смехом...

В перерыве Антон Дмитриевич подозвал Сафонова.

— Проводите занятия так, словно меня здесь нет!

Взводный нахмурился, посмотрел на политработника с недоумением. Он решил, что замполит недоволен.

— А занятия вы проводите неплохо! Сами отлично знаете боевую работу, замечаете любую оплошность подчиненных. Это похвально!

Лицо лейтенанта расцвело. Шапка сдвинута набок. Уши красные. Две недели назад Лукин, побывав у него на занятиях, учинил ему разнос на офицерском совещании.

— Закройте уши, Олег. Обморозите!

— Ну что вы! Совсем не мерзнут. Я закаляюсь. Каждое утро их натираю снегом.

Жихарев рассмеялся, а на прощание посоветовал:

— Не держите людей на морозе без движения, хорошо? И еще: если бы меня не было, вы бы не стали устраивать зачет по технике безопасности?

— Конечно! Я зачет уже принял. Мне хотелось показать, что они знают технику безопасности!

— Будьте раскованнее. Устройте состязание расчетов. Сейчас это будет кстати. Сильный мороз, и солдаты с удо-

вольствием посоревнуются друг с другом. И не сковывайте инициативу сержантов, побольше доверяйте им, хорошо?

— Есть! — ответил звонко лейтенант и скомандовал: — Заканчивай перекур!

В начале месяца в дивизионе проводились месячные регламентные работы. Антон Дмитриевич провел партийно-комсомольский актив. Обсудили текст обращения актива к ракетчикам, назначили комсомольские патрули качества. Редколлегии «Прожектора» рекомендовали выпустить газету по результатам работ на технике...

Регламентные прошли успешно. На разборе представитель службы вооружения высоко оценил качество работ. Большой успех выпал на долю фотогазеты. Съемки проводили скрытой камерой, удачно схватили забавные сценки. Но больше всего солдаты смеялись над Караваевым. Его сфотографировали спящим в углу сарая, когда мерин облизывал ему голову. Пришли в сарай, увидели солдата спящим, насыпали сахару, мерин потянулся, и в этот момент сделали съемку. Снимок озаглавили: «Аполлон за проведением регламентных работ». Над Караваевым смеялись несколько дней и довели его до того, что он стал прятаться от ракетчиков.

После разбора регламентных работ Лукин признался Жихареву, что не ожидал такого эффекта. Похвала была приятна политработнику.

Присматриваясь к офицерам дивизиона, Жихарев нашел, что хорошим секретарем парторганизации может стать командир радиотехнической батареи капитан Тимофеев. Отличный специалист, на протяжении двух лет батарея занимает первое место в дивизионе. Смущало лишь то, что два года назад Тимофеева понизили в должности, перевели в дивизион из другого зенитного ракетного полка.

За коммутатором сидела Демина. Она вызвала политотдел. На линии оказался подполковник Шорин.

— Владимир Иванович убыл недавно на высшие академические курсы усовершенствования, — сообщил он. — Докладывайте, я остался за него.

Жихарев огорчился. Несколько месяцев работать под непосредственным началом Шорина! Доложил о делах за неделю, попросил оплатить счета на закупленные для нужд дивизиона краски и ватман.

— Хорошо. Как у вас дела с подготовкой к отчетно-выборному собранию?

Жихарев после небольшой паузы ответил:

— Считаю, капитан Тимофеев станет хорошим партийным вожаком дивизиона.

— Так... А вы знаете, что у него партийное взыскание, а два года назад его сняли с должности начальника штаба дивизиона? Это несерьезно! Оставьте Масленкова. Неплохой офицер, добросовестный коммунист. Политотдел рекомендует его.

— Масленков не тянет, товарищ подполковник.

— А я кандидатуру Тимофеева не поддерживаю!

Антон Дмитриевич поморщился.

— Вы считаете, что я здесь, в дивизионе, хуже вас знаю положение дел?

— Я вас предупредил, товарищ майор, — холодно проговорил Шорин и положил трубку.

Жихарев помрачнел. Он был уверен, что, будь на месте подполковник Шевцов, он бы поддержал кандидатуру капитана Тимофеева.

Из дому пришло письмо, и у Поливанова от тоски заныло сердце. С удовольствием бы сейчас помахал молотом вместо зубрежки проклятой электротехники! Ну какую он приносит пользу армии?

В расстроенных чувствах он ушел за казарму к котельной дивизиона. Сквозь приоткрытую дверь котельной на снег ложился отсвет горящей топки, доносился гул мотора. Поливанов представил, что перед ним совхозные мастерские.

Пахло угольной пылью и машинным маслом. У топки возился старший кочегар Петр Михайлович Кропонов, пожилой мужчина с грустными темными глазами. Рядом с ним работал ефрейтор Присяжнюк из старослужащих солдат. Он был в одной майке. Ефрейтор орудовал совковой лопатой, засыпая топку углем. Запорошенная угольной пылью майка взмокла от пота. Повернувшись к Семену, он открыл блестящие зубы на темном от копоти лице.

— Чого сачкуешь? Бери тачку и вози уголь! Нечего на мэне очи пялить!

Поливанов с готовностью скинул шинель и засучил рукава... Давно не работал с таким удовольствием! Тачку

катал бегом, с веселым азартом, ощущая каждый напряженный мускул. Там, в мастерских, перед весенними работами никто из механизаторов и думать не смеет об отдыхе.

— А ты до работы хваткий! — похвалил Присяжнюк.

— Ну!

Проливая воду на разгоряченную грудь, Семен выпил половину чайника.

— Шел бы ты, парень, в казарму, — посоветовал хмурый Кропонов. — Мы тут и без тебя управимся. Иди, службой занимайся!

— Служба не медведь, от солдата не убежит!

— А ты, оказывается, шутник.

Утром на занятиях по материальной части Семен был тих и задумчив. Федоскин поглядывал на него, ожидая очередной выходки. Вызвал Поливанова и приказал рассказать об устройстве пусковой. Семен, немного путаясь, назвал все составные части. Федоскин удивился: «Вот же... если захочет, то может!» А Поливанов был задумчив оттого, что собрался перебраться на работу в котельную. Служит же Присяжнюк там. Перевели бы его кочегаром, он бы навел в котельной настоящий порядок! Была бы от него хоть какая-нибудь польза в дивизионе! Как поговорить со старшим кочегаром Кропоновым, чтобы замолвил за него словечко перед капитаном Лукиным?

Лейтенант Сафонов нравился Семену. Вежливый, застенчивый, хрупкого сложения. Но в спортзале лейтенант легко кидал двухпудовую гирю. Это вызывало уважение. Семен всегда преклонялся перед силой и ловкостью.

В свободное время Сафонов начал заниматься с Поливановым по основам электротехники. После ужина заводил Семена в пустой класс, усаживал за стол. Но занятия не находили отклика в душе Семена — уж слишком мудрено! Слушал, записывал в тетрадь, но с каждым разом все неохотнее. Сафонов распалялся при объяснении, старался заинтересовать солдата примерами из жизни, не догадываясь, что занятия для солдата стали настоящей пыткой. После десяти-двенадцати уроков запал лейтенанта погас, а Семен облегченно вздохнул.

Оставленный в покое, он все чаще стал пропадать в котельной. Только там он отходил душой. После работы было приятно посидеть перед горящей топкой, понаблюдать за пляшущими огнями... Первое время Кропонов смотрел на Семена косо, но постепенно потеплел к добро-

вольному помощнику, поняв, что Поливанов трудится без корысти.

О том, как перебраться в кочегары, подсказал Присяжнюк. Скоро молодые солдаты будут держать экзамены по эксплуатации техники, и «незнайку» охотно спишут в кочегары.

— А не посадят на «губу»? — засомневался Поливанов.

— Зелен ты, хлопец, як репа, — рассмеялся тот. — Капитан Лукин гарный командир, дюже строгий и требовательный, дай бог ему здоровья. Но главное для него — подавай боеву работу! Усих, хто плохо успевае, вин сбагрил — кого в котельню, кого в кантеры. Представь себе, який-то Поливанов напортачит, так вин що — на плаху голову из-за него ложить должен?

Поливанов верил и не верил Присяжнюку. Он медленно шел к казарме, обдумывая совет старослужащего.

Погода стояла непостоянная. То прижимали морозы, то наплывали низкие тучи, опускалось небо и сразу теплело. Под ногами не пел сухой снег, устанавливалась тишина, распространялся вокруг тонкий запах коры осины, и казалось, что до весны рукой подать. Но через день-два снова накатывалась стужа, все цепенело от жгучего мороза... Вот и сегодня снова отпустило и потеплело...

Около казармы Семен услышал голос сержанта:

— Огонек найдется, Семен?

Поливанов удивился. Впервые Федоскин назвал его по имени. Вспышка спички осветила пушок на подбородке, пухлые губы.

— Волнуюсь, Семен, — признался Федоскин. — Через неделю инспекторская проверка на допуск к самостоятельной эксплуатации. Осилишь?

Поливанов не ответил.

— Пойду спать, — вяло проговорил он.

Медленно пошел в казарму, спиной чувствуя смятенный взгляд командира расчета.

В начале декабря дивизион проверила комиссия. Подготовку новобранцев признали низкой. Поливанов с Коротковым получили плохие оценки, взвод лейтенанта Сафонова оказался последним. А взводная оценка повлияла на батарейную, батарейная — на дивизионную. В целом дивизион по подготовке молодых солдат еле-еле натянули на «удовлетворительно».

После отъезда комиссии капитан Лукин собрал офицерское совещание.

Командир стартового взвода лейтенант Сафонов сидел в заднем ряду и смотрел в окно, стараясь казаться безразличным. Ему хотелось скрыть от товарищей стыд и растерянность. Лейтенанту загадочен провал Поливанова. Коротков, тот хоть что-то отвечал, а Поливанов заладил одно: «Нет, не знаю... Не помню... Позабыл». А на боевой работе — ужас вспомнить! Этот красивый, рослый парень словно впервые увидел пусковую. Нарушая технику безопасности, перепутал все операции. Не специально ли он поступил так, чтобы только подвести командира? Тогда за что?

Малиновое солнце опускалось на заснеженный лес. В лесу хрупкая голытьба черных, обожженных морозом ветвей. Ветер гонит поземку. Кажется, бегущий по насту снег вспыхивает голубым пламенем.

Лукин рассказывает офицерам о настройке станции наведения ракет. Ровный и четкий голос. Капитан как всегда сосредоточен и скуп на жесты. В руках записная книжка. Ничего не скажешь — сильный специалист. В присутствии командира Сафонов обычно испытывает робость, теряется, хочет сделать получше, а получается хуже.

Лейтенант наклонил голову. Сейчас Лукин закончит инструктаж и возьмется за него. Что отвечать?

— Товарищ Сафонов, объясните офицерам, почему ваш взвод оценен «неудовлетворительно»?

«Начинается!» — подумал Сафонов и, заикаясь, ответил:

— Не... не знаю. Из-за Поливанова и Короткова. Очень плохо усваивают материал. Замедленная реакция...

Лукин стукнул ладонью по трибуне.

— Чушь городите, товарищ лейтенант! Нет плохих учеников — есть бездарные педагоги! Вы опозорили батарею, подвели всех офицеров дивизиона!

Лицо Сафонова словно присыпано мелом. Он замолчал. Зачем оправдываться? Капитан прав.

— Молчите? — выведенный из себя, спросил Лукин. — Мне непонятно ваше безразличное отношение к службе! Государство, обучая вас в высшем военном училище, затратило огромные средства. А где отдача? Если бы вы так трудились на гражданском предприятии, то не заработали бы себе на ситро!..

Упреки падали с беспощадной тяжестью. Лейтенант молчал, не смея взглянуть на командира. Многие офицеры тоже опустили головы. А капитан все больше распалялся.

— Спокойно, — вдруг произнес Жихарев. — Спокойно, Игорь Николаевич. Разрешите?

Впервые на совещании замполит прервал командира. Заняв место на трибуне, Жихарев глубоко вздохнул. У него покраснели скулы.

— Давайте, товарищи офицеры, разберемся. А то можно всю вину свалить на молодого офицера. Олег Егорович, что вы знаете о прошлом Поливанова и Короткова?

— Беспартийные, — неуверенно ответил лейтенант. — Поливанов до призыва работал подручным кузнеца. Коротков — сапожником в артели. Образование — по восемь классов.

— А еще?

— Поливанов, кажется, играет на баяне. Поет неплохо. Коротков, этот ничем не увлекается. Но они дружат...

— Так. А их влияние друг на друга?

— Безусловно, заводилой является Поливанов.

— Кто был их другом или наставником до армии?

— Не знаю, — пожал плечами Сафонов.

— Что они читают? Чем увлекаются в свободное время?

— Почти не читают. Поливанов играет на баяне...

— Это мы слышали. Есть ли у Поливанова девушка? Как часто пишет письма? Как живет семья и в чем нуждается? Каково здоровье матери?

Сафонов почувствовал, что снова начинает бледнеть. Мало же он знает подчиненных!

Жихарев обратился ко всем офицерам:

— Я эти вопросы ставил не только перед лейтенантом Сафоновым. Чтобы воспитывать и обучать людей, нужно знать о них все! Говоря языком техники, для правильного логического решения электронной вычислительной машине нужна обширная информация. Машина без информации мертва. А командиру-воспитателю необходима подробная информация о душе и чувствах подчиненных. А у нас в дивизионе? Много говорим о готовности техники к бою, об изучении новой аппаратуры, а вот людей почему-то упускаем!

— Сейчас служебное совещание, а не конференция, — заявил, перебивая Жихарева, Лукин. — И все же считаю своим долгом напомнить, что все наши промахи —

в недостаточной требовательности к себе и подчиненным! Требовательность и еще раз требовательность — вот успех дела!

Повернувшись к Сафонову, он объявил:

— Вам, товарищ лейтенант, за низкую подготовку взвода — строгий выговор! — Затем приказал начальнику штаба: — Толку из Поливанова и Короткова не получится. Приказываю: Поливанова назначить кочегаром вместо ефрейтора Присяжнюка, а Короткова перевести в хозяйственное отделение! Товарищи офицеры, вы свободны!

Офицеры вышли из класса. Жихарев и командир остались одни. Лукин избегал взгляда командира.

— Откуда у вас такие навыки в умении оскорблять людей? — спросил Жихарев.

— Оскорблять? — удивился Лукин. — Сказать плохому офицеру, что он плохой — не оскорбление, а констатация факта! А что повысил голос, так Сафонову на пользу: злее в службе станет! Да и характер его нужно ломать — слишком мягкий.

— Злее! Я уже заметил, что Сафонов начал покрикивать на сержантов, те — на солдат. Вместо требовательности расцветает грубость. И она, извините, идет от вас. Грубость, допускаемая начальниками, подобна снежному обвалу. И влияет она прежде всего как раз на дисциплину, о которой вы на словах так печетесь! Кстати, характер ломать нельзя. Человек со сломанным характером — уже не человек!

— А я за то, чтобы офицер был злым на службе! В положительном значении этого слова! — проговорил Лукин ожесточенно. Он сильно переживал за низкую оценку дивизиона. — Железная дисциплина — вот мое кредо. Прошу не забывать, товарищ майор. И, пожалуйста, впредь на служебных совещаниях постарайтесь не перебивать меня и не устраивать вместо совещания теоретических конференций!

— А что значит, «железная»?

— Почитайте Ленина.

— Ленин прежде всего имел в виду сознательную дисциплину. Не любите вы людей! Если бы к вашим знаниям и добросовестности прибавить доброту.

— Не терплю расплывчатых понятий, — усмехнулся Лукин. — Любить — слишком неопределенно. Люди бывают всякие, а я прежде всего офицер! Я люблю Родину, дивизион, военную службу!

— Любите службу, — задумчиво произнес Жихарев. — Службу любит и Сафонов. Кстати, он в вас влюблен. Да, да! Не смотрите на меня так. Сафонов во многом вам подражает! Вот вы обтираетесь снегом — смотрю, и он начал. У него даже жесты и походка становятся похожими на ваши! А вы сегодня подорвали веру в командирскую справедливость! Он же, в сущности, еще юноша. Недавно двадцать два исполнилось! Я уверен — придут к нему и мастерство и опыт, уверен!

— А если не придут? Или поздно придут? Кто нам сделает скидку на его затянувшуюся юность? Если дивизион не выполнит боевую задачу, нам никто не простит! Я органически ненавижу слова: «Отдых», «Солдаты спят, а служба идет», «Начальству виднее», «Моя хата с краю». Я не имею права расслабляться и хочу, чтобы каждый офицер служил так, будто он знает, что завтра начнется настоящий бой!

После небольшой паузы Жихарев проговорил:

— Знайте, я категорически против перевода Поливанова и Короткова в хозяйственники!

— Почему?

— Солдаты молодые, в хозотделении, боюсь, попадут под влияние Караваева. У нас в дивизионе появятся три недисциплинированных человека! И вообще я не сторонник примитивных решений — убирать неуспевающих из боевых расчетов! Этим мы расхолаживаем офицеров, мало занимающихся воспитанием.

— Богу — богово, кесарю — кесарево! Я не имею права рисковать готовностью дивизиона. Что ж, по-вашему, нужно в кочегары перевести Ставрова или Пантелеева?

— К сожалению, отменить ваш приказ не могу, но предупреждаю, что о моем отрицательном мнении будет доложено в политотдел!

— Это ваше право, — проговорил Лукин. — Пожалуй, на сегодня хватит. После ужина хочу проверить подготовку к дежурству боевого расчета!

4

На командный пункт Жихарев пришел раньше Лукина. Дежурство нес капитан Демин. Минут через двадцать появился Лукин, выслушал рапорт, прошелся по оперативному залу, остановился у планшетов. Все было в порядке: нанесены трассы проводок воздушных целей.

Демин только что закончил тренировку с планшетистами.

— Каковы результаты функционирования комплекса?

— По всем параметрам в допуске, — ответил Демин.

— Кто проводил инструктаж?

— Начальник штаба.

Капитан сел за пульт управления и приказал операторам подготовить имитатор к работе. Жихарев стал сбоку, но Лукин словно его не видел.

— Демин, садитесь за пульт. Вы стреляющий!

Лукин проследил за настройкой индикатора, раскрыл бланк исходных данных, запустил тренажер. Пересекая индикатор, к центру двинулась отметка — имитированная цель. Лукин включил секундомер.

— Отражающая поверхность цели?

— Около семи квадратных метров.

— Точнее!

— Пять!

— Тип самолета?

— Скорее всего истребитель!

— Почему скорее всего? А может, крылатая ракета?

— Может, и крылатая...

— Стоп! — резко оборвал капитана командир. — Почему не уверены? Допустим, истребитель. Запускаю снова. Думайте быстрее. Скорость?

— Восемьсот метров в секунду.

— Приблизительно. Тип истребителя?

— Откуда я могу знать? — удивился Демин.

Жихарев с интересом наблюдал за ходом тренировки, пытаясь сам ответить на вопросы Лукина. Но удавалось не всегда: уж слишком ограничено время — секунды на анализ и размышления.

— К боевому дежурству вы, Демин, не подготовлены!

— Но почему? Я же не маг и чародей, чтобы по отметке на экране определить тип истребителя!

«Действительно, что-то не то, — подумал замполит. — Пересаливает командир, снова повело его в сторону!»

— У вас все, Демин? — с холодной иронией спросил Лукин и приказал: — Вызывайте на командный пункт начальника штаба!

У Демина вытянулось лицо. Он понимал, что подвел Масленкова.

— При чем тут Масленков? Я сам за себя несу ответственность!

— Прекратите разговоры! Вам повторить приказание?

Демин ответил «есть!» и отправился вызывать начальника штаба. «Суров командир, — подумал Жихарев. — Но сейчас он прав. Вопрос идет о качестве несения боевого дежурства. Здесь не может быть послаблений».

Вскоре появился недовольный Масленков.

— Вы инструктировали Демина?

— Это моя обязанность. Считаю, Демин подготовлен хорошо!

— Оцениваю я. От дежурства Демина отстраняю. А так как вы, Масленков, проводили инструктаж, то вам придется заменить Демина на дежурстве.

— Ну знаете, это произвол!

— Я не уговариваю. Я приказываю! Ясно? А вы, Демин, через три дня сдадите мне зачет! Только после этого я доверю вам боевой дежурный расчет.

Демин стоял бледный. Масленков отводил в сторону глаза, операторы притихли. Жихарев тоже чувствовал себя неловко, словно сам был виноват в происшедшем.

Лукин уступил место за пультом Масленкову, набрал программу налета, запустил тренажер и, оценивая параметры цели, произнес:

— Начинаю инструктаж. Вот отметка. Отражающая поверхность на этом курсовом параметре равна четырем квадратным метрам. Значит, это истребитель и летит курсом, близким к нулевому! Далее, скорость цели восемьсот пятьдесят метров в секунду, а это говорит о том, что подобную скорость на высоте пятнадцати километров может развить только один-единственный тип истребителя Х-7е. Ну а если вы определили тип самолета, то нетрудно узнать — а вы обязаны знать! — вооружение истребителя, его боевые возможности, тактику применения при прорыве противовоздушной обороны, диапазон радиопротиводействия передатчиков помех...

— Верно! — с явным восхищением подтвердил Демин. На его лице уже не было обиды.

— Верно, верно, — невесело усмехнулся Лукин. — Ведь вы только что доказывали обратное!

— Виноват, опростоволосился, — ответил тот и улыбнулся.

— Так вот, — продолжал командир инструктаж, — определив все это, стреляющий примет быстрое и единственно правильное решение на обстрел цели, назначит

необходимый расход ракет и зону пуска, учтет огневые возможности дивизиона.

Лукин замолчал и взглянул на хмурого начальника штаба. Тот отвел глаза в сторону.

— Нужно иметь в виду, что при принятии решения у грамотного командира всегда появится момент, который можно назвать, если хотите, таинственным чувством вдохновения и интуиции, определяющим тот единственно правильный ход мысли — ход, нужный только в данной обстановке и в конкретную минуту! Но это озарение возникает, как правило, только у офицеров грамотных и волевых, и я не боюсь этого слова — талантливых, отдающих всего себя военной подготовке! Или — или! Середины быть не может. Если ты стреляющий — ты бог ракетного огня! Другого нам не отпущено! Все! Приступаем к тренировке!

Лукин все-таки добился, чтобы начальник штаба завершил последнюю тренировку без ошибок. Повернулся к Демину:

— Всему боевому расчету перекур. Оставьте нас с Масленковым!

Операторы, планшетисты и Демин вышли в коридор, Лукин недовольно заметил Масленкову:

— Низкая подготовка к дежурству капитана Демина — результат вашей халатности!

— Позвольте...

— Не позволю! Можете на меня обижаться, но при повторении подобного строго накажу! Инструктаж я проводил специально для вас. Примерно в таком ключе инструктируйте дежурных офицеров. Проведете лучше — буду искренне рад!

— Я все отдаю службе. Меня перестала видеть семья. Отпустите меня, товарищ капитан! Я напишу рапорт. Не сработались мы с вами. Наверное, психологическая несовместимость.

Лукин повысил голос:

— Нет! И давайте прекратим эти модные разговоры о психологической несовместимости! Как к человеку я не имею к вам претензий, но вот по службе... Запомните, из дивизиона уйдете только на повышение или в академию! Разумеется, если будете служить с полной отдачей сил!

Он посмотрел на молчавшего замполита и усмехнулся.

— Я тоже не стальной! Вот сегодня посмотрел на небо

и начал путать. Честное слово, небо мне вдруг показалось огромным радиолокационным экраном. Звезды — отметками от целей, а стрела ковша Медведицы — бегущей разверткой... Вот так-то. Ну хорошо, — он повернулся к Масленкову, — оставайтесь, а я пойду. Вы, Жихарев, тоже со мной?

Они вышли из командного пункта. Ночь была ветреной, по насту шуршала поземка. За проволочным забором угрюмо бормотал темный лес. Лукин, повернувшись спиной к ветру, спросил:

— Снова осудите меня за жестокость к подчиненным?

Голос прозвучал без обычного вызывающего тона, более того, майору послышалась в его словах затаенная грусть.

— Нет, — ответил Жихарев. — Вы, Игорь Николаевич, правы. Правда, я не ожидал такого строгого решения.

К его удивлению, Лукин согласился.

— Да я и сам понял, что хватил через край. Но Демин в последнее время захандрил. Его нужно было встряхнуть! Вы бы, Антон Дмитриевич, поговорили с ним! Офицер неплохой, а начинает опускаться!

— Обязательно. Правда, я недавно с ним разговаривал! Попробую еще раз. А, черт! Если бы не эта семейная ситуация!

— Не могу понять некоторых мужчин! — воскликнул Лукин. — Воли у них, что ли, нет? Сразу разрубил — и дело с концом!

— А вы сами любили, Игорь? Все не так просто!

— Разговор идет не обо мне, а о капитане Демине. Придется ходатайствовать о переводе капитана. А жаль. Комбат он хороший!

— Может, жену перевести?

— А что это даст? Демину стыдно перед офицерами и солдатами. Задето мужское самолюбие.

— Давайте решим так: я поговорю с ним еще раз, а потом решим.

Они подошли к домам. Светились окна гостиницы. Освещенные квадраты лежали на сугробах, на них вспыхивала поземка.

Прощаясь, Жихарев задержал руку капитана.

— Игорь, вы совсем не отдыхаете! Взяли бы съездили в Сосновск, сходили в театр. Разрядились бы немного, а?

— Спокойной ночи, Антон Дмитриевич, — ушел от ответа Лукин.

Утром Жихарев доложил Шорину о своем несогласии с решением Лукина о переводе молодых солдат в хозяйственники.

— Не пойму я вас, Жихарев, — проговорил подполковник. — Неужели вы, майор и замполит дивизиона, не можете доказать свою правоту капитану?

Антон Дмитриевич молча проглотил пилюлю.

— А, собственно, вы кадровик или политработник? У вас что, дел не хватает? О чем вы беспокоитесь? Лукин убрал из боевых расчетов плохих солдат и правильно сделал. В конце концов, без кочегаров и поваров тоже не обойдешься!

— Сейчас я уже ни о чем не беспокоюсь, — ответил Жихарев с раздражением.

— Как у вас с подготовкой к отчетно-выборному собранию? По-прежнему тянете Тимофеева в состав бюро?

— Я не меняю своих мнений в зависимости от настроения! Кстати, это желание всех коммунистов дивизиона. А партвзыскание с Тимофеева мы сняли.

— Н-да, не хотите прислушаться к моему совету? Удивляюсь! Хотел вас, Жихарев, оградить от неприятностей, но вы сами их ищете! Я лично буду присутствовать на собрании. Поняли?

Антон Дмитриевич положил трубку и задумался. Почему заместитель начальника политотдела так настроен против Тимофеева? Почему он яростно поддерживает Масленкова? Видимо, на собрании придется выдержать крепкий бой. А насчет Короткова и Поливанова лучше всего поговорить с Глушковым и Зубковым, с кочегаром Кропоновым. Кропонов, кстати, интересный человек, фронтовик, со сложной личной судьбой. Конечно, можно добиться отмены приказа, но сейчас это делать нецелесообразно. Поработать с солдатами так, чтобы они сами снова попросились в боевые расчеты...

Лукину нравилось по вечерам работать на командном пункте. Аппаратура и индикаторы выключены, по панелям мягко мерцают зеленым светом сигнальные лампочки, на стол командирского пульта ложится уютный свет от наклонного светильника. Тишина, никто не мешает, хорошо думается.

Капитан готовился к очередному занятию с офицерами, просматривал правила стрельбы и инструкцию, делал записи в конспекте.

Нарушая тишину, щелкнул динамик внутренней селекторной связи, и дежурный объявил:

— Товарищ капитан, получена срочная, командирская!

Лукин закрыл конспект и прошел к дежурному. Дежурила Демина. Он быстро прочитал текст и облегченно вздохнул — телеграмма учебная, тренировочная. Составил ответ, вписал время принятия телеграммы и подал связистке бланк.

— Вызывайте сержанта Симакова для передачи по телеграфному каналу.

Демина, чуть помедлив, попросила командира:

— Разрешите мне, товарищ капитан!

— Вам?!.. Ну что ж, попытайтесь.

Разрешая, он подумал, если она и напутает — ничего страшного. Телеграмма тренировочно-учебная.

Демина включила радиостанцию и стала настраиваться на нужную волну. Он отошел в угол и сел на стул, наблюдая за ней. Волосы мешали Тане, и она движением головы забросила их за спину. Волосы были длинными, густыми, с каштановым оттенком.

Настроившись, она улыбнулась, затем нахмурила лоб и застучала ключом. Закончила, повернулась и, ослепив радостной улыбкой, доложила:

— Телеграмма принята адресатом, квитанция получена, товарищ капитан.

Раз квитанция получена, значит, она сработала без ошибок.

— Спасибо, — поблагодарил он и добавил: — Таня.

Она внезапно покраснела и смутилась, а его охватила непонятная досада, что она так быстро передала телеграмму и ему нужно уходить. Если бы она напутала, то он бы сейчас помог ей, а теперь... Наблюдая за Таней, он поймал себя на желании, чтобы она снова заговорила с ним и назвала его по имени...

Шорин приехал в дивизион за несколько часов до собрания. Жихарев встретил его в проходной. Они медленно шли от центральной аллеи к позиции. Дорога была тщательно ухожена — Лукин не давал спуску стартовикам. От берез, росших на обочине, ложились на сугробы синие тени.

— У вас все готово к собранию?

— Все. Неделю назад провели бюро, утвердили отчетный доклад. На собрании представителей от низовых организаций утвердили и обсудили кандидатов в новый состав бюро.

— Правильно, — кивнул Шорин. — На самотек нельзя пускать. Ну а кого вы рекомендуете в состав бюро?

— Решили пять человек: Новикова, Федорова, Симкина, Терехова и Тимофеева.

Ничего не отразилось на лице подполковника. После небольшой паузы он произнес:

— По-прежнему гнете свою линию! Ну а кого вы мыслите избрать секретарем?

— Разумеется, Тимофеева. Но я хочу вас поправить: гну не свою, а партийную линию!

— Значит, все-таки Тимофеева? Буду с вами откровенен, Жихарев. Я был против вашего назначения в дивизион, но полковник Шевцов...

— Знаю, — перебил Жихарев. — Давайте, Станислав Александрович, отбросим в сторону эмоции и поговорим как коммунисты! Мне непонятно ваше недоверие! Масленков не способен руководить коммунистами, а Тимофеев будет хорошим партийным вожаком дивизиона!

— Если секретаря парторганизации не поддерживает замполит, то о каком, позвольте вас спросить, авторитете может идти речь?

Над ними, ныряя в синем воздухе, пролетела сорока, села на березу и качнула ветку. На землю, растаяв белесой дымкой, сорвался снежок. Подполковник отвернулся, давая понять, что разговор ему крайне неприятен.

— Вы, Жихарев, на положение дел смотрите с колокольни дивизиона, а я — соединения. Масленков добросовестно ведет партийное хозяйство, его не раз проверяли вышестоящие парторганы, и наш политотдел не получил ни одного замечания. Зачем, спрашивается, менять? Ну, изберете Тимофеева. Приедет первая же комиссия и сразу упрекнет, что мы допустили избрание секретарем парторганизации человека, имевшего взыскание!

— Значит, по-вашему, Тимофеев потерянный для партии человек? Убейте меня, ничего не понимаю!

— Плохо, что не понимаете! — Шорин посмотрел на часы и приказал: — Немедленно соберите партактив дивизиона. Я сам постараюсь убедить коммунистов в их ошибке!

— Трудная у вас задача.

— Выполняйте приказ, товарищ майор!..

Через пятнадцать минут в ленинской комнате собрался партактив дивизиона. Подполковник появился с приветливой улыбкой, точно подменили человека. Только Антон Дмитриевич знал, что у Шорина на душе. Веселый прищур глаз, ровный голос — без тени покровительства, который так часто, помимо воли, проскальзывает у людей, обладающих большой властью. Он со всеми поздоровался, задержал руку старшего лейтенанта Симкина, весело спросил:

— Ну как, Виктор Анатольевич, сейчас не перепутаешь кнопки?

Симкин покраснел от удовольствия. Ему было приятно, что заместитель начальника политотдела запросто назвал его по имени и отчеству, помнил происшедший с ним курьезный случай в самом начале офицерской службы. На учебно-боевых стрельбах при пуске боевой ракеты Симкин так разволновался, что нажал другую кнопку и задержал старт на несколько секунд. Эти секунды молодому лейтенанту показались вечностью. Потом он рассказал товарищам, что чуть не сломал палец, с отчаянностью нажимая кнопку и с ужасом думая, почему не проходит старт, что произошло с техникой? Лишь по подсказке комбата Симкин переменил кнопку и провел пуск.

— Теперь, товарищ подполковник, во сне не перепутаю!

А Шорин погасил улыбку и задумчиво произнес:

— Это один из элементов психологической подготовки ракетчиков. Одно дело отлично знать технику, а другое — произвести реальный пуск. Весьма непросто преодолеть моральный фактор! Вы учтите это при обучении и воспитании ракетчиков.

Слушая Шорина, Жихарев завидовал его выдержке. Умеет подполковник расположить к себе людей!

Прежде чем приступить к обсуждению кандидатов в состав нового бюро, Шорин рассказал о жизни других подразделений, умело затронул у коммунистов чувство любви к своему подразделению. В заключение он сказал, что командование и политотдел части уверены в возможностях зенитного дивизиона. И, не отрываясь от избранного тона доверительной беседы, произнес:

— Я просмотрел список кандидатов в бюро, и у меня возникли некоторые сомнения, — Шорин с улыбкой огля-

дел собравшихся. — Лично я не против кандидатуры Тимофеева. Да, а почему его не пригласили на совещание актива?

— Тимофеев с прапорщиком Фирсовым устраняет неисправность на станции, — объяснил Масленков.

— Ну что ж, боевая готовность прежде всего, — кивнул Шорин. — Дело, товарищи коммунисты, в том, что Тимофеев имел партийное взыскание и его нежелательно вводить в состав нового бюро.

— Но мы же сняли взыскание! — воскликнул Симкин.

— Сняли — это хорошо. Но слишком поздно. Любой инспектирующий обвинит нас в несерьезном подходе. Только, мол, сняли взыскание и сразу избрали в руководство.

— Я претензий к Тимофееву не имею. Он лучший офицер дивизиона и отличный специалист! — заявил Лукин.

— Согласен с вами, Игорь Николаевич, и я считаю Тимофеева отменным офицером. Но сейчас вводить его в состав бюро рановато. Если бы ваша парторганизация была более чуткой к товарищу и сняла взыскание с Тимофеева хотя бы полгода назад, я бы первым проголосовал за него!

Шорин, чувствуя, что почти убедил собравшихся, продолжал:

— Ничего страшного, если мы Алексея Ивановича изберем в следующем году! Я думаю, вместо Тимофеева нужно рекомендовать Масленкова. Он у командования и политотдела части на хорошем счету.

Предложение встретили молча, натянуто. Жихарев не вмешивался. Он не хотел, чтобы коммунисты знали о его разногласиях с подполковником.

Шорин, посмотрев на молчаливого Жихарева, предложил:

— Товарищ Фомичев, вы объявите список кандидатов в новый состав бюро, а вы, Новиков, рекомендуете собранию список кандидатов на партконференцию части. Я думаю, партийное собрание поддержит наши предложения по кандидатам.

Симкин демонстративно вздохнул. Кое-кто улыбнулся...

Собрание шло вяло, но Жихарев видел, что Шорин этим доволен. Тон собранию сегодня задал Шорин еще на партактиве, и многие отмалчивались. Все шло, как заду-

мал подполковник. Критики в адрес командования и политотдела не было...

После отчетного доклада и прений коммунистов ознакомили с инструкцией о порядке выборов в партийные органы, и капитан Фомичев объявил список кандидатов в состав нового бюро, одобренных партактивом. Капитан Масленков быстро заявил:

— Есть предложение — подвести черту!

Медлить было нельзя, Антон Дмитриевич поднял руку, прося слова.

— Предлагаю ввести дополнительно в список для голосования коммуниста Тимофеева.

Симкин не сдержался, воскликнул:

— Правильно!

Шорин быстро посмотрел на Жихарева, но промолчал. Он выжидал, оценивая обстановку. Фомичев, не зная что делать, замялся. Он присутствовал на партактиве и знал мнение Шорина. Пауза становилась неловкой, и кто-то с раздражением произнес:

— Председатель, веди собрание!

— У меня отвод, — заявил Масленков. — Товарищи, Тимофеев имел строгое партвзыскание. Крайне несерьезно с нашей стороны выдвигать его в состав бюро!

Шорин одобрительно закивал капитану.

— Да мы же сняли с него взыскание! — раздался голос. — Капитан Тимофеев отличный специалист и добросовестный офицер!

— У меня самоотвод, — поднял руку Тимофеев. Он был взволнован. — Товарищи, я прошу исключить меня из списка!

Но его перебили.

— Оставить в списке. Мы доверяем, Алексей Иванович!

— Товарищи, — оживился Шорин, — послушаем коммуниста Тимофеева!

— Действительно, я имел строгое партийное взыскание и еще не заслужил доверия быть в руководящем органе, — произнес Тимофеев. — А потом — обязанности командира батареи отнимают у меня все время.

— Интересно! — громко проговорил прапорщик Глушков. — Когда это партийная работа мешала коммунисту выполнять служебные обязанности? Я имею в виду — настоящему коммунисту! Ему доверяют, а он!.. Есть предложение — отклонить самоотвод капитана Тимофеева!

— Правильно!

— Оставить в списке!

После голосования председатель счетной комиссии зачитал протокол голосования.

— ...Таким образом, в состав бюро избраны коммунисты: Терехов, Симкин, Новиков, Федоров и Тимофеев. Коммунист Масленков, получивший меньшинство голосов, в состав бюро не избран. Прошу партийное собрание утвердить протокол.

На заседании нового партбюро секретарем был избран Тимофеев. Шорин был уже бессилен помешать.

— Проводите меня, Жихарев, — попросил он, одеваясь.

Мороз к ночи усилился. Вокруг луны светился ореол.

— Политотдел не утвердит Тимофеева, — сказал Шорин. — Придется назначать перевыборы! Вот куда завела ваша строптивость!

— Но коммунисты снова изберут Тимофеева. Нельзя же, в конце концов, командовать парторганизацией!

— Командовать нельзя, а направлять требуется! Вас для этого и назначили замполитом. Что ж, примем соответствующие меры!

— Дело ваше.

— Это не принципиальность, а упрямство! А вы знаете, что брат капитана полковник Масленков — направленец в политуправлении на наши войска?

— Ну а при чем тут брат капитана?

— Не прикидывайтесь! Много значит. Вы это прекрасно понимаете. Полковник Шевцов останется крайне недоволен таким исходом выборов!

— Не нужно! Я знаю Владимира Ивановича.

— Вы все сделали, чтобы подорвать мой авторитет у коммунистов дивизиона!

— Вот уж чего не думал! — возразил Жихарев. — У меня была одна цель: укрепить партийную организацию!

— Не поймем мы друг друга.

— Это верно, Станислав Александрович, не поймем...

5

Через неделю в котельной у Семена все блестело. Он выпросил у старшины лака и красок, перекрасил трубопроводы и двигатели. Командир хозяйственного подразделения Зубков не мог нарадоваться новым кочегаром.

Но старший кочегар Кропонов начал с первого дня придираться к Поливанову. Притащил из кладовки испорченный мотор для вентиляции.

— Посмотри, пробой где-то. Найди и заизолируй.

Семен почесал затылок.

— Не смогу.

— Как это не сможешь? Тогда на черта ты здесь нужен? Думаешь, только лопатой махать? Это и медведь может! Из расчета выгнали, так решил — нам дураки нужны?

— Меня не выгнали, — побледнел Семен. Насилу сдержался.

Вечером Семен затащил в котельную Ставрова. Мучились до отбоя, но неисправность нашли, двигатель заработал.

— Ну, старик, выручил! — обрадовался Семен.

— Зачем тебе кочегарка? — спросил Ставров. — Смысла не вижу. Идти в армию, чтобы два года в котельной вкалывать!

— Кому-то нужно, — хмуро возразил Семен и в сердцах воскликнул: — Да что вы все пристали ко мне?

Геннадий Ставров покачал головой, но разговор об этом прекратил.

Утром Семен доложил Кропонову о двигателе, но тот недовольно пробурчал:

— Думаешь, ежели котельная, то можно тары-бары?

— Да не думаю я так!

Кропонов постепенно отошел, стал с ним разговорчив. Особенно по вечерам, когда старший кочегар в котельной оставался на ночь. Жил он в пяти километрах от гарнизона, у родной сестры — жены лесника. Семен слушал его с интересом.

— После войны, паря, я бобылем живу. Многие жалеют: мол, несчастный человек, а много ли мне надо? Угол есть, куском хлеба не обижен, и ладно.

Он протянул к огню жилистые руки.

— Никто о моей болезни не знает, а сестре я указал молчать. Не люблю, когда жалеют.

— Как же так случилось, Петр Михайлович?

В глазах кочегара метнулась тоскливая боль. Он открыл дверцу топки и уставился на огонь. Впалые щеки покрылись румянцем. Глухо заговорил:

— Вам, молодым, сейчас только и жить. Служба-то, я

погляжу, культурная, грамотная. Офицеры — все инженеры. А нет, все мельтешите: туды, сюды...

Семен засыпал в топку уголь, снова сел рядом. Он решил не торопить Кропонова — уж так человек скроен: не любит пускать в душу.

— Призвали меня в сороковом году, за восемь месяцев до начала. Когда уходил, жена моя Ксения двойню принесла: сына и дочку. Схожие, как две капли, а глаза Ксюшины...

Он замолчал и сделал несколько затяжек.

— Да... Не то я рассказываю. Раньше-то, перед войной, ежели кого в армию не брали и оставляли по болезни, так на такого девки в селе и не смотрели, отворачивались. Срамота, за мужика не почитали! Это сейчас — освободят от призыва, они и радуются, дураки! Не понимают, что ежели солдатской службы не понюхал, то и человека настоящего не получится... Вот и ты службы ни черта не знаешь, полез в кочегары!

— Не лез я, назначили! Приказ есть приказ!

— Знаем. Сам бы не захотел — не назначили!

Поливанов не стал спорить. Кропонов вздохнул и продолжал рассказ:

— Так вот, на проводах Ксения онемела. На вокзале полно провожающих, песни играют, оркестр наяривает, а она молчит, точно язык проглотила. Мне даже не по себе сделалось. Ну что бы ей убиваться? Да знать, чуяло сердце, что случится война и мы больше не увидимся...

Кропонов вдруг понизил голос и забормотал:

— Когда приступ, брат, вижу их будто живых... И Ксюшу, и ребятишек.

Семену стало не по себе от его бормотания. Но Петр Михайлович повел плечами и снова начал рассказывать:

— И вот началась... Всякое я пережил: и отступал, и наступал. Но бог миловал — ни разу не ранило. Два ордена Славы получил. А знаешь, за что красноармейцев такими орденами награждали?

— Нет... Откуда?

— «Откуда», — криво усмехнулся Кропонов. — Запомни: одним указом правительство учредило ордена Победы и Славы. «Победой» награждали только маршалов, а «Славой» красноармейцев за особые заслуги, понял? — Кропонов протяжно вздохнул. — Закончилась война, а от Ксении с ребятишками ни слуху, ни духу. Сказывали, что она с ребятишками на Смоленск ушла, когда немец

стал подходить. Не дошла, видать. Может, где по дороге бомбой накрыло или с неба пулеметами посекли... Долго я их искал. И через газету, и через военкомат. Многие так находили друг друга. А потом начал по всей стране шастать... Один раз в Горьком, на Волге-реке город стоит, встретился с товарищем фронтовым, ну и выпили по этому случаю крепко. И привиделась мне Ксения как живая! И ребятишки... Случилось со мной что-то, стал я их видеть через каждые полтора-два месяца. Врачи говорят, расстройство психическое...

— Петр Михайлович, а вылечиться?

— Зачем? — усмехнулся он. — Мне однажды посоветовали снова напиться, мол, клин клином вышибают, да я не согласился. Сейчас ни капли в рот не беру. Хочу их видеть, в этом моя радость осталась.

Он неожиданно замолчал и поднялся.

— Разболтался! Спать пойду.

И, не оглянувшись, Петр Михайлович ушел за перегородку. Там у него стояла койка.

После разговора с Кропоновым Семен яростно кидал в топку уголь, шуровал кочергой — поднял температуру в котле до предела. Затем возил уголь — смены на три обеспечил. Мокрая рубашка липла к телу. Вышел на мороз отдышаться.

От хранилища донесся громкий окрик часового. Около автопарка выла сторожевая собака. «Смена караула, — подумал он машинально. — Перевалило за час».

Сквозь сосны просматривалась казарма с освещенными окнами в дежурной комнате. Семен представил: сидит за столом дежурный сержант, на столе несколько телефонов, на стене доска с инструкциями, списки посыльных за офицерами на случай тревоги, распорядок дня... На другой стене красочные плакаты о караульной службе, над плакатами броский лозунг: «Ракетчики! Берегите каждую секунду! Сбереженная секунда — выигранный бой!»

Чувство какой-то утраты и неясной зависти к своим сослуживцам, спящим в казарме, несущим боевое дежурство на позиции, кольнуло Поливанова. Действительно, стоило ли уходить в армию, чтобы вкалывать кочегаром?..

Утром, после смены, он был молчаливым, хмурым. С ним попробовал заговорить Николай, Семен отмолчался и завалился спать. Но заснуть не дали. Взвыла сирена, дежурный гаркнул во всю глотку: «Дивизи-он, сбор!»

Семен вскочил и начал одеваться, но вспомнил, что он после ночной смены и его место в расчете занял Присяжнюк.

Сел на кровать, стал медленно стягивать сапоги. Казарма опустела, лишь у дверей стоял дневальный с противогазом и автоматом. Семен снова лег, но уснуть не мог. Бродили в голове разные мысли. А вдруг начнется настоящий бой, а он развалился — будто и не солдат... Быстро поднялся, оделся, выбежал из казармы.

День выдался солнечный, ветер затих. Все сверкало в снегу. Семен невольно зажмурился. Небо было чистым и глубоким, до самого горизонта веером тянулись серебристые нити за реактивными самолетами. Звук от истребителей доходил приглушенно и с опозданием, как при обвале грома.

На пусковой, тяжело дыша, работал расчет. Присяжнюк, увидев Поливанова, весело рассмеялся:

— Пидмога пожалувола? Ну як дела, трудяга-работяга? Котельня ще не гакнулась?

Семен промолчал: «Чертов хохол! Сам помогал, а теперь подтрунивает!» Но ракетчикам было не до разговоров. Сержант Федоскин строго оборвал шутника:

— Перестань болтать, Присяжнюк! Проверь стыковку! — и, посмотрев на Семена, сухо посоветовал: — Не мешайтесь, Поливанов! Посторонним здесь быть не положено!

От командного пункта бежал лейтенант Сафонов. Поливанов уступил дорогу. Лейтенант остановился.

— Не вытерпел? К взводу потянуло?

Семен промолчал, а лейтенант добавил:

— Первое время всегда жалеешь о старом. Но у вас, Поливанов, тоже ответственная служба. Хранитель тепла дивизиона! Ну, я побежал. Контрольные цели на подлете!

«Выдумал: хранитель тепла, — подумал Семен. — Нечего мне тут ошиваться, раз цели контрольные. Спать пойду...»

Когда объявили «сбор», Антон Дмитриевич находился в автопарке. Нарастающий вой сирены сорвал его с места... Захлопали двери боксов, солдаты разбегались по машинам: загудели моторы. Убедившись, что водители

действуют организованно, Жихарев ушел на командный пункт.

Капитан Лукин проводил контроль функционирования комплекса. Рядом с ним находился незнакомый полковник. Антон Дмитриевич понял, что «сбор» связан с проверкой боевой готовности дивизиона.

Приняв доклады, Лукин доложил инспектирующему:

— Товарищ полковник, дивизион к бою готов!

Тот посмотрел на часы и записал время.

В ожидании информации о воздушной обстановке с командного пункта части Жихарев решил сходить на позицию к стартовикам.

После полумрака убежища глаза ослепило солнечным светом. Сверкал снег. Он зажмурился и глотнул полной грудью морозного, крепкого, как спирт, воздуха. С возвышенности хорошо виделось, как к пусковым заезжали тягачи с ракетами. У окопов суетились солдаты.

По заснеженной тропе Жихарев подошел к ближайшей пусковой. Солдаты уже зарядили и убежали в укрытие. Ракета начала подниматься на угол старта. Мерно гудели моторы, слышался тонкий звон гироскопов, работающих в чреве ракеты. Ракета, нетерпеливо вздрагивая, поднималась, готовясь совершить прыжок в синее морозное небо. Бока переливались матовым серебром... Вот она поднялась на угол старта, с металлическим шорохом развернулась в сторону леса и замерла в напряжении, готовая сорваться с направляющих и, осветив округу голубой вспышкой, устремиться навстречу цели. От конусной головки отразился луч солнца, и Жихареву показалось, что ракета обожгла его косым взглядом, недоумевая, зачем и почему он стоит рядом без всякого занятия.

У входа в укрытие Антон Дмитриевич снова оглянулся на пусковую. В ракете было столько грозной стремительности, что он насилу оторвал глаза.

Лейтенант Сафонов доложил ему о готовности взвода к бою.

— Вижу, — улыбнулся майор. — Молодцы, быстро управились.

В последнее время у Сафонова появилась уверенность в себе. Лейтенант был возбужден, с блестящими глазами, и замполит почувствовал, как счастлив сейчас Сафонов. Счастлив тем, что «сбор» не застал подчиненных врасплох, счастлив, что его начинают уважать солдаты, счастлив, наконец, что во взводе присутствует замести-

тель командира дивизиона и может оценить действия расчетов.

В углу убежища на раскладном столике агитатор взвода оформлял боевой листок. Солдаты с интересом заглядывали на шуточную карикатуру.

— Товарищ майор, ну где же справедливость? — воскликнул молодой солдат. — Чуть замешкался и сразу шарж?

— Який ты олух, а? — сказал ефрейтор Присяжнюк. — Що является силой нашего общества? Критика!

Жихареву нравился настрой солдат, их шутливая перепалка. Такое может быть лишь в дружном коллективе... В динамике раздался голос Лукина:

— ...На дальних подступах к обороняемому объекту группа воздушных целей противника! Быть готовым к уничтожению! Майору Жихареву прибыть на командный пункт!

Цели начали входить в зону огня дивизиона. Шла боевая работа по отражению удара воздушного «противника»... По экрану бежала развертка. Тонкий электронный луч, вращаясь по индикатору, охватывал огромное расстояние в пространстве, высвечивая летящие истребители, попадающие под невидимый поток электронов.

— Есть цель!

— Захват!

— Есть захват...

Ровно гудели вентиляторы, охлаждая кабину боевого управления, но с каждой минутой становилось душнее. Учения, чувствовалось, подходили к концу — налет целей заметно ослабел. Информация о противнике уже не поступала. На подлете к зоне огня появились два истребителя, и с командного пункта части приказали их уничтожить дивизиону. Посредник посмотрел на часы и объявил вводную:

— Включить автомат помех! Помехи наложить на отметки от целей!

«Интересно, как Лукин справится в такой сложной обстановке?» — подумал Жихарев, но полковник усложнил выполнение задачи и приказал:

— Командир ранен. Подготовить к работе дублеров! Выведена из строя проводная связь. Работать по радиотелеграфу!

У начальника штаба вытянулось лицо. Опытный радиотелеграфист сержант Симаков болел и его замещала Демина.

Лукин, взглянув на замполита, приказал:

— Обязанности командира выполняет майор Жихарев!

Раздумывать было некогда. Антон Дмитриевич занял место командира. Полковник записал фамилию и уточнил:

— Вы, товарищ майор, начальник штаба дивизиона?

— Нет. Замполит.

Посредник удивился и проговорил:

— Ну-ну... Работайте.

— Спокойно, Антон Дмитриевич. Оцените порядок входа целей в зону огня на азимуте триста сорок, — подсказал Лукин.

Полковник оборвал капитана:

— Вас нет! Боем руководит майор Жихарев!

Одно дело — ежедневные тренировки на тренажере, и совсем другое — вести обстрел реальных целей. Жихарев это прекрасно понимал. Но он понимал и то, что ему нужно во что бы то ни стало отлично отстреляться. Неудача покачнет его авторитет среди ракетчиков.

Цели шли под прикрытием помех. Жихарев хорошо различал головную, а вторая была полностью засвечена. Не мешкая, подал команду на уничтожение головной, приказал операторам перейти на ручное сопровождение, а офицеру наведения сменить частоту зондирования и отстроиться от помех... По облегченному вздоху Лукина он понял, что начал правильно, и это ободрило его. Трудность была в том, что не поступало дополнительной информации по целям, так как была выведена из строя проводная связь, и Жихареву очень бы помогла Демина, если бы она вовремя приняла радиограмму от радиотехнического подразделения.

Первая цель обстреляна своевременно. Он подал команду на перенос огня по второй, и в это время по динамику раздался быстрый голос телефонистки:

— Цель под прикрытием помех на дальности 80, высота 100, скорость 400!

Антон Дмитриевич обегченно вздохнул. Теперь у него были все данные для уничтожения цели. Он быстро ввел корректуру и уточнил порядок обстрела... Оператор Суржиков не сдержался и гаркнул во все горло:

— Молодец, Таня!

— Разговорчики! — прикрикнул Лукин...

После учений полковник приказал построить дивизион. Он ничего не сказал о результатах, но по выражению его лица можно было догадаться об успехе ракетчиков. После уничтожения цели он сказал Лукину:

— Если у вас так подготовлен замполит, то за остальных я не беспокоюсь.

Полковник медленно обходил строй дивизиона, вглядываясь в лица ракетчиков. Быстро темнело. На позицию наползала ночь. О чем думал полковник в эту минуту? О молодых, пришедших на смену опытным? Задержался около Деминой.

— Сколько служите?

— Семь месяцев, товарищ полковник.

— Вы телеграфистка?

— Нет, телефонистка. Телеграфист — моя смежная специальность.

— Так. Не тяжело служить? Вас не обижают?

— Ну что вы! Не обижают.

Посредник вышел на середину строя, проговорил:

— Дивизион задачу выполнил успешно. Предварительная оценка за выполнение учебных стрельб — «отлично». О хорошей слаженности расчета будет доложено командующему и отмечено в акте проверки. За отличную боевую работу объявляю благодарность капитану Лукину, майору Жихареву и рядовой Деминой! Остальных достойных командиру дивизиона поощрить своей властью!

После отъезда посредника Жихарев сказал Лукину:

— Не боялись, что завалю? Рисковали?

— Был уверен.

— Спасибо. Но почему обошли Масленкова?

— Откровенно, побоялся. Позавчера проводил с ним тренировку, он пропустил цель. Не пойму я его. Старый командир хвалил, начальство части его хвалит, а я недоволен. Проверил учет боевой подготовки — запущен, боевые документы обрабатывал, пришлось самому переделывать. Службу войск не контролирует, во всем нужно подталкивать. Уговаривает подписать ему рапорт в академию, а у меня рука не поднимается. Я не подпишу — даже если вы будете настаивать. Ведь вы у нас добренький!

— Верно, хочу быть добрым, но не добреньким. А в отношении Масленкова вас полностью поддерживаю. Да, Игорь Николаевич, измените свое отношение к Деминой, ладно? Служит-то она неплохо, верно?

— Конечно, — согласился капитан и внезапно покраснел.

После тактических учений Семен вычистил в запасной топке колосники, посбивал нагар со стенок, отремонтировал резервный трубопровод, старался до седьмого пота. Петр Михайлович заставил его зачем-то изучить устройство электрооборудования кочегарки. Семену пришлось сесть за учебники. Иногда он ловил на себе пристальный взгляд старого фронтовика. Отчего он придирается к каждому пустяку? То ругает за кучу шлака, хотя шлак убирается после смены, то пристанет, что колосники заплыли...

Однажды пришел поздно вечером в кочегарку, ходил недовольный и все бурчал. Потом взял раскладной стульчик, присел перед топкой, протянул руки к огню и передернул плечами.

— Накатывает...

— Что с тобой, Петр Михайлович?

— Говорю, накатывает,—он посмотрел на Семена невидящими глазами. — Душу жжет... Начинается у меня.

Семен вздрогнул. Значит, у него начинается то самое, от которого кочегар два месяца хоронится и которое ждет с нетерпением!

Кропонов поднялся, что-то забормотал.

— Пойду к дружку в Смольки... Доберусь как-нибудь.

Он стал натягивать полушубок. Поливанов посмотрел на часы: время к одиннадцати, деревня километрах в шести от дивизиона, на дворе морозище.

— Петр Михайлович, куда ты на ночь глядя?

— Не моги меня держать, сосунок!

«Замерзнет, как пить дать, замерзнет! Отговорить нужно», — подумал Семен, насильно усадил его на табурет, предложил:

— Дядь Петро, я сбегаю в медпункт за снотворным.

— Пустое, да и зачем?

Он посмотрел на Поливанова, глухо выдавил: «Все» — и поднялся. Шаги у него стали неуверенными, словно внезапно ослеп. Дошел до стены, уперся в нее, постоял около минуты, покачиваясь, затем повернулся и протянул вперед руки. На лице высветилась кроткая и какая-то растерянная улыбка.

— Ксюша, Ксюша, касатка моя...

В голосе было столько просящей муки, что Семен невольно повернулся и посмотрел в угол. Вздрогнул, чув-

ствуя, как его тело покрывается морозной сыпью, и со страхом ощущая, что там — в углу что-то возникает и колышется, словно неясный, как в тумане, зыбкий силуэт. Поливанов через силу перевел взгляд на Кропонова.

Кропонов нахмурился, качнулся и боком, боком побрел за перегородку. Минут двадцать оттуда доносился глухой разговор, счастливый смех, а затем наступила тишина — видать, забылся кочегар в своем тревожном угаре...

В дивизионе все заметили, что за последнее время Поливанов сильно изменился. Избегал даже Короткова. Коротков обиделся, перестал бывать в кочегарке и стал прибиваться к Караваеву. Николай обязательно тянулся к кому-нибудь.

Как-то после смены Семен возле казармы столкнулся с Геннадием Ставровым. Тот обрадовался.

— Давненько тебя не видел. Куда пропал?

— Котельня запарила, — улыбнулся Семен.

— Есть время? Проводи-ка меня на позицию.

В кабине было тепло и уютно, поблескивали выключенные экраны, лишь на пульте среди множества кнопок зеленым светом горела лампочка, высвечивалась надпись «Обогрев».

— Расскажи, как дела? Слышал, ты такой порядок в котельной навел — закачаешься!

— Обрыдло все!

— Вот тебе на! Семь пятниц на неделе.

Семен поморщился: рассказывать или нет о своих сомнениях? Решился.

— Черт знает что получилось! Сам хотел в кочегары, специально экзамены завалил, а теперь мучаюсь...

— Слушай, старик, давай я буду с тобой заниматься? — предложил Ставров. — Ей-богу, станешь неплохим оператором!

— Ну ты даешь! — рассмеялся Семен. — Да какой же из меня оператор?

— Попробуем. Но вкалывать придется по-настоящему! Давай-ка сначала я проверю по теории.

— Да ну тебя к черту! — засмущался Семен. — Ничего я не знаю! Учился кое-как, с шестнадцати лет в кузнице! Лучше давай с самого начала, а то я даже закона Ома не знаю.

— Идет, — согласился Ставров. — Завтра я подберу

учебники — и начнем. В день по два часа. Но только условие — все задания ты будешь выполнять добросовестно.

— Старина, я буду старательным учеником! — обрадовался Семен.

На ракетно-стрелковой подготовке Лукин, закончив тренаж, распустил офицеров. Жихарев залержался.

— Ко мне обратились Поливанов, Коротков, Свиридов и Жуков, чтобы их снова перевели в боевые расчеты. Поливанов сейчас самостоятельно изучает аппаратуру, упросил оператора Ставрова помочь разобраться ему в основах электротехники.

— Похвальное стремление, но я не могу перетасовывать боевые расчеты, как карты!

— Беда в том, что у нас появилась группа солдат-хозяйственников, оторванных от боевой подготовки. Случится бой — они будут мертвым грузом в дивизионе!

— Случись бой, — усмехнулся Лукин, — они будут обеспечивать операторов и стартовиков. На фронте повар варил кашу, санитар подбирал раненых! Без хозяйственников не обойдешься!

— Но в критический момент и повар, и санинструктор, и каптер брали в руки автомат.

— Что же вы предлагаете?

— Пока рассуждаю... Сами солдаты-хозяйственники сознают необходимость освоения военной специальности. А мы, коммунисты и командиры, отмахиваемся от нужного дела. Придется поставить этот вопрос на партийном бюро.

— Зачем нужно решение бюро? — возразил Лукин. — Сегодня же прикажу начальнику штаба, он составит расчеты из хозяйственников, напишет расписание и спланирует занятия!

— Ничего страшного. Ваш приказ будет иметь партийную основу.

Лукин вдруг рассмеялся.

— Ну и хитрый же вы, Антон Дмитриевич!

— Хитрость, заметьте, необходимое качество умного командира. Но у меня хитрость от простоты.

— Ну-ну, не прибедняйтесь!

Окончание следует.

ПОЭЗИЯ

Олег ПОСКРЕБЫШЕВ

ГОДОВЫЕ КОЛЬЦА

* * *

Вначале — хлеб, а после — песня...
Лишь так ведется, только так!
Созрей, наш хлеб, и, песнь,
разлейся
Вишневым соком на устах!

Порою дарит жизнь мгновенья,
Которых не сыскать светлей.
Сперва любовь — как озаренье,
А после разговор о ней.

Но, и любовь и хлеб венчая
Душевной песней за столом,
Одно, одно навечно знаем:
Сперва — судьба родного края,
А остальное все — потом.

* * *

Густо встали подсолнухи в поле,
Словно сельский стотысячный сход.

И при взгляде на них
Я невольно
Вспомнил вечное слово —
Народ.

Ждут они спозаранку,
Что солнце,
Как старейшина,
Выйдет в зенит
И всех дум сокровенных коснется,
Все вопросы с утра осветит.

Я вникал в их молчанье и речи,
Был их общей заботой томим,
Я нутром понимал это вече,
Где был каждый родным и своим.

Эта слитность с родимым народом
Так близка,
Так понятна и мне —
Под родным до клочка небосводом,
На родной до песчинки земле.

ВЕРХОВАЯ ВОДА

Я к колодцу спешу майским днем за водой.
А воды в нем, гляжу, стало вровень с землей.
Но большая вода, понимаю, не та:
Набежала сюда верховая вода.
Верховая вода... с ней одна маета —
До краев налита верховая беда.
Вон гляди-примечай: так и лезет сквозь сруб.
А ее — ни на чай, а ее — ни на суп.
Сколько надо прождать, чтоб ушла, — ой-е-ей!
Лучше попросту взять да из сруба — бадьей!
Ведь колодец любой дорог не верховой,
А своей коренной, основною водой.

Май округой идет — разгулявшийся май;
В грудь любовь он плеснет, а она — через край.
О, совсем неспроста всклень любовь налита!
Только вдруг эта та — верховая вода?!

Над глубинной водой — верховая вода:
Поиграет с тобой и уйдет без следа...
И покажется нам вновь желанной вдвойне
Та, которая там — в глубине, в глубине.

РОМАШКИ

На большом сенокосном лугу,
Между лип золотых при овражке
Показалось мне вдруг,
Что бегут
На меня в наступленье ромашки.

Так их ветер вихрастый толкал,
Вновь и вновь пролетая галопом,
Что почудилось —
Катится вал
Целой армии белоголовой.

Что ж!
В пылу синеглазого дня,
Под ромашковым солнцем в зените,
Не щадите, ромашки, меня:
Окружите и в плен заберите.
Еще злобствуют палка и кнут,
Сталь скрежещет в кровавой пропашке...
Но идут в наступленье,
Идут —
Там и тут
Все смелеют ромашки.

* * *

Увижу на саженцах почки
И деревцам я подмигну:
— Ага, зацепились! Ну-ну,
Крепитесь-держитесь, браточки!

И вьюги просвищут сурово.
И целая жизнь прошумит...
И что-то во мне защемит,
Когда к ним приближусь я снова.

Столпятся деревья-красавцы
И тихо мне скажут про жизнь:
— Ну-ну! Ты, брат, тоже держись,
Как — помнишь? — велел нам держаться...

* * *

Придя на речную излуку,
Не зная покоя и сна,
Рубаху зеленому лугу
Кроила и шила весна.

Каленые иглы росточков
В перстах замелькали у ней;
Ложились надежно и точно
Белесые нити корней.

О милом лужке беспокоясь,
Чтоб стал, как жених, он пригож,
Весна всю рубаху и пояс
Расшила соцветьями сплошь.

Но, славя портниху за дело,
Я лишь одного не пойму:
Когда мое сердце успела
Она приметать к твоему?!

* * *

Вновь спутал я весну с былой весною,
Как будто двух сестренок-близнецов.
И вновь забыл я, что на все живое —
Уже опять — наделось годовое,
Из цепи дней отлитое кольцо.

Другие почки ждут наизготовке,
Другие травы станут пить росу.
И у любой сосеночки в лесу
Добавилось в вершине по мутовке,
А в самой середине — по кольцу.

И у меня на сердце отложилось
Невидимо еще одно кольцо.

Но будто ничего не изменилось,
И, словно впереди лишь света милость,
Я снова ясен сердцем и лицом.

Так славно — точно все далось навечно:
Вон окоем горит кольцом у глаз,
Вон кольца радуг словно на заказ,
И золотые дни слились в колечко,
Со счастьем обручающее нас!

МУЖСКАЯ ДОЛЯ

Ни одна гроза не била мимо —
Может, сто, а может, тыщу лет...
Прадед сгинул где-то под Цусимой,
Не пришел домой с гражданской дед.

Холодели руки, словно ледни,
Цепь родства рвал по звену свинец.
На войне великой —
На последней —
В братскую могилу лег отец.

Сыну же судьба далась иная:
Самая такая —
Без войны.
Крикнешь — звуки в тишину ныряют,
Словно в плес прозрачный пацаны.

Небосвод над головою ясен —
И мужская цепь опять крепка:
Вон уж и его сынок, что ясень,
У снохи внучонок на руках.

Не беда, что на лице морщины,
Да и можно ль счесть их за беду:
Первый раз до старости мужчина
Доживет
Во всем большом роду!

ПОЭЗИЯ

Михаил ГУСАРОВ

СМЕНА ДНЕЙ

КУЗНЕЦ

Со всей деревни —
Мал и стар —
Несли к нему,
Хоть день, хоть вечер,
И самокат и самовар...
Кузьмич осмотрит вещь:
«Подлечим!..»
Так он присказывать любил
В большие добрые усищи...
И, скажем сразу, мастер был,
Каких и днем с огнем не сыщешь.
Попросишь — слов не городя,
Он ржавый гвоздь в огонь положит,
Глядишь — из этого гвоздя
Блесна готовая иль ножик —
Владей!
Но более всего
Смотреть мне нравилось на это
Мастеровое волшебство.
Представь: стальная, разогрета,
Берется в горне полоса,
Вникают руки в сущность дела,

И коль заказана коса —
Хоть в сушь коси,
А есть роса —
Она сама косить умела.

Всю жизнь Кузьмич на этот лад
Провел у чьей-нибудь заботы:
Доныне, если не ухват,
Иная вещь его работы
В любом, наверно, есть дому —
При печке иль при огороде, —
Как было надобно ему.

И вот поэтому сегодня,
Когда с рассветом из села
В поля торопятся сельчане,
Их возле кузницы ветла
За Кузьмича теперь встречает:
Ложится тенью на большак —
Чуть стоит солнышку нагреться.
И кто б ни шел, придержит шаг, —
И жить идет
С добром на сердцѐ...

* * *

Казалось бы, что тут такого?
Опушка. Три дуба на ней.
В тени — ручеек родниковый,
Устанешь — водицы попей,
И светлой наполнишься силой
До самого края души...
Бывают места и красивей,
Но ты уходить не спеши:
Слегка от настойного зноя
Дрожит соколиная высь,
Желтеют цветы зверобоя,
И поле синеет льняное —
И все это с детства родное,
Привычное...
Но — приглядись!

Под старым раскидистым дубом,
Седого покоя полны,
Как чьи-то могучие думы,
Угрюмо молчат валуны.
От тех валунов по ложбинке
Тропинка уводит в село.
А сколько по этой тропинке
Неведомых судеб прошло?
Ищи — и не сыщешь ответа.
Гляжу я кругом и дивлюсь:
Ну как поместилось все это
В коротеньком имени —
Русь?!

* * *

Снова хмель соловьиного пира
Всколыхнул мой березовый край...
Он — как древняя молодость мира,
Невесомый, стремительный май.

Все живое блаженствует, млеет,
Синь, да зелень, да солнечный свет,
И журчанье, и шелест, и лепет —
И конца обновлению нет.

Как узнать,
Может, истина — в этом
Неизбывном и скрытом от глаз
Очищенье — цветеньем и светом,
Добротой вызревающем в нас?..

* * *

Близко, рядом — шумная столица,
Заблудиться в ней немудрено...
Но доволен я, что мне родиться
Довелось в деревне Косино.

В час сомнений, чтобы оглядеться,
Из столицы улизнув с трудом,
В Косино родимое, как в детство,

Приезжаю —
Здравствуй, отчий дом!

Тополя над ним, не умолкая,
На ветру зеленом рвутся ввысь.
А на зорьке
Красота такая,
Словно здесь берет начало жизнь...

Ни души вокруг...
Под косогором
Стынет окуневая вода...
Прихожу я с радостью ли, горем,
Словно бы на исповедь сюда.

Возле дум своих до первых чаек
Посидишь в тиши часок-другой,
На душе, глядишь, и полегчает,
И приходит с ясностью покой.

Дымкой тает ранняя прохлада,
Даль лежит — безмерна и светла,
И опять на свете все как надо:
Жизнь идет,
И спорятся дела...

Николай ДЕМЕНТЬЕВ

Воскресенье на озере

Повесть

1

В действительности Нина Евграфовна Смирнова, по мужу Комовская, была куда красивее, чем на фотографии. Большие глаза в мохнатых ресницах казались светло-зелеными, продолговатое лицо с правильными чертами и высокими скулами, прямой нос с едва заметной горбинкой, пухлые губы. Я с удовольствием смотрел из-за деревьев, как она подбрасывала волейбольный мяч. На Комовской был купальник, сильное длинноногое тело

успело покрыться ровным загаром. Свободного времени у Нины Евграфовны достаточно: после педагогического института и удачного замужества она не проработала ни дня.

Неожиданно мяч отлетел в мою сторону, мне пришлось выйти. Присев по всем правилам, я приготовился принять подачу. Ничуть не удивившись моему появлению (как будто за каждым деревом стоит специальный человек, обязанный принять мяч и дать ей пас для нового удара), Комовская стремительно разбежалась, высоко подпрыгнула и по-мужски сильным движением «погасила» мяч. Я прыгнул в сторону и, падая, вытянул правую руку. Мяч ударился о мою ладонь и снова взлетел. Комовская, не дожидаясь, пока я займу оборонительную позицию, снова подпрыгнула и так же стремительно и сильно «погасила» мяч. И снова я успел принять его в падении. Красивое лицо Комовской сначала стало удивленным; чуть позже — сосредоточенно-сердитым, а вслед за этим откровенно злым. Мне невольно подумалось: «А ведь она сама могла убить Каблукова. Очень даже могла!»

Смахнув рукой с лица пот, она жадно облизнула губы.

— Разряд? — спросила она, твердо глядя мне в глаза.

Сейчас, в тени, глаза ее казались темно-зелеными, в глубине их вспыхивали и гасли светленькие искорки.

Она протянула руку:

— Нина.

Рука ее была крепкой, пожатие — почти мужским.

— Не завидую вашему супругу! — Для убедительности я помахал в воздухе рукой.

— Он у меня работник умственного труда. — Она усмехнулась.

Дача Игоря Михайловича в Кавголове стояла на берегу озера.

— Разденешься на даче, а я купальную шапочку возьму.

Комовская стремительно зашагала к дому.

На веранде я сбросил кеды, стащил футболку и джинсы. Кое-где они зазеленились травой. Аккуратно сложив одежду на плетеный стул, я огляделся. Свидание с Комовскими планировалось несколько иным.

Услышав скрип двери у себя за спиной, я обернулся.

Держась раскинутыми руками за косяки, стоял Игорь Михайлович и в упор глядел на меня. Он был по-домашнему в халате и выглядел сейчас значительно старше, чем на фотографии. Ну, да ему ведь уже сорок два, гипертония, шалят почки...

— Прошу прощения... — Я даже покраснел от неловкости и переступил с ноги на ногу.

Комовский молчал, пристально вглядываясь в меня. Его широкое некрасивое лицо с носом-кнопкой, тяжелым подбородком и большим тонкогубым ртом неожиданно сделалось обиженным. Но вот губы подрожали и снова вытянулись в ниточку, черные глаза под массивным нависшим лбом стали непроницаемыми, взгляд их был таким тяжелым, что мне сделалось неуютно. «Да это он убил Каблукова из ревности, он!» — вдруг подумалось мне.

— И я прошу прощения, молодой человек, — хрипловатым голосом, но очень вежливо заговорил он. — Вы новый друг Нины?

Я растерянно мигнул.

— Только что познакомились. Играли в мяч, теперь собираемся купаться. Я приезжий, искал товарища, наткнулся на Нину...

«Куда меня несет?» — с отчаянной растерянностью думал я.

— А вы, извиняюсь, ее супруг?

— Вот именно, супруг, — насмешливо подтвердил он, радушно протягивая пухлую руку. — Игорь Михайлович Комовский.

— Алексей Санин.

Рука Комовского в отличие от руки его супруги была мягкой, точно бескостной, держать ее было противно.

— Я приезжий из Москвы, ищу товарища, да вышел на остановку позже, проехал Токсово, теперь иду обратно... (Еще один повод для насмешки Иннокентьева, когда я расскажу об этой своей легенде в отделе!) Товарищ живет во втором доме от вокзала, слева по ходу поезда. Поселок Безымянный, второй дом справа от шоссе, Иван Владимирович Шелестов...

В глазах Комовского пропала напряженность, и лицо точно разгладилось.

Иван Владимирович Шелестов, главбух завода, где директором мой отец, и у него действительно времянка по этому адресу, маленькая, всего в одно оконце.

— Я Токсова, к сожалению, почти не знаю, — пожал покатыми плечами Комовский, и широкое лицо его стало откровенно скучающим. — Вы попробуйте Нину спросить, хотя и она вряд ли вам поможет. Мы бываем здесь только по воскресеньям.

Вдруг он настороженно спросил:

— А где же ваши вещи?

Но к этому вопросу я уже успел подготовиться.

— В Ленинграде я остановился у знакомой, а сюда поехал налегке.

По лицу, по глазам Комовского я отчетливо видел, что он окончательно успокоился. Кажется, мы у себя в отделе недооцениваем роль Комовского в деле Каблукова. Подполковник Дмитриев правильно настоял на моей поездке в воскресенье на дачу Комовских. Правда, мое знакомство и с Игорем Михайловичем, и с Ниной Евграфовной планировалось по-другому.

— А в Москве вы, Алексей, где и кем работаете? — снова настораживаясь, спросил Комовский.

На этот вопрос у меня тоже был готов ответ. Рано или поздно он все равно был бы задан. В прошлом году я около трех месяцев занимался делом, связанным с одним из московских заводов металлоконструкций. Сейчас я с легкой душой превратил себя в инженера отдела снабжения.

— Я-то в технике круглый поль, — признался Комовский. — А какой институт, простите, вы кончали?

Я назвал институт в Москве, Комовский сразу же спросил, когда я его окончил. Мне пришлось назвать год, когда я окончил юридический институт, поскольку мой инженер был постарше меня на целых восемь лет.

Комовский заулыбался совершенно успокоенно.

Возможно, старший лейтенант Иннокентьев прав, когда говорит, что моя наружность располагает людей к доверчивости. При этом, правда, он всегда язвительно усмехается. Я при этом обычно молчу. Рост у меня приличный, метр девяносто два, плечи широкие, разряды по боксу и борьбе. На щеках, правда, румянец, волосы льняные, если расчесать их на обе стороны да при этом еще рот приоткрыть и вытаращить глаза, то я делаюсь вылитым Иванушкой-дурачком. Недотепа, да и только. Вон даже подозрительный профессор Комовский перестал ревновать меня к своей красавице жене и почувствовал ко мне нечто вроде расположения.

2

Нина Евграфовна стояла за спиной мужа в коридоре и подсовывала пальцами свои пышные волосы под края резиновой шапочки. Кивнув на мужа, она растянула губы в ниточку, приплюснула пальцем кончик носа и насупилась: получилось смешно и очень похоже на Игоря Михайловича. Я, конечно, улыбнулся, но мне стало жалко старика. Этот шарж на мужа демонстрируется не мне первому. Возможно, вот так же из-за спины имел счастье лицезреть его и Каблуков.

— А вот и Нина Евграфовна! — обрадовался я.

Комовский разом подобрался, а лицо его точно осунулось. Он постарел лет на десять, плечи его приподнялись, будто он хотел спрятать в них голову.

— Папуля, мы с Лешкой выкупаемся, а потом я на машине смотаюсь в магазин.

Нина Евграфовна чмокнула мужа в щеку и скривилась:

— А ты побрейся и вообще... приведи себя в порядок. Я сегодня целый дом гостей назвала.

Комовский счастливо улыбался, с откровенной радостью глядя на свою Нину, и даже следа терпеливой усталости не было в его лице. Она сейчас выглядела как манекенщица с обложки летнего номера журнала мод.

— Да, папуля! — спохватилась Нина Евграфовна. — Лешка сейчас разозлил меня: я бью, а он берет и берет. А?!

— Мужчина и должен быть настойчивым. — Комовский улыбался, любуясь женой.

— Слушай, Лешка, оставайся на наш праздник: и выпьем и попляшем.

— Не могу: друга ищу.

— Алексей... — начал Комовский и точно споткнулся.

— Николаевич, — подсказал я.

— Алексей Николаевич... — И Комовский церемонно повторил приглашение.

Нина Евграфовна подытожила:

— Я в магазин все равно в Токсово поеду, вот и заброшу Лешку к другу. Он с ним помилуется, пока я покупки сделаю, а на обратном пути прихвачу их обоих к нам. У твоей знакомой в Ленинграде телефон есть?

Я вспомнил телефон Кати, но отрицательно покачал

головой: этой самодеятельности подполковник Дмитриев никогда бы мне не простил!

— Ну, в воду! — скомандовала Нина Евграфовна и бросилась бежать с веранды к озеру.

Черные глаза Комовского были совершенно такими же ненавистно-злыми, как и в тот раз, когда он стоял в дверях, вцепившись пухлыми пальцами в косяки. «А ведь мог он убить Каблукова, мог!»

— Хотите, Игорь Михайлович, я сейчас уйду, и вы никогда в жизни больше не увидите меня?

— Леш-ка-а! — долетел с озера звонкий голос Нины Евграфовны.

Комовский, услышав голос жены, сморщился.

— Поймите меня правильно, Алексей Николаевич. Я ведь немолод, да и здоровье у меня... стенокардия, гипертония, почки. Нина для меня — все! Она моя бывшая студентка, вторая жена. С первой я прожил почти двадцать лет, у нас дочь уже студентка, всего на четыре года младше Нины.

В широком и некрасивом лице Комовского с носом-кнопкой и запавшими под лоб глазами были и растерянность, и задумчивое удивление, и усталость...

— Сам никогда не думал, что на старости лет способен на подобное. Вы не смотрите, Алексей Николаевич, что я с виду тюфяк: в рабочих делах, во всем вообще, что меня за живое заденет, я бульдозер!

Комовский чуть усмехнулся.

— Родители Нины простые рабочие. Отец к тому же выпивает. А видите, как она избалована? Так и будет кричать до тех пор, пока вы не придете. Идите уж!

— Только у меня просьба: не ревнуйте без причины, не портите кровь!

— Да ведь я люблю ее, милый вы мой! Поверьте, Леша, все я вижу, все понимаю и все терплю. Ну, бегите к ней, бегите. И не жалейте меня. В жизни все сбалансировано — и получение и отдача. Если уж я терплю, значит, этого стоят те коротенькие минутки счастья, которые у меня все-таки есть! Ну, бегите, бегите.

— Охо-хо-шеньки! — сказал я и побежал к озеру.

— Лешка! — продолжала орать Комовская.

— Хоть бы Игоря Михайловича пожалела, — сказал я, подбегая. — Человек в возрасте, сердце больное.

— Он не мальчик был, когда на мне женился. И не я его уговаривала, а он меня. Ну, в воду!

Она ловко нырнула, почти не подняв брызг, и частым, сильным кролем пошла от берега.

Нырнув в обжигающе холодную воду, я поплыл за ней, но догнал ее только метров через семьдесят, уже на середине озера. Плыла Нина Евграфовна ровно и умело, погрузив в воду голову, только на миг она чуть приподнимала ее из воды, чтобы глотнуть воздуха.

Когда я ее догнал, она остановилась.

— И тут верх твой, а я ведь плаваю приличненько!

— Еле догнал, — честно ответил я, все еще справляясь с дыханием.

Она заглянула мне в глаза, поверила и улыбнулась.

— На тот берег сплаваем?

Я оглянулся. Игорь Михайлович стоял на веранде дачи и в бинокль смотрел на нас. Стоило ли возбуждать его ревность?

Подняв голову из воды, я глянул вперед: сколько там еще до берега? И удивился: Нины Евграфовны не было нигде, гладь озера была совершенно ровной и блестяще неподвижной, ослепительно сверкала под солнцем. Далеко на противоположном берегу сверкали стекла бинокля Комовского...

Так глубоко она нырнула, что ли?

Блестевшие стекла бинокля Игоря Михайловича буквально заметались по далекому берегу.

Набрав побольше воздуха, я нырнул. Вода становилась все темнее, скоро в ней ничего уже было не разобрать. В ушах у меня зашумело, в глазах поплыли яркие круги. Я вынырнул и снова набрал полную грудь обжигающе свежего воздуха. Что-то случилось, если Комовская ушла на дно! Я нырнул и сквозь мутную толщу воды разобрал будто сгусток темноты. Это была Комовская.

Как я тогда не задохнулся? Как у меня хватило сил? Теряя сознание, я схватил Комовскую за руку и начал подниматься, загребая ногами и свободной рукой. Тело Нины Евграфовны неожиданно легко и послушно подчинилось мне. Наконец-то поверхность воды, воздух!

Глаза Нины Евграфовны закрыты, на лице застывшая маска безразличного спокойствия. Я поплыл к берегу, стараясь держать ее голову над водой.

Почувствовав ногами дно, я поднял на руки вдруг ставшее тяжелым тело Комовской. На берегу начал по всем правилам делать ей искусственное дыхание. Из полуоткрытого рта тоненькой струйкой пошла вода, потом

ее стало рвать. Стащив с нее резиновую шапочку, принес воды. Правильнее было бы расстегнуть ее тугой купальник, освободить грудь для дыхания, но я не мог решиться.

Постепенно глаза Комовской сделались осмысленными, она моргнула и узнала меня.

— Я тонула, что ли? Ты меня вытащил?

Она прерывисто вздохнула:

— Сердце у меня больное. По наследству от алкашапапочки. Да вчера полночи мы с Комком ругались... Попался бы мне настоящий парень вроде тебя, и вся бы моя жизнь по другим рельсам покатилась!

Она закрыла ладошками лицо и стала плакать горько и беззащитно. Я молча сидел рядом. Больше всего мне хотелось спросить ее о смерти Виктора Викторовича Каблукова, я уже не сомневался, что это из-за него она ссорилась с мужем до полуночи.

А стекляшки бинокля все поблескивали на противоположном берегу.

— За все, браток, надо платить, такова уж селяви, — негромко выговорила Нина Евграфовна, вытягиваясь на траве.

— Быстро ты в себя пришла! — с почтительным изумлением сказал я. — Без сознания была.

— Если понервничаю, со мной такие обмороки и на суше случаются. Не вибрируй: через полчаса снова в строю буду.

— А он... — я кивнул на далекий противоположный берег, — знает, что у тебя эти обмороки бывают?

— Конечно. Сколько раз сам «Скорую» вызывал!

— Как же ты через озеро решилась плыть с таким сердцем?

Она ответила просто, точно о самом обыденном:

— А я вообще каждый день живу как последний. У таких, как я, у приговоренных, особая жадность к жизни появляется. Вот и хочется через озеро сплавать или коньяку напиться.

— Почему это ты приговоренная?

— А потому, что скоро помру. Неизлечимая болезнь.

— А лечиться пробовала?

— Полдетства в больницах провела. По инерции зачем-то институт кончила. Зато уж после него вовсю от жизни брать стала!

Про болезнь Нины Евграфовны нам не было известно.

— Как твое заболевание называется?

— У него несколько названий, а причина одна: плохая наследственность.

— А с виду ты здоровей здорового! И прыжок у тебя, и удар. И по озеру, как глиссер, шла.

Она вздохнула и чуть ли не уважительно сказала:

— Ты, Лешка, видать, еще чистый, а мне об этом времени только вспоминать остается. Ну да каждому свое!

Стекла бинокля поблескивали все так же, я не утерпел:

— Крепкие нервы у твоего супруга!

— Бульдозер. У нас с ним, знаешь, не жизнь, а постоянное борение, кто кого. Это, оказывается, может являться главным содержанием супружества! Да и разрядка после ночной ссоры все равно была мне нужна.

— Все-таки странно, что не остановил он тебя, когда ты в воду кинулась, — удивлялся я.

— А другая разрядка еще тяжелее для него могла оказаться.

Она замолчала, кусая травинку, и я понял, что она привыкла к Игорю Михайловичу и тоже готова на все, чтобы сохранить его. А Виктор Викторович Каблуков был у нее, наверно, так, только для разрядки.

— Он что, в бинокль следит? — презрительно спросила она.

Стекляшки бинокля блестели на солнце так же ярко. Сколько же, интересно, он может так наблюдать?

— Ну и жизнь у вас! — пожалел я Нину Евграфовну.

Она выругалась, потом помолчала и неожиданно попросила:

— А вообще мне было бы приятно, если бы ты сегодня побыл у меня на даче, а? И приятеля твоего захватим. А хочешь, в город за твоей знакомой сгоняю?

У меня даже в груди сжалось. Нельзя мне этого делать, никак нельзя! Да и каково сейчас Иннокентьеву, уже второй час страхующему меня в кустах за дачей Комовского?

— Ну? — Нина Евграфовна толкнула меня в плечо вытянутой, красиво загоревшей рукой. — О чем задумался, детинушка?

На секунду я потерял самоконтроль:

— Из-за чего ночью-то ссорились?

Она отвернулась, стала глядеть в сторону.

— Убили тут одного моего знакомого, а Комок, чтобы побольнее меня ударить, сказал, что Каблук все равно меня бросил бы. Убитого-то Виктором Викторовичем Каблуковым звали, директором мясного магазина он был.

— За что убили-то?

— Широко жил, ни в чем себе не отказывал: ни в деньгах, ни в бабах. Возвращался домой поздно, в парадной кто-то и приложил тупым предметом по затылочной части. Разом насмерть.

Лицо ее было неподвижным, только пышные ресницы подрожали и замерли. Да, в медицинском заключении о смерти Каблукова именно так и было записано.

— Вот, Лешка, был человек барином: от головы до пяток! Даже курил, знаешь, только сигары, как господа в зарубежных фильмах. Идем мы с ним по Невскому, на нас все оглядываются!

— Да что такого особенного было в этом Каблуке?

Виктор Викторович не был красивым, его лицо от постоянного употребления спиртного обрюзгло, под глазами образовались припухлости, кожа сделалась пористой. Да и постарше Игоря Михайловича он был ровно на десять лет.

— Да так, ничего особенного. Даже денег, наверно, не больше, чем у моего Комка. Главное, барином умел жить. Вот, пожалуй, и все. Поэтому и самой легко рядом с ним было. Я, конечно, и комковские деньги трачу куда и сколько хочу, живу барыней, ни в чем себе не отказываю. Но в этой моей господской жизни есть горчинка: умеет Комок даже без слов дать мне понять, что все это его потом-кровью заработано. А для Витеньки деньги бумажками были, на которых только цифры напечатаны. Рядом с ним по жизни ты как в такси едешь. Такое ощущение у меня постоянно было.

— Любила ты его, что ли?

— Во всяком случае, впервые в жизни к мужчине так относилась. Хоть и знала, что бросит он меня, что и я у него мимолетная, как другие.

Нина Евграфовна упруго поднялась и пошла к воде, натягивая на голову шапочку; она поплыла через озеро тем же азартным кролем, что и раньше. И я поплыл за ней, стараясь не отставать и не терять ее из виду, чтобы успеть, если она снова начнет тонуть.

3

Когда мы благополучно переплыли озеро, Игорь Михайлович оказался чисто выбритым, аккуратно причесанным, тщательно одетым в белую свежевыглаженную рубашку и светлый полотняный костюм. Он стоял у самого края воды на берегу, ожидая нас. Никакой спасательной станции на озере, конечно, не было, но неподалеку от дачи Комовских на воде стояли катер и две лодки. Так что при желании Игорь Михайлович мог навестить свою супругу на противоположном берегу озера. Однако он не сделал этого, предпочел побриться, одеться и дождаться нашего возвращения. Или он был уверен в благополучном исходе, или руководствовался какими-то иными соображениями, пока неизвестными мне.

— Папуленька, на этот раз обошлось! — весело крикнула Нина Евграфовна, стаскивая с головы шапочку, она побежала по воде и кинулась к мужу на шею.

Игорь Михайлович откровенно плакал от счастья, обнимая и целуя жену. Меня в данном случае больше радовало то, что Нина Евграфовна сумела благополучно вернуться назад. Правду сказать, я собственной жизнью рисковал, спасая ее! Опоздай я еще на минутку, Комовскую попросту не удалось бы вернуть к жизни.

— Спасибо вам, Алексей Николаевич! — с чувством говорил Комовский, пожимая мне руку. — Вы спасли не только Нину, вы спасли и меня! — На глазах его были слезы, и я побаивался, как бы от полноты чувств он не вздумал поцеловать меня.

Включившись в игру супругов Комовских, я приосанился.

— Всякий на моем месте, Игорь Михайлович, поступил бы точно так же!

— Поверьте, Алексей Николаевич, не всякий. Поверьте! — Комовский наконец-то отпустил мою руку, я машинально полез в карман за платком, чтобы вытереть ее, но вовремя сообразил, что на мне одни плавки.

Нина Евграфовна оправилась до такой степени, что снова передразнивала мужа, стоя за его спиной. Она надула губы, вытаращила глаза и горестно трясла щеками.

Из дверей на нас троих молча и пасмурно глядела высокая плечистая женщина в фартуке и платке. В левой ручище она держала точильный камень, в правой нож, которым можно поразить быка.

Лицо у нее скуластое, на верхней губе заметные усики, а глаза такие, что вот сейчас она вас освежует, пропустит через мясорубку и нажарит котлет.

— Наша Глашенька, — ласково выговорила Нина Евграфовна. — Еду, еду, — кивнула она ей.

— Домработница наша, Глафира Васильевна, — объяснил мне Комовский. — С характером, но по нынешним временам хозяевам привередничать не приходится.

— Одевайся, — скомандовала мне Нина Евграфовна и ушла в комнаты.

Я растерянно поглядел на мокрые плавки. Комовский открыл дверь с веранды.

— Пожалуйте сюда.

Здесь был, видимо, кабинет Комовского: полки с книгами, большой письменный стол, высокий торшер и окно от пола до потолка, от стены до стены. Вплотную к окну подступали кусты сада. Я машинально подумал, что и Глафира Васильевна, если ее очень рассердить, вполне могла тюкнуть по затылку тупым предметом разгулявшегося Каблукова, вполне!

Когда я вышел на веранду, там никого не было. За кустами мелькнуло иронически-внимательное лицо Иннокентьева, на миг мы встретились глазами, и он снова пропал. И тотчас я встревожился: он же не просто так показал мне себя. Может, хотел предупредить об опасности? Связи у Каблукова были обширные, убили его уже три дня назад, и если я иду по верному следу, то мне должны помешать, прямо-таки обязаны помешать!

На веранду выходили три двери. За одной из них кабинет Комовского, во вторую ушла Нина Евграфовна, из третьей на миг показалась тяжеловес Глашенька с ножом в руке. Скорей всего там кухня.

На низеньком журнальном столике посередине веранды я заметил пепельницу, полную окурков. А ведь супруги Комовские не курили! Значит, были гости? Может, об этом и хотел предупредить меня Иннокентьев?

— Едем! — скомандовала Нина Евграфовна, стремительно сбегая с веранды к гаражу.

Открыв замок, она сняла металлическую полосу и распахнула двери. В гараже стояла белая «Волга». Двигатель заработал ровно, мощно. Машина была новой. Игорь Михайлович предупредительно раскрыл ворота. Зря, однако, мы с Иннокентьевым трудимся. Надо быть послед-

ним идиотом, чтобы при такой жизни в мокрое дело вляпаться!

Машину Нина Евграфовна вела как на гонках. Одета она была совершенно так же, как и я: футболка, джинсы, кеды. На футболке во всю грудь оскаленная морда тигра с огромнейшими клыками.

— У тебя кто... отец и мать? — неожиданно спросила она.

— Отец директор завода, мать была медсестрой, теперь на пенсии по инвалидности.

— Сердце?

— И сердце и гипертония.

— Сколько давление?

— Двести сорок на сто двадцать. — Все это полностью соответствовало действительности.

— И у моего Комка столько же бывает. А Каблук, знаешь, как железный был. Тело точно литое, как обнимет — не вздохнуть.

— Как же его, такого здоровяка? — невольно вырвалось у меня.

— Так ведь по затылку да изо всех сил!

Она легла щекой на руль, закрыла глаза, лицо ее побледнело.

— У тебя какое-нибудь лекарство есть в машине?

— Сейчас я... — хрипло прошептала она. — Горько мне. И жалею Витю, и простить ему не могу!

Я подождал, но она молчала.

— Женщина?

Она едва заметно кивнула и подняла голову с руля. Секунду посидела и включила двигатель.

— Сначала к дружку твоему заедем? Какой адрес?

— Покажу. Давай в Токсово к станции.

Уже в Токсове она задавила голубя, не успевшего выпорхнуть из-под колес, и даже не оглянулась.

Дорогу я помнил хорошо. Мы очень быстро очутились перед времянкой Шелестовых. Из-за кустов краснела крыша.

— Приехали.

Нина Евграфовна остановила машину и вышла вслед за мной. На калитке висел замок.

— Как ты с ним договаривался-то? — спросила Комовская.

— Да никак не договаривался, наугад поехал. Лето, воскресенье... Где же ему быть-то?

— Ладно, на обратном пути из магазина снова заедем.

— И ленинградского его адреса я не знаю... — бормотал я, тоже садясь в машину.

— Тюха ты, Санечка. Надо было еще из Москвы дружку-то весточку кинуть.

— Да затыркался перед отъездом!

— Только, знаешь, мне не ври, у меня глаз — алмаз! Со знакомой поругался?

Я помолчал, опустив глаза, потом пробормотал:

— Да вроде того...

— Поэтому и про дружка вспомнил?

Я кивнул.

— «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей», — процитировала Нина Евграфовна, но думала она о чем-то совсем другом. Это было видно и по лицу, и по глазам.

А что, если она начала подозревать меня или, еще хуже, давно уже подозревает? Тогда не зря Павел Петрович распорядился, чтобы Иннокентьев подстраховал меня.

— Заснул? — Комовская ткнула меня локтем в бок. Одновременно она нетерпеливо давила на сигнал. Из магазина выглянула девушка-продавщица в белом халате и скрылась. Вышел высокий рыжий мужчина в дорогом костюме. Легко неся свое большое тело, он подошел к машине, мгновенно оглядел меня и протянул Комовской большую сильную руку, густо покрытую жестким рыжим волосом.

— Добрый день, Нина Евграфовна.

— Гаврила Петрович, у нас с Комочком сегодня, как вы знаете, двухлетний юбилей, так к вам нижайшая просьба.

Она вышла из машины, открыла багажник и достала большую клетчатую сумку на «молнии».

— Число персон, простите? — Гаврила Петрович с явным усилием отвел глаза от стройных и сильных ног Комовской.

— Вместе с вами шесть. — Потом глянула на меня и поправилась: — Нет, семь. Точнее — восемь: мы еще дружка его захватим.

— Рад угодить, как всегда. — Гаврила Петрович пошел в магазин, на секунду приостановился. — Каблучку-то как не повезло, а?

Он улыбался, но глаза его смотрели на Комовскую пристально и тяжело.

— С огнем шутить не надо, вот и цел-невредим остался бы, — по-деловому четко и прямо ответила она.

— Неужели это сам директор? — недоверчиво спросил я, когда за рыжим закрылась дверь магазина. — Знал он Каблукова?

— Еще как. Дружками были.

Невдалеке я увидел сержанта Маклапова: он пил газированную воду, стоя вполоборота ко мне, и внимательно глядел на Нину Евграфовну. Мне сразу же стало полегче, поувереннее: план, разработанный под началом подполковника Дмитриева, выполнялся четко. Ничего, похоже, со мной не может случиться, хоть ощущение неуютной тревожности не проходило, а, наоборот, почему-то все усиливалось.

— Сказано — сделано, — хрипловато пробасил Гаврила Петрович, неся в руке полную сумку.

Нина Евграфовна вышла из машины и открыла багажник.

— Сколько с меня? — Она взяла с сиденья свою сумочку, достала сотенную бумажку.

Гаврила Петрович, лучезарно улыбаясь, заложил руки за спину.

— Мой презент по случаю юбилея!

У Нины Евграфовны напряглись ноздри, косо задралась губа.

— Я женщина свободная, поэтому авансов не беру!

Гаврила Петрович все улыбался, глаза его сохраняли младенческую яркую голубизну.

— Вы не изволили понять: это не аванс, а презент.

Нина Евграфовна аккуратно порвала сотенную купюру, каждый раз складывая ее вдвое. А он спокойно стоял, улыбался терпеливо и уверенно. Последние кусочки она сдула с ладони, глянула на Гаврилу Петровича и неожиданно всхлипнула. Рывком раскрыв дверь, она села в машину и стала заводить.

— Привет Игорю Михайловичу! — сказал Гаврила Петрович. — Рад, что смог вам угодить. Если ничего непредвиденного не случится, постараюсь быть, как приглашен.

Машина наконец завелась, и Нина Евграфовна рывком взяла с места. На миг я успел встретиться взглядом с сержантом Маклановым и понял, что он все видел.

4

Перед последним поворотом Нина Евграфовна вдруг остановила машину, вышла и тщательно вымыла в озере лицо, заново подкрасила ресницы и губы. Я сидел рядом и ждал.

— Это ж надо? Сотню по ветру пустила! — вздохнул я. — Да мне за нее чуть не месяц пилить.

— Сотня — мелочь. Рыжий Гаврила еще сполна от меня получит: жить не хочу, а отблагодарю его! — У нее опять затрепетали ноздри.

— Ну и злости же в тебе! За что ты хоть его так... не любишь-то?

— Значит, есть за что. Дружочек, что же ты про друга-то забыл?

— Ах ты, черт!

— Ладно, отдадим продукты Глашеньке и смотаемся в Токсово. Только, похоже, никто не живет сейчас в этой времянке.

— Вот и мне показалось, что нежилая она.

— Из-за чего со знакомой-то поссорился?

— Гонористая уж очень.

— Спал с ней? — запросто спросила Комовская.

— Спал! Я же тебе сказал, что у нас с ней еще в самом начале.

Она помолчала, разглядывая меня.

— Странный ты все-таки какой-то. С виду — быка за рога свалить можешь, а психуешь из-за какой-то...

Ворота в ограде нам открыл высокий худенький парень в одних трусах на белом, совсем не загоревшем и безмускульном теле.

— Прибыли гостюшки, — хмыкнула Нина Евграфовна и кивнула на парня: — В далеком прошлом мой одноклассник и первая любовь, в настоящее время — алкоголик и тунеядец.

— Поздравляю, — сказал тонким голосом парень, обнял Нину Евграфовну за плечи, чмокнул в щеку. — Мы со Спицей с утра пораньше прибыли.

Он повернулся ко мне и протянул тоненькую бессильную руку:

— Бывший одноклассник Ниночки Борик Манюковский.

Лицо у него было по-мальчишески худеньким, тоже бледным, глаза какими-то пустенькими, бледно-голубень-

кими и точно выцветшими, бегающими. Типичный алкоголик, одним словом. От него уже слегка попахивало.

— Поздравляю, Нинка, и соболезную! — услышал я голос сзади.

Высокая худенькая женщина с некрасивым лицом приложилась губами к щеке Нины Евграфовны. Лицо гостьи было длинным, носатым, с выпуклыми темными глазами в белесых ресничках, с крупными зубами, выдававшимися вперед.

— Галина Семеновна Спицына, учительница литературы, — представилась она. Пожатие ее было сильным.

— Как же это с Каблучком-то получилось, а? — спросила она Нину Евграфовну, по-прежнему не отпуская моей руки. — Манюня сегодня забежал за мной и сообщил, что нашего Витеньку убили. Тебя милиция уже допрашивала?

— Допрашивают подозреваемых, — вежливо поправил ее Комовский, демонстративно глядя на руку Спицыной, продолжавшую держать мою. — Был у нас толстяк из милиции, беседовал и с Ниной, и с Глашенькой, и со мной.

У Комовских был лейтенант Пушкарев, но в день и час убийства Каблукова — третье июля, приблизительно двадцать три тридцать — все трое находились дома. По свидетельству соседей, четы Пироговых, Игорь Михайлович играл с ними в преферанс, а Нина Евграфовна лежала в постели, мучаясь сердечной болью; Глафира Васильевна в своей комнатке за кухней ремонтировала собственную обувь.

— Я увезла от вас Манюню часов в восемь, — вздохнула Спицына.

— Я, простите, не рассчитал, — пояснил мне Манюковский и выразительно щелкнул себя пальцем по шее. — Спасибо Спице: и до дому довезла, и спать уложила.

— А Каблук с Рыжим Гаврилой ушли почти сразу за вами, — сказала Нина Евграфовна. Она достала из открытого багажника тяжеленную сумку и передала ее Глафире Васильевне.

Тяжеловес Глашенька пасмурно оглядела всех нас своими разбойничьими глазами и молча понесла сумку в дом.

Последним, получается, видел Каблукова живым директор токсовского продмага!

— Викочка к тебе сегодня не примчится? — спросила Спицына Нину Евграфовну.

Виктор Викторович Каблуков формально был женат, но жил по-холостому, один, занимая сорокаметровую комнату в двухкомнатной квартире. Его жена, разведенная дочь и двухлетняя внучка жили отдельно, в кооперативной квартире. Деньги на квартиру они получили от Каблукова. Последний раз они видели мужа, отца и деда недели три назад. Разговаривал с ними капитан Соколов.

Фактически у Каблукова была отдельная квартира, потому что соседка его, занимавшая вторую комнату, семидесятипятилетняя Синютина, постоянно жила в деревне у брата, ежемесячно получая за это от Каблукова сто рублей. Муж Синютиной погиб на войне, детей не было. В деревню к Синютиной под Новгород ездил старший лейтенант Абросимов.

У Каблукова, как уже упоминалось, был широкий круг знакомств, среди них много женщин, и проверка их велась параллельно, на мою долю выпала Нина Евграфовна, уже около четырех месяцев находившаяся в близких отношениях с убитым. Но постоянной и стародавней знакомой Каблукова, даже расставшейся из-за него с мужем, была Виктория Сергеевна Масленникова, директор одного из магазинов фирмы «Детский мир». Жила она тоже одна, занимая отдельную квартиру, во время убийства была в санатории в Гагре. Вчера она должна была вернуться в Ленинград и, возможно, поэтому сегодня могла оказаться на даче Комовских.

— Примчится, будет гостьей, — усмехнулась Нина Евграфовна.

Про связь Нины Евграфовны с Каблуковым нам стало известно только вчера. Вот почему я оказался в это летнее и солнечное воскресенье в Кавголове.

И еще: старуха Синютина приезжала в Ленинград за пенсией, присутствовала при ссоре Каблукова с Комовским, явившимся ночью и заставшим у Виктора Викторовича свою супругу. Старушка Синютина была до крайности огорчена смертью такого замечательного соседа по квартире.

— Пока Глашенька колдует на кухне, милости прошу а-ля фуршет! — громко проговорил Игорь Михайлович и повел рукой в сторону дома.

Возможность такого варианта была учтена у нас в отделе при разработке плана моего знакомства с Комов-

скими. Мне отводилась роль алкоголика, только что вышедшего из больницы после лечения.

После гостеприимного приглашения Комовского я удрученно плелся позади всех. Мгновенно возбудившийся Манюковский понимающе улыбался, глядя на меня. Подозрительно посмотрела на меня Нина Евграфовна, я вытащил из заднего кармана джинсов плоскую пачечку тетурама. Она удивилась:

— И сейчас принимаешь? А в больнице лежал?

— Три недели назад вышел.

— Плохо твое дело, — сочувственно проговорил Манюковский. — Принудительное лечение?

— Родители уговорили.

— Когда последний раз выпивал? — быстро спросила Нина Евграфовна.

Я помолчал, припоминая.

— Семьдесят три дня.

— Ну моли бога, что меня из воды вытащил. Сам за это жив останешься!

— Ты не думай... — начал я.

— А я и не думаю. Я сама пью и вокруг себя людей вижу. Да и этот драгоценный алкашик у меня перед глазами! Только ты мне, Санечка, не ври! — решительно выговорила Комовская. — Это она тебе условие поставила?

— Да и это...

Она вздохнула.

— И Каблучок не мог питье бросить. Каждый день бутылочку принимал. Да и как ему было бросить при его работе?

Она побежала в дом.

— Любила она его, что ли? — спросил я Манюковского.

Он кивнул.

— Одного его и любила по-настоящему. Да и Каблучок, если бы не пил, никогда бы свой затылок открытым не оставил.

— А ты откуда про это знаешь? Ну как его убили?

— Я? — Он смутился и отвел глаза. — Так она же мне и сказала по телефону. А ты вообще-то кто, гражданин москвич?

— А ты у Нинки спроси.

— Нет уж. Если она тебя под свое крыло взяла, мне себе дороже у вас в ногах путаться!

Он снова начал улыбаться:

— К столу-то пойдешь или на себя не надеешься? Я, браток, дважды исцеляться пробовал. Ну, идешь? Не бойся: Нинка умрет, а грамма тебе не даст!

Дверь с веранды, о которой я думал, что она ведет в спальню Комовских, вела в столовую, тоже просторную, тоже с окном во всю стену. На маленьком столике стояли бутылки с водкой, коньяком и винами, на большом блюде — бутерброды с колбасой, сыром и копченой рыбой, на втором — помидоры, огурцы, лук. Овощи только начали появляться и стоили на рынке дорого.

Каждый подходил к столу, наливал себе рюмку, выпивал, закусывал. Мне Комовская кивнула, показывая место рядом. Наливая в мой фужер минеральной воды, она пояснила Игорю Михайловичу:

— Только что лечился. Жениться, видите ли, собрался!

— Охота пуще неволи, — усмехнулся Комовский, чуть плеснув в свой фужер сухого вина.

Нина Евграфовна отодвинула от Манюковского фужер и налила ему водки в рюмку. Быстро выпив, Манюковский положил в рот ломтики лимона. Водка подействовала на него сразу, глаза у него увлажнились и заблестели: обычная реакция много и часто пьющих людей.

Свою рюмку коньяка Спицына выпила медленно, откровенно смакуя, и неторопливо, будто прислушиваясь к действию на организм только что выпитого коньяка, стала сосать ломтик лимона.

Краем глаза я заметил, что все почти с любопытством следят за мной. Делать нечего, я сморщился, глотая минеральную воду и с откровенной жадностью поглядывая на бутылки с вином.

— Смущают? — усмехнулся Манюковский. — Терпи, казак!

— Да хоть стоит ли она этих мук? — спросила Спицына. Лицо ее уже утеряло свою обычную нервную подвижность, я понял, что она регулярно выпивает. Как же это в техническом училище, где она преподает, ничего не замечают?

— Вы что, действительно влюблены? — спросил Комовский, глядя на меня так же снисходительно, как и на Манюню.

— Сам еще не знаю, — растерянно ответил я, вспомнив Катю. — Но похоже, что так.

— Молодой, здоровый, ну и блажит, — пренебрежительно выговорил Манюковский, закуривая.

И Спицына закурила, и Нина Евграфовна, только мы с Игорем Михайловичем по-прежнему держали в руках свои фужеры.

— Любовь, если она настоящая, штука странная. — Спицына курила жадно, часто и глубоко затягиваясь.

— Что же в ней странного? — громко спросил Манюковский. — Продолжение рода, вот и вся любовь!

Спицына и Нина Евграфовна молчали.

— Помянуть бы надо Виктора Викторовича-то, — предложил Манюковский. — Пока хоть наскоро да начерно.

— Да-а-а... — Спицына выдохнула дым длинной струей. — Нерядовой был товарищ. Нет, нерядовой!

— Спица была в него влюблена, — сказала мне Нина Евграфовна, и верхняя губа ее дернулась.

— Была! — подтвердила та. — Не скрываю!

Комовский, криво усмехнувшись, стал разливать коньяк в рюмки Спицыной, жены и Манюковского. Сам налил себе водки.

Нина Евграфовна подняла свою рюмку.

— Нет Витеньки и никогда больше не будет!

Спицына тяжело и продолжительно вздохнула.

— Удивительное обаяние было у Каблукова. Удивительное! — сказала она.

— Хоть один-то поцелуй ты у него выпросила? — спросил ее Борик.

Спицына подняла голову, на глазах ее были слезы. Не вытирая слез, она разглядывала Манюковского.

— Как ты на белом свете живешь, такой окончательный дурак? Ведь тебе же должно быть скучно.

Он пьяно, беззлобно улыбался:

— Не трудись: ко мне не пристанет!

— Ну что ж, — проговорил Комовский, переводя внимательные глаза со Спицыной на жену, — помянем Виктора Викторовича!

— Пусть земля тебе будет пухом, Витенька ты мой! — Нина Евграфовна выпила свою рюмку.

— Не одни мы со Смирновой о тебе помнить будем! — произнесла Спицына и выпила.

— Везучий наш Каблучок был! — сказал мне Манюковский. — Думаешь, о нас с тобой так бабы страдать будут?

— Это верно, что везучий, — вздохнул Комовский. — И жил легко, и умер легко.

Он поглядел на меня.

— Еще в вечер своей смерти планировал, как будет отмечать наш с Ниной двухлетний юбилей. Ну, вот сегодняшний...

— Я-то побольше других знаю, как он легко жил. — Нина Евграфовна, взяв из пепельницы свою недокуренную сигарету, пересела в кресло. — Это со стороны легко, а Вите надо было уметь пятьдесят два года по краю пропасти идти и ни разу не оступиться!

— Это первое! — поддержала ее Спицына. — А второе — что мы знаем о смерти, последних мыслях и ощущениях умирающего? Да Виктор Викторович после удара еще минуту, может, или две был жив, что он успел за эти секунды пережить, с жизнью прощаясь? Уж он-то умел и жить, и чувствовать за десяток сухарей!

Не утерпев, она покосилась на Игоря Михайловича.

Нина Евграфовна неожиданно всхлипнула, но справилась, не заплакала, стала жадно затягиваться сигаретой.

Комовский поглядел на нее, на Спицыну, на Манюковского и повернулся ко мне.

— Мы все здесь, кроме вас и Манюни, находимся в несколько различном, мягко говоря, положении по отношению к покойному. То есть Манюня, конечно, не упускает случая выпить, если уж таковой выпадет на его долю, поэтому он выпивал, разумеется, и с Виктором Викторовичем. И этим, надеюсь, его связи с покойным и ограничивались, а?

— Нет, это я ему по затылку обухом приложил, я! — сказал Манюковский, стараясь закурить, но у него уже дрожали руки.

— Очень возможно, что именно так оно и было! — согласился Комовский, внимательно наблюдая, как закуривает Борик: у него плясала сигарета, зажатая в губах, и не попадала своим кончиком в огонек зажигалки.

— Чудо будет, если ты еще год-два протянешь! — сказала Манюковскому Спицына, взяла у него изо рта сигарету, прикурила, сунула ему обратно в рот.

Мы с Комовским внимательно следили за ними. Нина Евграфовна курила, глядя прямо перед собой, ноздри у нее подрагивали, верхняя губа подергивалась, задиралась косо.

— Вот оно, счастье-то, каким бывает! — совершенно неожиданно для себя выговорил я, глядя на Комовского.

Он посмотрел на жену и вздохнул:

— У каждого свое. А Глашенька наша вообще спать перестала, все ночи напролет вяжет или плачет.

— И эта кикимора в Каблука была влюблена? — удивленно спросил Борик.

— Наша Глашенька — человек в себе, — отвечал ему Комовский.

Нина Евграфовна покривилась:

— Ты-то сам хоть спишь?

У меня спина прямо-таки мурашками покрылась — с такой жгучей ненавистью глянула вдруг Галина Семеновна на свою однокашницу. Однако Комовская легко выдержала ее взгляд, только зеленые глаза стали чуть ли не фиолетовыми и побелели ноздри.

— Ша, кролики! — вскрикнул Борик и вытянул свою длинную тонкую руку между однокашницами.

Мне казалось, что я слышу, как скрежещут суставы у подруг, расслабляющих напряженные до предела тела.

— Схватка временно откладывается, — чуть ли не сожалеюще констатировал Игорь Михайлович. — Пойду посмотрю, как дела у нашей Глашеньки.

И он ушел на кухню.

— Как же ты теперь будешь без своего Витеньки-то, а? — вкрадчиво спросила Спицына.

— Отдохни, подружка! — сказала Нина Евграфовна. И ушла вслед за мужем.

Манюковский блаженно и пьяно улыбался. Спицына курила и глядела, прищурившись, перед собой. Затвердевшее ее лицо было некрасиво до уродливости. Мне надо было что-то сказать или сделать, но я сидел будто закаменев.

— Ты-то как в этой помойке оказался? — вдруг спросила она меня.

— Темная лошадка! — совершенно трезво произнес Манюковский. — Ничуть не удивлюсь, если он из милиции.

Он развалился в кресле, ножницами разведя длинные худые ноги, туго обтянутые застиранными джинсами.

Я поднялся и вышел на веранду. За кустами мелькнуло лицо Иннокентьева. Внезапно калитку в заборе сильным движением наотмашь распахнула рослая женщина, загоревшая до черноты. В высоком разрезе сарафана сбо-

ку виднелась выше колена мускулистая и полная, дотемна загоревшая нога. Было ей лет сорок, ее пышные крашенные перекисью волосы казались особенно светлыми.

— Хозяева дома? — спросила она меня.

На веранде она, кивком поздоровавшись со Спицыной и Манюковским, звучно позвала:

— Профессор! Профессорша!

Обычные эти слова прозвучали в ее устах как ругательства.

В доме было тихо, я вернулся в столовую.

— Главный воин прибыл, сейчас драка будет! — Манюковский оживленно потер свои узенькие ладошки.

— Виктория Сергеевна, — шепнула мне Спицына. — Многолетняя фактическая жена Каблукова.

Материалы по Масленниковой собирал я. В магазине на проспекте Ветеранов, где она директорствовала, Викторию Сергеевну характеризовали как энергичного и волевого работника. Мне показалось, что в магазине ее откровенно побаивались и уважали.

С фотографии в личном деле на меня смотрела умная, энергичная и красивая женщина, уверенно-властная, знающая себе цену. А сейчас Виктория Сергеевна, отдохнувшая и загоревшая на юге, прямо-таки излучала здоровье и силу. Она стояла на веранде, расставив полные ноги, уперев руки в крутые бедра. Мне вспомнилось, как дворник дома, где жила Масленникова, просто сказала мне:

— Да чего вы хотите — директор!

Спицына и Манюковский молчали. Из дверей на веранду выглянула Глашенька, пасмурным взглядом неторопливо посмотрела и на расставленные ноги Масленниковой, и на ее упертые в бока руки.

— Не ты ли уж убила-то? — спросила ее своим звучным голосом Масленникова.

Глафира Васильевна закрыла двери. В лице ее не дрогнула ни единая жилочка. С какой-то удивительной отчетливостью я вдруг понял, что Глашенька всего лишь официально домработница, она занимает в семье совершенно равноправное место, точно такое же, как сам профессор и его жена. Возможно даже, что кое в чем она руководит жизнью семьи. А ведь Нина Евграфовна не из тех, кто позволяет оседлать себя!

— Профес-сор! Ни-ну-ля! — по складам выговорила Масленникова. — Долго будете от меня прятаться?

Дверь спальни Комовских раскрылась, вышли Нина Евграфовна и Игорь Михайлович.

— Добрый день, — поздоровалась Нина Евграфовна, и губа ее дернулась. — Попрошу не орать, вы не у себя в лавочке!

Игорь Михайлович ограничился кивком, Спицына очень слышно вздохнула, Манюковский повторно потер руки, предвкушая занимательное зрелище. Масленникова поглядела на них, мельком на меня и села за стол. Все молчали.

Нина Евграфовна в упор смотрела на Масленникову и жадно затягивалась сигаретой. Виктория Сергеевна пристукнула кулаком по столу, встала из-за стола и молча пошла с веранды. Ее сильное большое тело стремительно пронеслось мимо меня. Она сбежала по ступенькам, наотмашь хлопнула калиткой и скрылась.

С минуту на веранде было молчание, потом я сказал:

— К моему другу-то, Нина, мы так и забыли заехать.

Появилась Глафира Васильевна и проговорила:

— Кушать подано.

5

Чего только не было на столе! Скажу только, что черная икра стояла в металлическом ведерке объемом около килограмма.

Нина Евграфовна и Игорь Михайлович пасмурно молчали после ухода Масленниковой. Глафира Васильевна сидела в конце стола, по-всегдашнему опустив глаза.

— На подобного рода торжествах право первого тоста за хозяином дома! — торжественно провозгласил я.

Комовский встал с рюмкой в руке. Тост его был скучным, хотя и обстоятельным. Лишь в самом конце промелькнула фраза, обратившая на себя мое внимание.

— Моментами, правда, бывает жаль, — сказал он, — когда понимаешь, что уже немолод. Ну а за всем тем...

Положение спасла Нина Евграфовна, обняв мужа и крепко его расцеловав.

— Прекрасно готовите! — сказал я тяжеловесу Глашеньке. Очень уж мне хотелось услышать ее голос! Ответом я не был удостоен.

Потом был тост Нины Евграфовны, тоже перечислительно-скучный, не менее обстоятельный, чем у мужа. Мне он напомнил нудный доклад, когда слушающие разглядывают плакаты на стенах.

— С голодного острова сорвался? — тихонько спросила меня Спицына, толкнув в бок.

Только тут я разобрал, что все накладываю и накладываю себе на тарелку салат.

— Простите, — негромко выговорила Спицына, поднимаясь с рюмкой в руке. — Хочу сказать два слова. То есть я, разумеется, поздравляю и Нину, когда-то просто Смирнову, и нашего профессора, когда-то заведующего кафедрой, но расценившего любовь важнее служебного положения. Я благодарю свою бывшую подругу, что она не забыла скромную училку и пригласила ее на свое торжество... — Она вдруг повернулась ко мне:

— У этой училки-то ни мужа, ни любовника, а?

— Брэк! — поспешно молвил пьяный Борик.

— Ну-ну! — сказала Нина Евграфовна Спицыной.

— А поэтому скромной училке и не страшно, что у нее убьют любовника или что мужа разобьет паралич. — Она посмотрела на Нину Евграфовну и спросила, будто советовалась: — Любовника, наверно, можно и другого завести, а вот с мужем-то сложнее!

У Комовской напряженно подрагивали ноздри.

— Подавайте, пожалуйста, горячее, — вежливо сказал Игорь Михайлович Глашеньке. — А то народ начинает пьянеть.

Глашенька послушно встала и ушла на кухню, а я давно уже хотел спросить Комовского: как могло получиться, что на подобном юбилее ни одного гостя с его стороны? Не могла, получается, его красавица жена войти в круг прежних знакомых? Или не захотела? Или он сам не посчитал возможным ввести ее в этот круг?

— Так за что выпьем-то? — спрашивал совершенно опьяневший Манюковский.

— Я предлагаю выпить за тех женщин, у которых нет ни мужей, ни любовников! — предложила Спицына, не отводя глаз от Комовской. — За некрасивых и неудачных женщин!

Она всхлипнула.

— Зачем уж вы так-то? — Комовский даже встал.

Нина Евграфовна заметила своей подруге:

— Злость, Спица, плохой помощник в жизни. Злость и зависть. Я тебе об этом, кажется, еще и в институте говорила.

— Говорила. Спасибо, — подтвердила Спицына.

Глафира Васильевна внесла на большом подносе тарелки с котлетами и картошкой.

— Спасибо, Глашенька, — поблагодарил ее Комовский.

— Утешайся старой мудростью: не родись красивой, а родись счастливой! — Комовская, выпив свой коньяк, стала быстро и жадно есть.

— Вот что получается, когда человек с молодости не бережет себя, — сказал мне Игорь Михайлович, показав на спавшего Манюковского.

Глафира Васильевна легко, как ребенка, взяла спавшего Борика на руки и унесла в комнату.

— Типичная безотцовщина, — кивнула на своего бывшего одноклассника Нина Евграфовна.

Нагнувшись над тарелкой, я продолжал есть котлету: это была свиная отбивная с косточкой.

— Умеете вы готовить! — сказал я Глашеньке.

Она вдруг совершенно по-человечески улыбнулась мне в ответ, видимо, обрадованная этой немудреной похвалой.

— Поздравляю вас, Алексей Николаевич! — сказал Комовский. — Наша Глашенька редко кого улыбкой жалует.

— Это уж точно! — подтвердила и удивленная Нина Евграфовна.

Спицына мигала, глядя то на меня, то на Глафиру Васильевну, снова опустившую голову низко к столу. А мне вдруг стало жалко Глашеньку, я представил, как одиноко ей живется у Комовских, которым, по существу, совершенно наплевать на свою прислугу... Так и проживет она до глубокой старости где-то сбоку от настоящей жизни, обслуживая Комовских.

— Что в вас такое есть, Алексей, что даже мне, завзятой злыдне, и то легко с вами? — негромко сказала Спицына.

Я пожал плечами, чувствуя, что все-таки краснею.

— Не знаю. Вообще-то я не злой... Ну и мечтатель еще...

— Главное, наверно, что ты простой парень, Лешка!

От смущения мне было не поднять головы.

— Но не той простотой, которая хуже воровства, — засмеялся Игорь Михайлович.

Нина Евграфовна скомандовала:

— Ну-ка, погляди на меня!

Я вздохнул и поднял голову.

— Брось ты, Нинка, его мучить, — попросила Спицына.

— Скажи мне, почему ты сегодня вытащил меня из воды, а? Да еще откачивал потом!

Я пожал плечами:

— Ну как почему? Человек ведь... То есть помереть ведь ты могла.

— И все?

— И все.

Комовский и Спицына молчали, глядя на меня.

— Но ведь ты собственной жизнью при этом рисковал!

— Я тогда-то об этом и не думал.

— Просто хороший он парень, и все, — сказала Спицына.

— Алексей Николаевич, — проговорил Комовский, — простите меня, позвольте, я расцелую вас.

Он встал, обошел вокруг стола и поцеловал меня в щеку.

Маленькая деталь: со стула я не вставал, чтобы профессору было удобнее выполнить свое желание. Объясняется это тем, что разница в нашем росте сантиметров тридцать.

6

— Добрый день, веселая минутка! — послышался с улицы бодрый голос Гаврилы Петровича. — Мы не опоздали?

Вдвоем с Викторией Сергеевной они плечо в плечо поднялись на веранду.

Я вздохнул: ну, теперь, кажется, все в сборе. Начнется! Правду сказать, я почувствовал себя неуютно, когда убедился в ширине плеч Гаврилы Петровича. Хоть бы сержант Макланов перебрался поближе к даче! Иннокентьев с Маклановым не замешкаются, если потребуется.

— Присаживайтесь, гостюшки дорогие, присаживайтесь! — радушно приглашал Комовский, не поднимаясь со стула.

Глафира Васильевна подставила к столу два стула. Место Манюковского оставалось свободным.

— Надеюсь, остальное общество присоединится к нам с Викой? — спросил Гаврила Петрович, поднимая свою рюмку.

— Один из нас уже отдыхает. — Я показал на спавшего Манюковского.

— Позвольте уж мне первому за Витю, — начал Гаврила Петрович. — По нынешним временам, то есть когда нет войны, Витя умер рано, но за годы, что он прожил, он взял от жизни все! Умел и работать и жить, был умным, волевым человеком. Дело прошлое, но хоть мы и одногодки, а Витя часто примером для меня был и в труде и в... бою. Что там ни говори, а жизнь — это борьба, вся теория Дарвина на этом основана. Прошу всех вас, его друзей, помянуть покойного добрым словом!

Комовская с Масленниковой посмотрели в глаза одна другой, усмехнулись и одновременно выпили. Игорь Михайлович пригубил из своего фужера. Спицына пьянела все сильнее, она уже с откровенным вызовом глядела на Масленникову, я чувствовал, что скандал вот-вот разразится.

Виктория Сергеевна поднялась с рюмкой в руке. Красивое лицо ее вдруг исказилось от боли.

— Жила я себе на юге, купалась, загорала, еще в то воскресенье разговаривала с Витей по телефону. Убили моего Витеньку! — Она в упор, как и раньше, стала глядеть на Нину Евграфовну. — А мне без него жизни нет! Поэтому... поэтому я прямо говорю и при всех: сама умру, а отомщу за Витю!

Все, разумеется, снова выпили, сели и начали закусывать. Но за столом было так тихо, что стало слышно тяжелое сопение Манюковского на тахте в соседней комнате.

— А теперь, драгоценные содруги, расскажите мне, курортнице, как моего Витеньку тут убили, пока я в Черном море купалась! — своим звучным голосом произнесла Виктория Сергеевна, демонстративно поворачиваясь к Нине Евграфовне и жадно закуривая длинную сигарету с фильтром.

— Скажем все, что знаем! — таким же накаленным голосом ответила Нина Евграфовна. — Но сначала, простите, хотелось бы убедиться, когда вы прилетели с юга.

Во время убийства Каблукова в Ленинграде Масленниковой не было, она находилась в своем санатории, это мы проверили. И прилетела она только вчера вечером, в аэропорту ее встречал старшина Сергеев. Он же установил, что она поехала сразу к себе домой, ее никто не встречал у самолета. По телефону она звонила многим, но ничего интересного о Каблукове в этих разговорах не было.

— Я-то, красотуля, чиста! — Масленникова достала из

сумочки самолетный билет со своей фамилией и буквально предъявила его Комовской.

Нина Евграфовна мельком глянула на билет, отвернулась и продолжала курить. Игорь Михайлович взял билет, внимательно изучил его и вежливо вернул Масленниковой.

— Мерси. В вечер убийства все были у нас на квартире в Ленинграде. Веселились, обсуждали этот вот предстоящий праздник.

— Лешки не было, — вставила Нина Евграфовна, попрежнему глядя в окно.

— Простите, а вы кто? — спросила меня Масленникова. — Я вас у Комовских впервые вижу.

— Видите ли, — начал я, — сегодня утром...

— Ша, кролик! — перебила меня Комовская. — Он мой гость, я за него в ответе!

— Этот тип, — кивнул на меня Гаврила Петрович, — уже приезжал сегодня ко мне за продуктами вместе с Ниной Евграфовной.

Виктория Сергеевна выслушала его и кивнула Комовской:

— Ладно, поехали дальше!

«Кажется, пронесло», — машинально отметил я.

Гаврила Петрович курил, развалясь на стуле, в солнечных лучах волосы его казались огненно-рыжими, а глаза неправдоподобно голубыми. Удивительной безмятежностью веяло сейчас от него.

— Я, Викочка, — сказал он, — готов повторить при всех все, что знаю. В вечер трагической гибели Вити мы все были у Комовских. Манюня, как и сегодня, опьянел раньше всех, Галочка повезла его домой. А через часок примерно ушли от хозяев и мы с Витей, оба тоже навеселе. На наше счастье у дома оказалось свободное такси, мы сели. Поскольку я живу ближе к нашим любезным хозяевам, — он чуть склонился в сторону Комовских, — Витя завез меня домой и поехал к себе. Вот и все.

И он снова стал посасывать сигару. Подражает Каблукову, что ли?

Труп Виктора Викторовича Каблукова обнаружила в парадном дома около двенадцати ночи дворник Галатова и сразу же вызвала «Скорую» и милицию. Врачи установили, что смерть наступила около получаса назад, тело еще было теплым. Документы, деньги и золотые часы — все на месте. Сразу видно: это одно из тех дел, в которых

очень трудно за что-нибудь зацепиться. Каблуков был сильно пьян и мог просто поспорить со случайным знакомым, очень возможно, тоже пьяным. Вот и результат.

— Может, Витенька спьяну сам споткнулся и упал на затылок? — спросила Масленникова, положив на стол крепко сжатые кулаки.

— Вполне возможно! — кивнула Комовская.

Мне показалось, что на этот раз Игорю Михайловичу не удастся сказать: «Схватка откладывается». Больше того, схватка казалась неотвратимой.

В это время Спицына выговорила мечтательно, восхищенно:

— Мы с Нинкой зашли как-то в магазин к Виктору Викторовичу, а там трое пьяных шумели. Вышел он к ним из своего кабинета, подошел и только сказал: «Ну?» Затихли! Помнишь? — сказала она Комовской, улыбаясь. — Я потом спросила у него, как это он троих хулиганов не побоялся. А он: «Да они бы просто не успели меня ударить». И я поняла: верно, такая уж постоянная готовность у Виктора Викторовича была! В постоянной боевой готовности он жил. И мы, то есть женщины, очень хорошо это чувствовали. Для нас, то есть женщин...

— Как и для девушек! — вставил Игорь Михайлович.

Спицына мигнула, стараясь понять, что он сказал, и ответила ему чуть ли не пренебрежительно:

— Отдохните хоть минутку, Игорь Михайлович. Каблуков-то уже на небесах!

— Хорошо, хорошо. Спасибо, что напомнили! — Комовский старался улыбаться.

— И вот эта мужественность Виктора Викторовича нравилась нам сильнее всего! — договорила Спицына.

За столом сделалось тихо. Глафира Васильевна вдруг негромко, но очень слышно выговорила:

— Мужчина он был. Настоящий мужчина!

— Господи, милая, да вы-то откуда это знаете? — не удержался Комовский.

Она пожала своими широкими плечами.

— Да просто... видно это было, вот и все.

— Правильно! — сказала ей Масленникова. — Ведь почему я Витю полюбила, даже свою жизнь к нему приспособила? А потому, что в нем настоящий мужчина жил

всегда и во всем: и в работе, и в отдыхе, и даже, прошу прощения, в постели!

— Это верно, — негромко произнесла Нина Евграфовна. — Понимал Виктор Викторович, что хоть и однажды дается жизнь человеку, но по-мелкому жадничать и суетиться в ней смешно. То есть и сам он понимал свое достоинство, и ты рядом с ним это же чувствовала. Вровень с жизнью был человек. То есть не уступал ей и не подчинялся, по-хозяйски двигался.

— И не упрощал ее, но и не усложнял, — в тон ей договорила Масленникова.

Все снова помолчали, из сада сквозь раскрытое окно стало слышно и пение птиц, и пчелиное жужжание.

— Мы ведь с Витей вместе воевали, в одной части, даже в одном разведывательном взводе, — проговорил Гаврила Петрович, мягко улыбаясь своими ярко-голубыми глазами. — И когда капитан Морозов в разведку Каблука посылал, каждый согласен был с ним идти!

— Удачливый был? — спросил я.

Он кивнул.

— Я из-за него и в торговлю пошел.

— Так вслед за Каблуковым и шли? — спросил я.

— Ага. Всю жизнь вторым после него был. — Он покосился на Нину Евграфовну. — Привык след в след за Каблуковым идти.

— А почему он именно в торговлю после войны пошел? — спросил я.

— А тоже риск, — откровенно ответил мне Гаврила Петрович. — То есть и деньги, конечно, но и живешь так, что всегда чувствуешь: буквально завтра жизнь твоя может коренным образом измениться. А это добавляет перчику, от скукоты-преснятины спасает.

— Правильно, — согласилась Нина Евграфовна.

— И этим, — Комовский кивнул на бутылки, — себя еще подхлестываешь?

— Не без этого, — усмехнулся Гаврила Петрович. — Прямо сказать, постоянно под легким градусом находишься.

— Вроде допинга?

— На трезвую-то голову воровать труднее, — просто выговорила Глафира Васильевна.

— Да и вообще жить на трезвую голову труднее, — согласился с ней Гаврила Петрович.

— Это про меня? — спросил заспанный Манюковский, появляясь из комнаты и устремляясь к своему месту за столом.

Он поздоровался с Масленниковой и Гаврилой Петровичем.

— Выяснили, кто из вас Каблука-то убил?

— Ма-ню-ня! — по складам выговорила Комовская. — Сначала хоть рожу-то ополосни.

— Пардон, пардон. — И он послушно ушел вслед за Глашенькой на кухню.

За столом стало тихо.

— Игорь Михайлович, — вдруг сказал я, — праздник у вас сегодня общий с Ниной Евграфовной. Но почему все гости только с ее стороны?

Сначала он не понял и мигнул.

— Неужели вы не понимаете, что не все на моей работе одинаково относятся к... — Он запнулся и смешно пошевелил в воздухе толстыми пальцами.

В том, что виновник смерти Каблукова среди нас, я уже не сомневался. Но этой своей уверенности я еще не мог объяснить.

Рыжие волосы Гаврилы Петровича разлохматились, глаза посветлели, но не утратили ни своей синевы, ни младенческой беззаботной ясности.

— Значит, всю жизнь вторым? — спросила его Масленникова.

— Он вообще Витиными объедками пользовался! — насмешливо сказала Нина Евграфовна.

Как мне пришлось неоднократно убеждаться, люди гневаются по-разному. У одного внешне ничего не заметно, а он вдруг ни с того ни с сего взрывается дикой злобой. Другой, наоборот, кричит, ругается, вот-вот, кажется, схватится за топор, а через полчаса, глядишь, уже мирно сидит за столом и беседует. Гаврила Петрович относился, в общем, к людям, способным владеть собою достаточно хорошо. После до крайности обидных слов Масленниковой и Нины Евграфовны он улыбаться не перестал, и ни единая жилочка в его скуластом лице не дрогнула, божественная ясность глаз не потускнела. Подводили его руки, большие, сильные, покрытые жестким волосом. Он открыл одну за другой две бутылки коньяку

не штопором, а ударами ладони по донышкам. Когда он разливал коньяк по фужерам, рука его сильно вздрагивала.

— Перепьетесь, — сказал я Нине Евграфовне.

— Туда нам и дорога!

— Ты думаешь, почему мы пьем? — спросил меня Борик.

— Пьяному живется легче, — ответила за меня Спицына.

За столом уже громко разговаривали, чему-то смеялись.

— А я знаю, кто нашего Каблучка на тот свет отправил! — визгливо выговорил вдруг Манюковский. — Или Гаврила, которому при Каблуке ни за что Нинку бы не заполучить, или сама она со злости, что Каблук ее Гавриле передать хотел!

Опять послышалось жужжание пчел из сада. Гаврила Петрович улыбался, но было видно, что и он начинает пьянеть. Масленникова, еще не веря сказанному Бориком, переводила глаза с Комовской на Гаврилу Петровича и обратно. Она даже потрясла головой, точно хотела стряхнуть опьянение. Спицына молчала, откинувшись на спинку стула.

— Опять сломался, — сказала Нина Евграфовна. — Любишь пить, так пора бы уж научиться.

Она подошла к обмякшему Борику, взяла его под мышки и подняла.

Но была наготове Глафира Васильевна. Она ловко перехватила у Комовской ее бывшего одноклассника и опять отнесла его на тахту в соседнюю комнату.

Комовская села на свое место во главе стола, налила себе и Гавриле Петровичу, спросила:

— Слышал, что Манюня сказал?

— Конечно!

Гаврила Петрович будто любовался ею и не переставал улыбаться.

— Значит, это вы, голубчики? — выдохнула Масленникова, дочерна загоревшее лицо ее неожиданно начало сереть.

Глафира Васильевна тяжело поднялась со своего стула, подошла к дверям и встала в них, закрыв выход. Сейчас она напомнила мне громадную кавказскую овчарку, до гроба преданную хозяину.

— Ну, Нина, давай все-таки выпьем, — предложил Гаврила Петрович, протягивая через стол свой фужер.

Комовская вдруг поглядела на меня. До сих пор не могу понять, что она хотела сказать этим своим взглядом.

— А ты сегодня действительно жизнью рисковал, когда меня вытаскивал?

Я вспомнил, как она сидела на дне на корточках, как я опускался все ниже и ниже и в глазах у меня плыли яркие круги, а в груди резало от недостатка воздуха.

— Да вроде того...

Гаврила Петрович ожидающе поставил свой фужер обратно на стол.

— А почему ты все-таки вытащил-то меня?

Я понял, что она изо всех сил борется с опьянением.

Все за столом молчали, глядя на нас с Ниной Евграфовной.

— То есть, будь на моем месте другая, и ее бы вытащил?

— Ну да.

Нина Евграфовна помолчала. Опять отчетливо послышалось жужжание шмеля в саду.

— А в чем, Лешка, ты видишь счастье человека?

Я пожал плечами.

— У каждого оно, наверно, свое. Для мужчины, мне кажется, многое зависит от работы. Ну, чтобы по душе она ему была, давала удовлетворение.

— А твоя работа тебе нравится? Мог бы ты жить вообще без работы? Нет? Почему?

— А что бы я тогда делал-то?

— Да просто бы жил!

— Мне этого мало.

— И ты... хорошо свою работу делаешь?

— Во всяком случае, стараюсь.

Она взяла из пачки сигарету, щелкнула зажигалкой, прикурила. Примечательно, что все мы молчали, ожидая, что она скажет дальше.

— В общем так, — сказала она, глубоко затягиваясь. — Если человек тонет, ты должен спасать его, так? Даже если сам при этом можешь утонуть? И когда же в тебе такая... правильность выработалась?

— Не знаю.

Она медленно оглядела каждого сидящего за столом.

— Как вам кажется, врет он? — Все молчали. Она улыбнулась мне: — Вот и мне кажется, что ты, Лешка, не врешь!

Игорь Михайлович, невольно морщась, следил за женой. Нина Евграфовна, почувствовав его взгляд, вдруг спросила почти шепотом:

— Своеобразный у нас с тобой юбилей?

Игорь Михайлович сидел неподвижно, лицо его казалось окаменевшим. Мне показалось, что он настолько уже устал, что ему сейчас безразлично решительно все, только бы поскорее пришло успокоение. Он машинально поглаживал ладонью левую сторону груди и остановившимися глазами смотрел куда-то в сад сквозь раскрытое окно.

— Освежиться мне, что ли? — спросила Нина Евграфовна, поднимаясь из-за стола.

Гаврила Петрович вдруг попросил ее:

— Дай мне ключ от машины. Надо поскорее до магазина добраться.

Она усмехнулась.

— Ключ в машине, бензина полный бак.

— Всего вам добренького, — сказал он и повернулся к Нине Евграфовне: — Будь умной девочкой, поперед батьки в пекло не лезь. Договорились?

Не ответив ему, она поглядела на Комовского и пошла, чуть покачиваясь, к озеру.

— Всего вам добренького, — повторил Гаврила Петрович и стремительно зашагал к машине.

Я кинулся за Комовской к озеру. Она уже входила в воду, не сняв ни платья, ни туфель, ни золотых часов.

— Хоть разденься! — заорал я.

Она остановилась и долго глядела на меня, точно не узнавая. Потом быстро выговорила:

— В тот вечер мы трое от нас поехали к Гавриле, еще выпили, и Каблук сказал, что у нас с ним все, чтобы я — к Гавриле. Потом мы с Гаврилой поехали провожать Каблука. Он уже не мог идти, так запьянел. И я его в парадном, когда он повторил, чтобы я — к Гавриле... Я его сзади — по затылку.

— Чем?

— Ключом. Гаечным. Сама не знаю, как он у меня в руке оказался. Из машины захватила, что ли...

— А Гаврила где был?

— Тут же. Он меня к себе и увез.

— Ты дома не ночевала? А Игорь Михайлович?

— А папуле уже все равно.

— А как же соседи ваши сказали, что ты с сердечным приступом лежала?

Она ничуть не удивилась, что мне это известно.

— Я их попросила, вот они и сказали. Ну, желаю тебе счастья, хороший ты парень!

Она неторопливо пошла в глубину, глядя на заходящее солнце.

Делать нечего, я кинулся за ней и еле вытащил ее на берег, так она сопротивлялась.

Потом я услышал крики и стрельбу. Гаврила Петрович оказался вооружен и ранил сержанта Макланова, когда они с Иннокентьевым его задерживали.

●

ПОЭЗИЯ

Борис ШИШАЕВ

ОБРАЗ РОДИНЫ

* * *

Опять с полей теплом подуло,
И, пробуждаясь ото сна,
Отяжелевший снег стряхнула
И вольно ветками взмахнула
Помолодевшая сосна.

Под снегом созревают воды...
А сердце все обнять спешит.
И в каждом времени природы
Как будто часть моей души...

ЖЕЛАНИЯ

Идешь могучим, древним бором.
В нем даже птицы не кричат,
Лишь сосны то застонут хором,
То отрешенно замолчат.

И сразу тянет почему-то,
Когда услышишь этот хор,

В избушку, полную уюта,
Где чай да теплый разговор.

Но вдруг в сосновом хороводе
Мелькнет просвет — отрадный знак, —
И вот уж с новым чувством входишь
В высокий, стройный березняк.

Так отовсюду светом брызнет,
Что хочешь, не скрывая слез,
Сказать о самом ценном в жизни...
Но ты один среди берез.

Пройдешь весь лес и выйдешь в поле.
Пустынно, холодно уже.
И до отчаянья, до боли
Любви захочется душе.

И не какой-то расчудесной,
Не той, где всплески до небес, —
Совсем простой и очень честной,
И чтоб никто в нее не лез.

Восторги и переживанья —
Без слов, без фраз, без суеты...
Какие разные желанья,
Но сколько в каждом чистоты!..

* * *

Еще далеко до больших холодов.
Пронизаны рощи светом глубинным,
Отчетливо слышится шум поездов,
И шустрые стайки разбойных дроздов
Скитаются в поисках ягод рябины.

Сижу с мужиками на бревнах, у лип,
И все согревает мне сердце отрадой:
И детских качелей размеренный скрип,
И толки о том, что пошел белый гриб,
И звонкие крики за школьной оградой.

Всегда беспредельно волнует меня
Движение жизни средь нашей природы.

Здесь люди с природой пока что родня,
И в нежном тепле золотого огня
Мгновенья текут, словно чистые воды.

И к добрым творениям, как никогда,
Влечет меня этим целебным потоком.
Что может быть лучше родного труда,
Когда далеко впереди холода
И нету ни облачка в небе высоком?..

БЕЛЫЕ ПТИЦЫ ВДАЛИ

В закатном свете, вдалеке
Цепочка белых птиц летела
И неземную песню пела
На чистом, нежном языке.

Не голос это был, а глас,
Который вызвал озаренье —
Всех чувств прекрасных обостренье,
Что с возрастом все реже в нас.

Сурова жизнь — твоя, моя.
Но за ее обличьем жестким
Земные радости, как блестки,
Живут в глубинах бытия.

Вот птицы белые вдали
Летят... И чувства всколыхнулись:
Каких высот мы не коснулись,
Каких сокровищ не нашли?..

* * *

Люблю, когда со мною дети.
Бывает сердцу так при них,
Как будто луч сквозь тучи светит
И глубоко в меня проник.

Поет дитя, ликует, пляшет,
Весь — излученье доброты...

И так порой о жизни скажет,
Что вдруг остолбенеешь ты.

И сразу станет очень трудно:
Искал ты этот смысл и слог,
Все это чувствовал подспудно,
Но только высказать не мог!

* * *

Утренний иней узорчатый...
Роща. Конец сентября.
Вижу — цветут колокольчики,
Нежностью тихой горя.

Тонкие, слабые, малые...
Ясно — не лучшие дни.
Как доброта небывалая,
Трогают сердце они.

Вот бы, пройдя своей тропкою,
Там, на исходе пути,
Радостью, тихой и робкою,
Так же и мне расцвести...

СТИХИ МОЛОДЫХ

Игорь КРОХИН

ГОРСТЬ ЗЕМЛИ

* * *

Не родился, а все уже было
Решено до меня
Обо мне:
Чтобы солнце мое не всходило,
Медунец не расцвел по весне.
Решено, сколько надо овчарок,
Пулеметов на вышках, печей
Крематориев —
Щедрый подарок
Для еще не рожденных людей.
Только в западном укрепрайоне
И подснежник расцвел по весне,
И притих человечек в ладонях
Благодарных — за сына! — жене.

* * *

Стучат платформы и теплушки,
Орудия зачехлены.
— Вот это да! — глядят на пушки
У переезда пацаны.

От песни — только отголоски:
Состав грохочет тяжело.
Земля гудит!
Шумят березки
Пристанционные
Светло.

И посреди полей колхозных
Уже грохочет эшелон,
И отдается эхом грозных,
Незабываемых времен.

Старушка истово и нервно
Перекрестилась на зарю...
— Да это, бабушка, маневры.
Маневры это! — говорю.

* * *

Всего-то горсть.
Сжимаю эту горстку —
И струйки земляные потекли.
Остатки дота.
Бруствер не по росту.
И мы тогда не сразу в рост вошли.

Окопы заросли.
Обрушилась траншея
У слободы —
На левом берегу.
Сжимаю горсть земли —
Что́ может быть страшнее,
Чем эту горсть земли
Отдать врагу?

КТО СТРОИЛ МОСТ

Кто строил мост, не забывал о риске:
Гранит гранитом, и крута вода —
От ледореза взметывает брызги
Под самые — и выше! — провода.

Кто строил мост, дела имел со страстью
Непримиримой норовом реки:
Торосы льда в ее ревущей пасти
Острей, чем волчьи рвущие клыки.

Но человек в порыве дерзновенья
Решил, что надо ставить только тут,
Как ни ярятся злобные теченья,
Как ни грозят, что в порошок сотрут.

У этой напирающей реки
Состава грохот обостряет чувство,
Что люди, возносящие искусство,
Над силами слепыми высоки...

* * *

Морозно.
Солнечно и хрустко.
До слез в глазах
Снега слепят...
И хорошо-то как — по-русски:
Бежишь, а валенки скрипят!

И хорошо вот так, как в детстве, —
В раскат по льду,
До полыньи!
И посреди реки вглядеться,
Слободка,
В улочки твои...

Семен КЛЕБАНОВ

ПРОЗРЕНИЕ

Повесть

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Три дня подряд, приходя на работу, Вячеслав Александрович вынимал из сейфа дело Ярцева — тощую папочку, где было подшито всего лишь семь страниц его заявления и несколько листиков с записями своей беседы с Дмитрием Николаевичем. Он много раз перечитывал материалы, разглядывал карту Полесья, думал, как выстроить схему предстоящего расследования. Работа подвигалась медленно, туго.

Вячеслав Александрович разложил на столе большой лист бумаги и с усердием рисовал места события — дом Крапивки, дорогу, по которой убегал Проклов, на отлете изобразил товарный состав с платформой, груженной лесом. В правой стороне, ближе к кромке листа, начертил круг, вписал в него: «Челябинск». Потом в различных точках расположил людей, обозначил их фамилии. Человечки, правда, ему не удались. Одни палочки и нолики. Как в детском рисунке. Вячеслав Александрович озабоченно посматривал на картинку, мысленно восстанавливая события давних лет. Но при всем незаурядном опыте, творческом воображении он не мог преодолеть барьера, возникшего в ходе раздумий: «А может, все было иначе... Хотя бы разговор с прокурором Жбаковым. Ведь не исключено, что ар-

---

Окончание. Начало в № 10.

хив сохранился, а Ярцев утверждает: «Сгорел». А приговор? Только и есть — заметка в газете. Но могла быть допущена ошибка... Известны и такие случаи. Выходит, рановато нарисовал картинку. А вдруг все окажется правдой? Есть свидетель. Крапивка. Вот здесь, — Вячеслав Александрович ткнул карандашом в прямоугольник лаза, — он находился во время разбоя. Так... Буду допрашивать, получу показания... Но где гарантия, что Ярцев не откажется от своего заявления... — Он поставил в центре картинки большой вопрос. — Надо вызывать Ярцева. Придет профессор, подтвердит признание. Что это даст? Неужели ты, следователь Ледогоров, уверуешь, что в твоих руках неоспоримое свидетельство истины?»

Он вызвал секретаря, продиктовал телеграмму Жбакову, просил разыскать дело Проклова.

На другой день прибыл ответ: архив не сохранился.

Через три дня Вячеслав Александрович снова беседовал с Ярцевым.

— Вы ничего не хотите добавить к заявлению?

— Нет... Пока нет.

— Ну и ладно. — Вячеслав Александрович не стал уточнять оговорку Ярцева: «пока».

— Что вас интересует? — спросил Ярцев.

— Когда вы пошли в дом Крапивки, у вас не возникало опасения, что хозяева окажут сопротивление? Топор-то у них, во всяком случае, был. На что вы рассчитывали? — спросил следователь.

Ярцев покраснел. Вопрос адресован Проклову. О чем он тогда думал?

— Не знаю... Помню, кудлатый сказал: «У нас есть документ. Разрешено производить обыск».

— Вы видели документ?

— Нет. Поверил, что есть такая бумажка. Злость во мне кипела. Мать вспоминал.

— Вы знали, что у них есть револьвер?

— Нет. Видел, как хромоногий вынул из кармана пугач. Говорил, что купил мальчонке.

— Когда это было?

— На поминках. Когда водку пили. Взял я пугач, посмотрел. Щелк, щелк... Игрушка!

— Почему убили отца Крапивки?

— Не знаю.

— Как это произошло?

— Я долго не мог открыть крышку сундука. Старик бросился на меня. Тогда хромоногий потащил его к печке. Старик вырвался, схватил кочергу, ударил хромого. Кудлатый стоял рядом со мной. Караулил, как бы я кубышку не унес. Хромоногий опять полез в драку. Старик отшвырнул его. Тогда кудлатый вынул из кармана кожанки револьвер и выстрелил. Убил старика. Я все еще возился с сундуком. Наконец отвалил крышку. Кудлатый подскочил, взял кубышку. А я сапоги. Новые. Хромоногий повалил мать Крапивки. Заметил, у него был нож. Мать билась в истерике. Видно, он ранил ее и отбежал к окну. Кудлатый крикнул: «Ванька, добей ведьму!» Я испугался, бросил сапоги и попятился к двери. В этот момент увидел Федьку. Кудлатый кричал: «Добей!» Но я убежал. Что было дальше — не знаю... Когда добежал до шоссе, услыхал второй выстрел... Я не оглядывался, удирал... Вот так это запомнилось.

— Запомнилось или было? — спросил Вячеслав Александрович.

— Было! Поэтому и запомнилось.

— Теперь мысленно поставьте свой стул рядом с моим, — сказал Вячеслав Александрович. — И порассуждаем по поводу рассказа Ивана Проклова... Будем терпеливы и попытаемся установить адекватность услышанного с реальной ситуацией, происшедшей в Камышах. Скажите, какой бы вы сделали вывод? Вы, Ярцев!

Ярцеву показалось, что следователь готовит какую-то уловку, но ему чего-то не хватает для неожиданного эксперимента...

— Позвольте заметить, в самом вопросе уже есть ответ...

— Любопытно. Поясните.

— Показания Проклова не подкреплены доказательствами. А вам они нужны.

— Очень, — спокойно подтвердил Вячеслав Александрович.

— Но это уже обвинение в адрес Ярцева. Что делать мне? Где добывать справки, факты, все, что называется вещественными доказательствами? Ваше право верить или не верить...

— Хорошо, что обострили разговор. Полезно! И мне и вам.

— Может, мне как заявителю — да! Но это моя временная визитная карточка. Будет другая... Я — обвиняемый. Какой же вывод я должен сделать?

— Об этом и разговор.

— Если вам мешает фамилия Ярцев, называйте меня Прокловым.

— Что изменится?

— Вам решать, Вячеслав Александрович. Только Проклов стал бы говорить то же самое. Он другого не знает. Другого не

было. Но есть одна особенность. Ярцев осуждает себя... А вот Проклов, честно говоря... Затрудняюсь ответить.

Вячеслав Александрович внимательно выслушивал возражения Ярцева и сдержанно задавал наводящие вопросы, не вступая с ним в спор. Он запомнил одну подробность, которая возникла внезапно. Ярцев, не отвергая заявления, почему-то хочет приблизить момент вручения ему обвинительного заключения. Почему?

Ярцев уставился на обложку синей папки. Надпись «Проклов» назойливо лезла в глаза. Он вдруг вспыхнул, заявил:

— Я хочу внести дополнение к своему заявлению.

— Пожалуйста. Вот бумага, пишите.

— Спасибо! Я воспользуюсь вашим предложением... Когда я впервые переступил порог этого кабинета, то в тот день для меня уже начался суд... Оставим в стороне эмоции... Суд без доказательств — машина без колес... Сегодня второй день суда. И я понял страшную нелепость моего положения. Скажу больше. Безвыходность вашего положения. И вы, Вячеслав Александрович, знаете это сами. Потому и поставили мой стул рядом со своим. Но и это не помогло! Думаю, что мое заявление не вызывает у вас особо сложных вопросов. Точнее, не может вызвать. Но есть один главный. Вопрос вопросов... Сегодня я его услышал. Убивал ли я? Нет, не убивал! — Ярцев стукнул кулаком по столу. — Не убивал! — Глаза его яростно сверкнули, он схватил папку и, помахав над столом, бросил на место. — Пусть в этом деле появится доказательство!.. И это должны сделать вы, Вячеслав Александрович. Я бессилен. Поймите, это не защитный маневр. Моя боль! Почему слова Крапивки, почему пятистрочная заметка, я сам ее обнаружил в газете, обрели силу приговора? Я не юрист, но понимаю, что в приговоре должно быть ясно сказано, за что приговорили человека к очень суровому наказанию. Ведь закон содержит ряд статей, по которым суд определяет степень наказания. Да, наказания. За содеянное лично мной... В своем заявлении я не изменю ни одной строки. Но я дополню его фразой: «Я не убивал!» И если можно говорить о чести человека, свершившего преступление, то я буду отстаивать только одно: пусть моя честь не будет сопрягаться со словом «убийца».

Слушая Ярцева, Вячеслав Александрович снова ощутил, как по сердцу хлестнуло странное чувство безвинной вины следователя, который не может произнести свое веское слово. Он вспомнил свой рисунок, где была надпись «приговор». Сейчас у него было одно утешение. Он не осмелился тогда зачеркнуть это слово.

Вячеслав Александрович вынул из папки Проклова рисунок и стал вносить поправки, которые возникли после беседы с Ярцевым. Небольшие уточнения мало изменили общую картину. По-прежнему все было статично, фиксировало лишь место действия и его участников.

«Почему я иду по следу Проклова? Почему все версии возникают в связи с ним? Только потому, что он заявитель... А если его отодвинуть на второй план? Забыть! Вывести за скобки. — Он вышел из-за стола, выжал несколько раз гири, будто проверял, хватит ли у него силы пойти другим путем. — Я двинусь по следу Гнилова и Бражко... Мне нужен приговор. Его нет! Но ведь вполне возможно, что они написали председателю ЦИК СССР, просили о помиловании. Могло быть такое?! Значит, их документы попали в Москву. Из канцелярии Калинина они поступили в Прокуратуру СССР. А наш архив — рукой подать. Там все на месте... Вот какие пироги-то... — Он бросил взгляд на аквариум. — Что ж ты, рыбья душа, раньше не подсказала? Через них я и подступлюсь к Проклову. Одобряешь?»

Версия следователя Ледогорова оказалась правильной. В приподнятом настроении он пришел в кабинет и вынул из портфеля копии документов, полученных в архиве прокуратуры. Тощая папочка пополнилась приговором, заявлениями преступников о помиловании и решением об отказе в их просьбе.

Вячеслав Александрович с удивлением обнаружил, что мотивировки приговора относились в одинаковой мере ко всем обвиняемым.

Но самым важным фактом, который он извлек из приговора, стало указание, что Гнилов и Бражко были ранее судимы за грабеж.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Останин открыл дверь Ярцеву и увидел его потухшие глаза.

— Будем обедать, — сказал Останин.

— Нет, не хочется.

— А я ждал! — взорвался Останин. — Пожалуйста, запомни — я плохо переношу голодовку. Не приспособлен! Так что будем обедать! На себя посмотри... Кстати, ты не заметил — в прокуратуре есть зеркала? Как бы я ни был запальчив, — не остывал Останин, — категоричен в своих суждениях и оценках, ты не сможешь доказать мне, что сегодня тебе стало жить труднее, чем когда писал заявление в прокуратуру. Поэтому требую: неси достойно свою ношу. И пусть не будет жалких

слов. Я ведь тоже не из кремня. Я могу скиснуть, как все люди... Сейчас один из нас должен быть сильнее. Я попробую им быть. Не мешай мне. Ты слышишь, Митя? Теперь говори что хочешь, можешь даже ругаться... Итак, завтра утром в отпуск! К Хромову.

— Завтра? — удивился Ярцев. — Я никого не предупредил.

— Разве у тебя взяли подписку о невыезде?

— Нет.

— Так о чем речь? У тебя отпуск.

— Хорошо, — покорно согласился Ярцев.

В Светлое добирались теплоходом до небольшой пристани Лесняки. Здесь их ждал катер.

Белобрысый — грудь нараспашку — моторист спросил Ярцева, надолго ли он в их края, а потом сказал:

— Видок-то у вас... не первый сорт. Год назад другим были.

— Отосплюсь, позагораю, — неуверенно ответил Ярцев.

Вскоре прибыли в Светлое.

— Славно, что приехали! Вот... — встретил друзей Хромов. Коренастый, жилистый — был он с виду человек мрачный, но глаза, темные, слегка раскосые, спрятанные под густыми бровями, смотрели на людей тепло и с озорством.

На другой день Останин с Хромовым отправились в сельмаг, а Ярцева попросили наколоть березовых чурок для летней плиты, выложенной под навесом в дальнем углу дворика.

Без охоты выполнив «домашнее задание» — так определял Останин поручения по хозяйству, — Ярцев вернулся в комнату. На кровати Останина лежала книга известного психиатра Ганнушкина. Больше всего Дмитрия Николаевича удивило, что из нее торчали бумажные закладки. Полистав томик, он увидел подчеркнутые красным фломастером строчки. Значит, Останин не просто читает, а штудирует книгу.

«Что ему тут изучать?..» — подумал Ярцев. Он полистал страницы, вдруг наткнулся на фразу: «Человеческая личность даже на пути своего нормального развития обыкновенно претерпевает коренные изменения...» Еще одна страница с подчеркнутыми строчками: «В течение долгой жизни человек может явиться перед нами последовательно в виде нескольких личностей, до такой степени различных, что, если бы каждая из фаз его жизни могла воплотиться в различных индивидуумах, которые можно было бы собрать вместе, они составили бы крайне пеструю группу, держались бы противоположных взглядов или питали бы даже презрение друг к другу».

Ярцев задумался.

Ему теперь часто слышался настойчивый вкрадчивый голос: чего ты ждешь? Зачем бессмысленно терзаешь себя? Уйди, уйди сам...

Ближе к ночи, когда луна взошла в небе, Ярцев и Останин сидели на берегу. Неярко горел костер, еле-еле освещая их лица. Огонь отражался в темной воде: цепочка бликов уплывала по течению и все не могла уплыть.

Ярцев спросил:

— Андрей, ты от меня ничего не скрываешь?

— Скрываю, — с готовностью подтвердил Останин. — Ты псих, Митя.

— Это еще надо доказать.

— Ты все равно не поверишь...

— А все-таки? — прищурился Ярцев. — Человек, тайком изучающий труды Ганнушкина, мог бы найти аргументацию.

— Увидел! Дознался! — воскликнул Останин. — Жалею, что не довелось раньше прочесть эту книгу. Честное слово, было бы полезно. Я ведь тоже теперь живу надеждой... Вот и удобряю ее научной мыслью. Митенька, ничего мы про самих себя не знаем. Ничего!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

У Федора Крапивки появился долгожданный билет домой. Поезд уйдет только в седьмом часу вечера, а Федор проснулся ни свет ни заря и маялся в беспокойных думах о завтрашнем дне.

Федор смутно представлял, по каким дорогам поведет его судьба. Устоявшаяся жизнь в доме инвалидов исподволь подтачивала, расслабляла волю, делала его пассивным. Он привык к поводырям.

Теперь, расставаясь с двадцатилетним слепым укладом бытия, Федор чувствовал, что не сможет сделать первые самостоятельные шаги. Он пугался зрячего одиночества. Обретя опять бесценный для каждого человека дар, он не чувствовал в себе жажды выиграть поединок с будущим. Была тому веская причина. Федор знал ее, но не мог с ней свыкнуться и пребывал в подавленном состоянии: окажись избавителем другой врач, не Ярцев, — радость прозрения не омрачилась бы такой безнадежной тоской. Федор метался в раздумьях, не находя сил и понимания, как жить дальше. С той поры, как прошла операция и он ненасытно смотрел на окружающий мир, Федор ни разу

не подходил к зеркалу. Его не интересовал свой облик. Горькая память хранила лицо фронтовика, увиденное в разбитом зеркальце за два дня до рокового ранения.

Вчера, после того как ему принесли билет, Федор зашел подстричься. Усевшись в кресло, он застыл, увидя чужое, вытянутое, худое лицо. На морщинистом горле резко проступал кадык.

«Поутюжила жизнь... — подумал Крапивка. — Себя самого узнать не можешь. А в нем через столько лет узнал Ваньку Проклова... Почему так случилось? И главное-то — не поймешь, к добру или худу случилось... Тут со своей жизнью не знаешь, как совладать, дак еще ярцевская поперек дороги легла... Спуталось все. Не к добру, не к добру... И зачем он мне признался?»

После обеда он спустился в канцелярию и получил документы. В палату не стал подниматься на лифте — в нем всегда было многолюдно, а пошел по дальней лестнице.

Собрав в чемоданчик пожитки, облегченно вздохнул. В коридоре было пусто. Он заспешил к лестнице, и— надо ж случиться — навстречу ему попалась тетя Дуня. Он робко остановился.

— Уезжаю. Спасибо...

Тетя Дуня хотела пройти мимо, но все-таки задержалась.

— Желаю тебе хорошей жизни. Авось научишься ценить добро. — И добавила: — Только Ярцева я тебе не прощу...

— Ни в чем я не виноват. В милицию не бегал.

— Без нее шуму хватило.

— Вот уеду — и смолкнет.

— Легко беду забываешь.

— Зря вы... Оттого и страдаю, что память цепкая. Мне от нее покою нет. Изнутри жжет. — Лицо Федора вспыхнуло багровыми пятнами. Он растерянно потоптался и побрел к лестнице.

Уже в поезде, когда мимо окон поплыли дачные поселки, Федор порадовался, что вырвался из больницы. Какая-то разом возникшая сила не дала ему лечь и забыться в долгом сне, а приковала к окну, за которым была жизнь. Он не видел ее двадцать один год.

Молва о возвращении Крапивки тотчас облетела весь дом. В комнату, где он жил, набилось много народу. Всех поразило исцеление Федора. Поэтому больше всего расспрашивали о профессоре Ярцеве. Но о нем Крапивка говорил скупо, не вдаваясь в подробности. А обитатели дома без устали задавали вопросы

про операцию, про то, велика ли очередь в больницу. Интересовались, сколько надо платить профессору.

И тут Федор не сдержался:

— Это вы чего удумали?.. Зря!.. Никаких денег!..

Многие тоже почувствовали надежду, просили Крапивку написать профессору письмо, надеясь, что рекомендация Федора поможет.

Только к полуночи комната опустела. Крапивка стоял в коридоре и наблюдал, как расходились люди: кто-то шел, прижимаясь к стенке, многие тащились, постукивая палкой впереди себя, другие плелись, держась за руки.

Он плотно зажмурил глаза и с ужасом увидел себя среди этих людей, бредущих по коридору, и впервые после операции всем существом своим почувствовал, каким счастьем одарил его Ярцев.

С этой внезапной радостью он вернулся в свою комнату. Все здесь выглядело тускло: бледные желтоватые обои, подсвеченные маленькой лампочкой. По сторонам от окна стояли две кровати.

Неделю Федор занимался оформлением пенсионных дел и прикидывал варианты определиться на работу. Первый день войны застал его в цеху — он был дежурным электриком. Может, и теперь возьмут по специальности? Люди помогут, поучат. Главное решить: здесь оставаться или ехать в другое место.

Но его одолевали воспоминания.

...Тринадцатилетнего мальчишку пригласили в суд в качестве свидетеля.

За оградой сидели бандиты. Судья, пожилой, с короткой бородкой, задавал вопросы, а Федя, сжимаясь от горя и страха, путано рассказывал про то, что случилось, и про третьего бандита, что убежал. Он знал его. То был Ванька Проклов из деревни Михайловка. Потом кудлатый бандит доказывал, что стрелял Ванька, а не он. Судья подозвал Федю к столу и, показав несколько фотокарточек, спросил: «Кто из них Проклов?» Федя ткнул пальцем в ненавистное лицо Ваньки...

Крапивка мотнул головой, желая избавиться от тяжких воспоминаний, но лицо Ваньки снова возникло перед ним. Тогда Федор вскочил с кровати и подошел к распахнутому окну, за которым начинала таять ночь.

— Нет, надо уезжать... — сказал себе он и вышел в коридор.

На столе дежурной по этажу лежала стопка писем. Крапивка глянул на них и вдруг увидел свою фамилию. «Кто же это?» —

подумал он. Обратный адрес не был указан. Крапивка вынул письмо. Покачнулись, запрыгали строчки. Смазались. Неужели опять слепота?

Он испугался, даже тронул пальцами глаза. Ему было невдомек, что все от волнения. И читать он начал с трудом, постепенно смыкая слова в строчку и не сразу улавливая смысл... Все было впервые. Он глянул на подпись. В конце страницы стояло: «Твой фронтовой друг комбат Серафим Лучко».

Крапивка ухмыльнулся: он до сих пор таил обиду на комбата.

«Здравствуй, Федор Назарович! Попроси человека, который будет читать тебе это письмо, — пусть не торопится, здесь каждое слово важно. Иначе, боюсь, ты не поймешь, и останусь я перед тобой свинья-свиньей, а то и хуже».

Крапивка, укорив себя за ухмылку, снова порадовался, что не надо никого просить читать.

«Долгое время я ждал ответа на мое письмо, но не дождался, — читал Крапивка. — Очевидно, ты обиделся за свою неудачную поездку в Москву. Конечно, ты вправе обижаться. А было так. За два дня до твоего приезда умерла моя мать, и я улетел в Красноярск, на похороны. Ключи от квартиры оставил племяннику и строго наказал, чтобы он тебя встретил и повез ко мне. Но восьмого мая он набрался с друзьями и весь день девятого дрых, забыв все на свете. Досталось ему, подлецу, от меня. Так что, Федор Назарович, извини, если можешь. Пишу второй раз, может, первое письмо не попало к тебе. Сейчас я приболел. После смерти матери худо мне, худо. Может, надумаешь, приезжай. Пока живы — надо встречаться».

Крапивка вновь прочитал письмо. И к грусти, навеянной бедой комбата, прибавилась тихая благодарность другу, который не забыл его. Обида, боль и сомнения уходили.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Ярцев сидел на берегу реки. Вечерело. Он смотрел на красный шар солнца, который медленно опускался за горизонт. Совсем неожиданно, против воли вспомнил, как впервые увидел свою Елену.

Был теплый осенний вечер... Ярцев пришел в почтовое отделение, чтобы купить талон на телефонный разговор. В просторном, хорошо освещенном помещении, кроме него, было несколько мужчин, отправлявших телеграммы. За овальным столом с

закапанными чернильницами сидела девушка. Что-то записывала в тетрадь. Перед ней лежала раскрытая книга.

Купив талон, Ярцев не торопился уйти. Торчал у окошка, где сдавали телеграммы, и оттуда поглядывал на девушку. Расположившись, словно у себя дома, она спокойно и независимо занималась своим делом. Все писала, писала... Вряд ли она сочиняла письмо. Зачем тогда раскрытая книга?

Настенные часы показывали четверть десятого. В одиннадцать почта закрывалась. Уже последний мужчина расплатился за телеграмму, и Ярцев понял, что пора уходить. Но уйти не мог. Тогда сообразил: надо взять телеграфный бланк, а лучше — два, сесть за стол и сделать вид, что мучаешься над текстом.

Девушка никак не отреагировала на его соседство. А он беспокойно озирался на нее — ведь оставалось уже несколько минут. И вдруг она спросила:

— Простите, вы случайно не знаете, что такое эманация памяти?

— Случайно знаю... Это когда долго помнится запах, возрождающий картину, эпизод прошлого.

— Спасибо... — И тут же спохватилась: — А это точно?

— Вполне. Почему вы здесь изучаете эти вопросы?

— Просто негде. В общежитии шумно. А тут вечером почти никого. У меня сессия на носу.

Он смотрел, как ярко синели ее глаза, когда она поворачивалась к свету.

Через год играли свадьбу...

— Вот вы где прохлаждаетесь, — сказал Хромов, найдя Ярцева. — А мы всполошились. Нет вас и нет. Останин даже к реке побежал... Устали? Может, чайку с медом попьем?

— Я посижу еще, — ответил Ярцев.

«Я не имел права жениться. Мне нельзя было иметь семью».

Категоричность суждения можно было смягчить и перевести в вопрос. Но Ярцев сознательно твердил себе это — он слишком любил жену, чтобы сейчас щадить себя и оправдывать. Осенью сорок седьмого года Ярцевых стало двое: он и Елена.

Любовь завязывалась осторожно, медленно. Порой от встречи до встречи проходили недели. Внезапное и все крепнувшее чувство, охватившее Дмитрия Николаевича, проверялось долго. Никто из них не торопил события, понимая, что время — их союзник.

Однажды они решили кутнуть — пообедать в «Арагви». Им повезло, был свободен столик в углу. Здесь было уютно.

Возник молоденький официант. Подавая карточку-меню, доверительно пообещал:

— Для вас все, что пожелаете. Даже «Хванчкара» есть...

Елена тогда спросила:

— Митя, если не секрет, отчего вы не женаты?.. Или в паспорте штампик о разводе?

Он знал, что рано или поздно возникнет такой вопрос.

— Посудите сами, — сказал он. — Работа на стройке. Койка в общежитии. Потом учеба. Рабфак. Институт. Районная больница. Через два года новая больница. И снова учеба. Курсы. А там четыре года войны. И вот мне уже скоро тридцать пять...

— Зато кое-что сделано для бессмертия, — подхватила Елена.

— Время бежит быстро. Не успел ни жениться, ни развестись.

— Вы так рассказали, будто заполнили анкету в отделе кадров. Все дотошно правильно. Но, кроме работы, учебы, была и другая жизнь. Неужели никто из женщин не нравился? Я, например, в институте умирала от любви к одному студенту. Была готова тащить его в загс. Но он утонул...

— Леночка... — Ему надо было погасить овладевшее им волнение. — У меня было по-другому... Поздно, в восемнадцать лет, пришлось рождаться как бы второй раз. Надо было наверстывать упущенное. Вот и зажал себя, оставив все на потом. А когда пришел с войны, опять все начинал заново... И житье, и работу.

Елена не обратила внимания на точно обозначенный срок второго рождения. У каждого по-своему складывается жизнь. Но он заметил свою оплошность и упрекнул себя за неосторожность. Хотя тут же подумал в оправдание, что многие люди говорят так же, есть даже поговорка про то, что человек рождается дважды... Когда участились их встречи и знакомство перешло в близость, Ярцев напрочь откинул от себя все прокловское. Он сказал себе, что получил право — и на войне, где не щадил своей жизни, и потом, на своей работе.

И все-таки страх не отпускал Ярцева. Ему казалось, что, расскажи он Елене обо всем случившемся, она не станет разбираться в психологических тонкостях и, не раздумывая, отвернется от него. Боясь потерять Елену, он и сказал себе — Проклова не было.

Столкнулись страх и совесть. Страх оказался сильнее. А совесть прикрывалась и тем еще, что все прокловские следы давно затерялись в болотах Полесья... Он — Ярцев.

Все было решено, взвешено. Только одного не взял в расчет Ярцев — что был тогда в избе паренек...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Когда Федор зашел в комнату заведующего домом инвалидов, то увидел незнакомого человека. Настороженно сказал:

— Просили прийти... Крапивка Федор Назарович.

— Здравствуйте, — приподнялся незнакомец и, протянув руку с сильными, просто-таки железными пальцами, представился: — Следователь по особо важным делам Вячеслав Александрович Ледогоров, из Москвы. — И показал красную книжечку с надписью «Прокуратура СССР». — Как себя чувствуете после операции?

— Нормально. Хожу без поводыря... — И торопливо, грубо спросил: — По какому делу я понадобился?

— Поговорим... Садитесь. — Вячеслав Александрович вынул из портфеля папку и, раскладывая бумаги, предупредил: — Разговор должен остаться между нами. Очень прошу это запомнить...

— Я заявлений не писал, — буркнул Крапивка.

— Я знаю, что вы ничего не писали.

— Кто ж донес?

— Почему донес?

— Ну, сболтнул я, было такое... Чего же вы дело заводите?

— В данном случае вы нам нужны как свидетель.

— А обвинитель кто?

— Если будут установлены факты, появится и обвинитель.

— Значит, я просто свидетель? — настойчиво уточнил Крапивка.

— Да... Я должен познакомить вас со статьей Уголовного кодекса... Ваш гражданский долг и обязанность правдиво рассказать все, что вам известно по разбираемому делу. Предупреждаю: за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний вы несете ответственность по статьям Уголовного кодекса. Поняли?

— Понял. — Крапивка несколько секунд размышлял: — Небось сам Ярцев сообщил?

— Он говорил вам что-нибудь?

— Приходил в палату. Говорил — сообщу в прокуратуру.

— О чем он хотел сообщить в прокуратуру?

— Как о чем? Дескать, он Проклов, а не Ярцев.

— Может, он хотел сообщить о чем-либо другом?

— Не знаю...

— В разговоре с вами он признавал себя виновным?

— Нет.

— А какие у вас основания считать, что Иван Проклов — это не кто иной, как профессор Ярцев?

— Я узнал его...

— Это еще не доказательство. Так ведь и я могу заявить, что вы Иван Проклов.

— Дак я увидел его и узнал! Понимаете, узнал!

— Для обвинения нужны факты... Когда вы потеряли зрение? Сколько лет прошло?

— Двадцать один год и шестьдесят семь дней.

— Всегда так точно запоминаете?

— На шестьдесят седьмой день после первой операции я узнал его... Проклова...

— После того как сняли повязку, вы видели в больнице других людей? Или первым увидели его?

— Да какая разница? Ежели я не ошибаюсь! А я не ошибаюсь!

Ледогоров приподнял голову и уловил недоброе выражение в глазах Крапивки.

— Как вы можете доказать, что Ярцев и Проклов — одно лицо? Кроме следов памяти, у вас есть конкретные убедительные факты?

Крапивка напряженно думал. У виска на бледной коже вздрагивала пульсирующая синяя жилка.

— Припомнили?

— Я могу рассказать, как все случилось. Ну, убийство это... И тогда, может, вы поверите...

— Слушаю.

Ледогоров уловил, что рассказ Крапивки лишен подробностей. Он охватывал событие в целом. Восприятие зафиксировало скорее итог происшедшего. Возможно, в ранние годы его память удерживала мелкие детали, но время выветрило их. Или сработала психологическая защита, своеобразный охранительный барьер.

Будучи опытным следователем, Ледогоров не упускал из виду эту особенность в показаниях Крапивки.

— Вы не помните, кто хоронил ваших родителей?

Вопрос озадачил Федора. В памяти остались только звуки чьих-то рыданий и негромкая молитва священника. Да еще два гроба.

Он сказал об этом.

— Как вы жили после гибели родителей? Кто вас приютил?

— Дядя. Захар Крапивка. Он с отцом не ладил. Жил отдельно, в деревне Черенки. Туда меня и отправили. — Федор

провел ладонью по столу. — Вспомнил. Захар Артемыч был на похоронах. Он и увез меня к себе.

— Никого из односельчан вы не встречали?

— Не довелось. Жил в детском доме. Потом поступил в ФЗУ. А оттуда попал на спичечную фабрику дежурным электриком. Там и призвали на фронт. Когда ослеп — не до розысков было.

— Вы встречались с Иваном Прокловым? До того дня...

— Как-то на пароме видел его.

— Фамилию паромщика не припомните?

— Нет. Федором его звали, как меня. А фамилии не помню.

— А еще Проклова встречали?

Крапивка рассказал историю с воздушным змеем, застрявшим на сосне.

Ледогоров вынул из портфеля карту, разложил аккуратно и крепко разгладил.

— Это карта района, где вы жили. Вот Михайловка.

— Мы на отшибе... Десять верст в стороне. Хутор Камыши.

Вячеслав Александрович склонился над картой.

— Зря ищете, — заметил Крапивка. — Это ж не военная карта.

— Не военная, но здесь все помечено.

— Как же вы догадались именно эту карту захватить? Ведь разговор про Михайловку только сейчас пошел.

— Здесь нет чудес, Федор Назарыч. В клинике есть история вашей болезни. Там и ваше место рождения указано. Район мне неизвестный, решил познакомиться... — И, ткнув пальцем в карту, сказал: — Хутор Камыши. Вот он! Обозначен.

— Надо же... — скупо улыбнулся Крапивка.

— В родных местах давно были?

— Как уехал к дяде — больше не бывал. А что, хотите наведаться? — сообразил Федор.

— Может случиться.

Ледогоров сложил карту, сунул в портфель. Тихо щелкнул замочек, блеснувший хромированной гладью. По всему было видно — разговор окончен.

— Завтра продолжим. Отдыхайте.

Вячеслав Александрович облачился в синий спортивный костюм с белой полосой вроде лампас и, перекинув полотенце через плечо, вышел из гостиницы.

Отсюда к реке сбегала лестница с тремя маршами. Берег был пустынный, только вдали у причала каменели у своих удочек рыбаки. Вячеслав Александрович, энергично прошагав ступень-

ки — их было восемьдесят семь, — ступил на хрустящий светло-желтый песок пляжа. Широкая река спокойно несла свои воды.

Лежа на песке, Вячеслав Александрович обдумывал вчерашнюю беседу с Крапивкой. Десятки дел, расследованных им, требовали от него установления истины. И конечный итог виделся ему в образе медали, у которой две стороны: правда-истина и правда-справедливость. Еще в университете он понял, что истину всегда можно восстановить. Это вопрос времени, старания и сообразительности. А вот со справедливостью дело сложней. Тут порой действует фактор необратимости. Когда он выявляется в судебной практике, все дело становится похожим на оборванную фразу с неожиданным многоточием. Случай с профессором Ярцевым — наглядное подтверждение. Истина-правда будет доказана, а истина-справедливость, отмеченная в приговоре, уже никогда не осуществится.

Вячеслав Александрович пытался понять душевное состояние Крапивки. В момент опознания Проклова он пережил потрясение. Затем началась внутренняя борьба, которая продолжается до сих пор. То слышны раздраженные заявления: «Я милицию не беспокоил... Не писал в прокуратуру», то сам собою, без понуканий звучит рассказ о бегстве Проклова с места преступления.

Ледогоров думал и о том, что жизнь сплела горе и радость Крапивки в один узел.

«Неужели ему станет легче жить, если Ярцев будет осужден? — думал Ледогоров. — Неужели еще одно горе позволит Федору Крапивке спокойно спать?»

С Крапивкой он встретился в его маленькой комнате.

— Я все думаю про наш разговор, — сказал Крапивка. — Разное у нас положение. Вы поймите: вам проще. Вы все время задаете вопросы, дорогой товарищ. В жизни это всегда выгодней. А я все время отвечаю. Я сейчас живу, как на перекрестке... Все сызнова начинать надо. И дом и работу. Думаете, легко? Я к тому толкую, что я, конечно, пострадавший, но совесть-то должен иметь. Не понравилось вам, что у меня точный счет — двадцать один год и шестьдесят семь дней...

Ледогоров хотел ответить, но сдержался, не стал перебивать.

— Вот я, к примеру, полжизни под горем ходил. Да разве ходил? Ползал стоя, как все слепые. И еще я так думаю: иногда вопросом можно человека сшибить. Я знаю, дело ваше служебное, казенное. Но понимать должны? Верить должны?

— Насчет моей позиции вы, думается, не очень удачно выразились, — сказал Ледогоров. — И про вопросы тоже. Мое

служебное положение обязывает докапываться до истины. Сами понимаете, главное средство добыть ее — проникнуть в суть дела. И без вопросов не обойтись. Иногда после сотни вопросов возникает один ответ, самый важный. Он-то и приближает к истине.

— Интересно говорите, — заметил Крапивка. — Только я не про службу вел речь. Про свое положение. Жить-то мне как? Свою память глушить? Она наотрез не отступается от того, что знает!

— Запоминаешь ведь не только то, что любишь, к чему привязан. Чаще наоборот. Вот и у вас такое. Но на минутку поменяйтесь с Ярцевым, и вы, если доверитесь только памяти, сразу почувствуете свою беззащитность.

Лицо Крапивки застыло в недоумении. Он снял очки и долго протирал стекла мятым платком.

Ледогоров вынул из папки протокол допроса и сказал:

— Прочтите, пожалуйста, и подпишите.

Крапивка подтянул к себе листы бумаги и, не глядя на них, постукивал пальцами по столу. По лицу было видно, что он чем-то озадачен.

— Прочтите, — напомнил Вячеслав Александрович.

Коротко вздохнув, он надел очки и стал читать.

— Подписывать не буду.

— Что-нибудь искажено? Записано не так, как вы говорили?

— Претензий не имею. Ну, в смысле записи...

— Тогда в чем же дело?

— Во мне! — Крапивка вдруг поднялся. — Я смерти его не хочу!.. — И твердо повторил: — Не хочу!

— По истечении пятнадцати лет смертный приговор не может быть применен к осужденному, — сказал Ледогоров.

— Не в том дело! Как я жить-то смогу! Как?!

— Может быть, вы усомнились в своих показаниях? Не убеждены, что он Проклов! Произошла ошибка?

— Не было ошибки! — воскликнул Крапивка.

Ледогоров заметил, что лицо Крапивки зарделось и лоб покрылся испариной.

— Может, вам лучше прилечь?

— Не время...

Крапивка достал из шкафчика старенький чемоданчик, отщелкнул запор. Вынул папку, полистал какие-то бумаги, поглядел на облигации давних лет. И уж потом, взяв серенький конверт, захлопнул чемоданную крышку. Движения его были мед-

ленные, лицо дергалось. По всему было видно, что он, охваченный сомнением, никак не может отважиться на какой-то шаг, имеющий для него важное значение. Наконец Крапивка открыл конверт и положил на стол фотографию с пожелтевшими краями.

— Вот смотрите, — вздохнул он и зачем-то смял конверт в серенький комок.

Ледогоров пристально поглядел на снимок. Он увидел лицо женщины с платочком, низко покрывавшим голову, а рядом был удивительно похожий на нее парень.

— Кто это?

— Это... — Крапивка запнулся и, стиснув комочек конверта, тихо произнес: — Ванька Проклов.

— Откуда фотография? Вы уверены, что это он?

— А вы прочтите... Там и надпись есть.

Ледогоров перевернул снимок и увидел блеклые строчки: «Федя. Это Проклов Ванька. Получено от суда. Не забывай. Дядя Захар».

— Почему вы раньше не показали фотографию? — спросил следователь, все еще вглядываясь в лицо парня. — Это вещественное доказательство. Мы об этом говорили с вами, Федор Назарович.

— У вас свой расклад. А у меня свой.

— Расскажите, как попала к вам фотография.

— Поначалу я жил у дяди Захара, а после в детском доме. Пришел туда с котомкой, теперь и не припомню, чего там лежало. Только знаю, пакетик был, в газету завернут. Там справка из суда и фото. Дядя мне наказывал, чтоб берег. Вот и сохранил... Бывало, нет-нет, да и открою пакетик, взгляну на Проклова... Потом война. Ослеп. Так и лежал пакетик нетронутый... Двадцать один год был Проклов в темноте. А лицо его я всегда помнил. Потом, значит, съездил в Москву. Операция эта. Вернулся. И поверите, будто толкнуло меня к чемоданчику. Открыл. Опять увидел его. Через месяц — вторая операция... Остальное вы знаете...

— И все-таки — почему отказываетесь подписать свои показания?

— Не могу... Поистине не могу... Вы вспомните, как я слепой по свету бродил... И вот теперь я зрячий. Кто он мне? Что я ему? Он смог, а я? Я кто? От слов своих не отказываюсь. Но подписи моей на вашей бумаге не будет.

Слушая Крапивку, Ледогоров чувствовал, что и сам волнуется. На его глазах одолевалось, казалось, непреодолимое горе.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Елена Сергеевна подошла к дому, толкнув, отворила калитку. Невидимый колокольчик известил о приходе гостя.

— Кто там? — отозвался Хромов из глубины дворика.

— Это я... Здравствуйте, Афанасий Мироныч, — откликнулась Елена Сергеевна.

— Не узнаю... — И, шагнув навстречу, радостно воскликнул: — Вот это новость! Здравствуйте, Елена Сергеевна! Как же вы пешком! В такую даль... Вот... И Дмитрий Николаевич ничего не сказал... Спит еще... Пойду разбужу.

— Не надо.

— Ну, пусть отдыхает. В полночь заснули. Все на бережку разговор вели... Я вас молочком парным угощу. Небось отвыкли?

— Я корову только по телевизору вижу... Как живете?

— Все у нас хорошо, — сказал Хромов. — И Дмитрий Николаевич вроде чуть отдохнул, посвежел. Это очень правильно, что вы приехали. Часто он про вас вспоминает, скучает.

— Останин тоже здесь?

— Как поднялся — в район двинул. С кем-то в Москве поговорить надо. Обещал за продуктами сходить... Он за Дмитрием Николаевичем как за дитем ухаживает. — В глазах Хромова светилась детская радость.

Как раз в это время на крылечко вышел Дмитрий Николаевич.

Ярцев, увидев жену, громко вскрикнул:

— Лена!

Елена Сергеевна кинулась к нему.

— Как же ты догадалась приехать? Умница моя! — Он не выпускал ее рук. — А почему сердце стучит? Что-нибудь случилось? Что с Маринкой?

— Все в порядке... Лучше скажи, как ты?

— Ну, располагайтесь, а я буду завтрак готовить.

Елена Сергеевна очень старалась держаться непринужденно. Ей важно было подчеркнуть мотив своего приезда: соскучилась, и все. Но она видела на лице мужа тень подозрения, а может быть, и скрытого недовольства.

«Неужели я должна маскировать свою тревогу, должна притворяться? Неужели между самыми близкими людьми не может быть откровенности, естественности? — думала Елена Сергеевна. — Господи, у него совсем седые виски...»

С реки донесся гудок парохода, всколыхнул утреннюю тишину.

— Ты прости, Митя... Я, наверное, глупо поступаю, что говорю об этом. Но меня мучает беспокойство. Я чего-то боюсь.

— Чего?

— Не знаю. Порой места себе не нахожу. Ты не сердись, я ничего не могу поделать. Это внутри меня. С того дня, как я вернулась из Ленинграда, меня преследует страх. — Щеки Елены Сергеевны стали бледнеть.

Ярцев понял, что ему следует осторожно реагировать на каждое ее слово, чтобы не выдать себя.

— О каком страхе ты говоришь? — почти весело спросил он.

— Не знаю, не знаю! Но вот... Хотя бы твой отпуск... Вдруг...

— Разве это причина для тревоги? Отдых — и только.

— Хорошо! Продлевай отпуск хоть еще на три месяца! Ты много работаешь, устал. Но все-таки почему такая внезапность?

Ярцев отошел к двери, словно уклоняясь от ответа. Но тут же почти непринужденно пояснил:

— Взял и поехал. Видишь, живой, все в порядке...

— Я сдавала вещи в чистку. Взяла твой серый костюм. Он почему-то висел на крючке за дверью, а не в шкафу... В пиджаке лежали железнодорожные билеты. Оказывается, ты ездил в Трехозерск!

Он опять неловко улыбнулся.

— Послали. Срочно. Я не мог отказаться.

— Понимаю, понимаю, — сказала она, но тут же спросила: — Но ведь всю жизнь ты оставлял мне записки! Почему же...

— Я знал, что успею съездить до твоего возвращения.

— Была у нас тетя Дуня. Помогла убрать квартиру...

Ярцев вздрогнул и едва сдержал себя. Но улыбка уже не давалась ему, губы не слушались.

— Ты ведь знаешь, тетя Дуня всегда рассказывает больничные новости, — продолжала Елена Сергеевна. — Но в этот раз... Что-то несусветное... Как будто один из больных, прозрев, узнал в тебе убийцу его родителей! Что за бред?

Ярцев зачем-то взглянул на часы, тоненькая стрелка отщелкивала секунды, и он подумал — все. Сейчас — взрыв.

За всю жизнь, что они прожили вместе, они никогда так не смотрели друг на друга.

— У нас не получается разговора, Митя. Ты говоришь неправду. Ты никогда не умел лгать, Митя.

— Успокойся, Лена! Тебе нужны силы... Отчаянные, неимоверные. Я не знаю, что ты скажешь потом. Я не связываю тебя

никакими обязательствами. Ты вправе принимать любые решения. Слушай...

Когда вечерняя заря завладела небом, Ярцев все еще видел себя в ночи на груженной бревнами платформе. Потом, черный от угольной пыли, он откажется от своего имени, назовется Ярцевым. А вербовщик с далекой стройки обрадуется новичку и, послюнявив чернильный карандаш, впишет Ярцева в школьную тетрадку, где на синей обложке с масляными пятнами было напечатано: «Ученье — свет, а неученье — тьма».

— Не надо больше, Митя, не надо, — дрожа от озноба, сказала Елена Сергеевна. — Я не могу...

Во дворике, у летней кухни, Останин раскладывал покупки, которые привез из райцентра в большой корзине.

— Боже, какой нежданный гость... Здравствуй, Леночка.

— Здравствуй. Ты давно приехал?

— Только-только. Ночевал в районе... Митя сказал тебе что-нибудь?

— Да.

— Что?

— Все.

— Это много. Я бы не стал тебе рассказывать.

— Почему?

— Сердце часто не выдерживает. Боюсь, как бы вы не открыли фамильный лазарет. Будь моя воля, я бы увез его не сюда, а в Антарктиду. Пусть бы общался с пингвинами... Я слышал, у онкологов есть неписаный закон: диагноз сообщают самому здоровому из ближайших родственников. И это правильно, Лена.

— Меня ты исключаешь?

— Имел такое намерение. Я бы пощадил тебя, Лена.

— Скажи, Андрей, почему ты сам остался наедине с его горем? Митя рассказал мне... По какому праву? Ты не из самых здоровых людей и в родстве не состоишь.

— Леночка, друг ты мой любимый. После сорока лет у человека все меньше друзей и все больше болезней. Мы стареем, а сердце исподволь ведет отбор среди друзей, товарищей, приятелей, сослуживцев, знакомых, коллег, соседей... Разные есть человеки. Одни — не поймешь кто. Другие, они самые страшные, — те, у которых осторожность — родная сестра трусости. Тут кончается совесть. Поверь, хочется всегда оставаться человеком. Неприбыльное это дело, но очень приятное. Всегда.

— Значит, я должна ждать развязки этой страшной истории?

— Твой подвиг в другом.

— Уехать к пингвинам?

— Постараться жить так, чтобы у Марины ни разу не возник вопрос: «Мама! Что с тобой происходит?»

— А вдруг я не смогу...

— Тогда в лазарете может появиться третья койка...

На следующий день Елена Сергеевна поднялась к Останину в светелку, сказала:

— Я хочу уехать, Андрей...

— Почему?

— Ему стыдно глядеть мне в лицо. Я представляю, какие муки он переносит.

После обеда Ярцев и Останин отправились побродить по лесу. Вернувшись, Останин поднялся в светелку и увидел записку: «Андрей, оставляю письмо. Передай. Не говорю спасибо. Знаю, что остервенеешь. Лена».

Останин посидел немного, держа письмо в руке. Оно казалось ему тяжелым. Он вздохнул и, позвав Ярцева, передал конверт.

— Я знал, что она уедет.

«Митя! В этом письме не ищи моих оправданий. Их нет. Я с треском провалилась. Хлипкая, слабая, я скрылась, чтобы слезами не оскорбить тебя, — читал Дмитрий Николаевич. — Я знаю, мы думаем об одном и том же, Митя. У меня хорошая память. Потом я тебе все расскажу. Потом... Это прекрасно, когда у человека есть потом».

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Зоя Викторовна Кравцова вторую неделю находилась в Москве и не торопилась с отъездом в Челябинск. Только что исполнилось два месяца, как умер Родион Кравцов. При мысли, что она одна вернется в пустую квартиру, где на каждом шагу все напоминает о смерти мужа, ей становилось невыносимо.

На другой день после «сороковин» Зоя Викторовна улетела в Москву к двоюродной сестре. Здесь все были заняты годовалым внуком. И в заботах о нем боль становилась глуше.

Сейчас она сидела в квартире Ярцевых и разговаривала с Еленой. Сюда она пришла не потому, что тогда, в Челябинске, получила приглашение. Незадолго до кончины Кравцов начал писать письмо Дмитрию Николаевичу. Не успел дописать. Так и осталась нетронуто-белой половинка страницы. И эта мертвая белизна казалась сейчас траурной.

— Вот, пожалуйста. — Она передала письмо Елене Сергеевне.

Елена Сергеевна держалась молодцом, но все-таки руки затряслись. Она прижала ладони к столешнице.

Зоя Викторовна заметила это.

— Вы неважно себя чувствуете?

— Нет, нет, — всполошилась Елена Сергеевна. — Будем пить чай. С ореховым вареньем. Я быстро, мигом...

Она вернулась, неся на ярком подносе чай, варенье, вазочку с печеньем.

— Попейте горяченького!..

А сама все боялась, все не могла взяться за письмо.

«Уважаемый Дмитрий Николаевич! — писал Кравцов. — Прошло немало времени с тех пор, как я пришел к вам в надежде встретить парня, который спас меня. Но, видимо, память моя зафиксировала только эмоциональную сторону события. У меня не было точных сведений, исключающих возможность ошибки. Конечно, я рассчитывал на вас, на вашу память. Для меня это играло, я бы сказал, решающую роль. Но, к сожалению, ничего подобного не произошло. Вы говорили тогда, что у вас нет оснований отрицать свою причастность к данной истории, ибо она характеризует вас с лучшей стороны. Вы были, конечно, правы. Тем более про случай, где вы проявили малодушие, вы рассказали сами честно и подробно. Таким образом, я стал перед необходимостью подвергнуть свою версию тщательной проверке. Сами понимаете, эта акция носила очень личный характер, но, подчеркиваю, была для меня крайне важной. Но я все-таки не верил, что ошибаюсь. Не верил даже после встречи с вами.

Я советовался с психологами, рассказывал про этот факт. И узнал кое-что любопытное. Случаи, когда человек забывает происшедшее с ним событие, где он проявил себя героически, встречаются. Причина неожиданная: болезнь. И называется она — фактогенная амнезия. (Амнезия: потеря памяти, по-гречески.) Убежден, вы сами знаете, но это важно для моих рассуждений. Мне объяснили, что человек отталкивает от себя все связанное с отрицательными воспоминаниями.

Позвольте, возразил я, здесь же положительная реакция! Поступок, отмеченный добром!

Значит, ответили мне, этому поступку предшествовала сильная отрицательная эмоция. Отталкивая ее от себя, больной невольно прихватывает смежный отрезок жизни.

Любопытно, не правда ли?

Это, пожалуй, наиболее вероятное объяснение случившегося.

И только вам известно, была ли у вас эта отрицательная эмоция.

Теперь о главном.

Вы, может быть, знаете, что по инициативе Горького начали создавать книги по истории фабрик и заводов. В 1932 году была попытка написать историю нашего Тракторного. Собрали много материалов, но работа над книгой прервалась. Мне удалось установить, что некоторые материалы сохранились в архивах. И вот нам повезло. Случай, происшедший в пятом бараке, был подробно описан. В докладной на имя секретаря парторганизации зафиксировано вот что: «Мужественно проявил себя молодой землекоп Д. Н. Ярцев, который бросился спасать секретаря партячейки участка Кравцова». А в архиве прокуратуры я обнаружил донесение о враждебной вылазке в пятом бараке, где тоже указывалось...»

Дальше строка обрывалась.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Чиркнула спичка, и огонек осветил лицо Ярцева. Закурив папиросу, он глубоко затянулся и снова откинулся на подушку. Рядом, на другой кровати спал Останин.

Ярцев хотел принять еще одну таблетку снотворного — после первой он спал всего три часа, — но передумал, решив, что встанет с первой зарей и уйдет на реку.

Непрерывно роились воспоминания, неожиданно появляясь и столь же внезапно исчезая. Видно, утомленный мозг накрошил их на ночь побольше, чтобы было чем заполнять пустоту бессонницы.

Докурив папиросу, он потянулся за новой. Но, вынув ее из пачки, не стал зажигать, а только пальцами помял табак.

Он вспомнил профессора Русакова, своего любимого наставника.

Недавно исполнилось десять лет со дня его смерти. В день печальной даты Ярцев побывал на кладбище.

Две березки затеняли маленький холмик с надгробием.

«Почему у людей, приходящих к могилам родных и близких, как бы происходит самоочищение? — думал Ярцев. — Может, потому, что здесь всегда монолог, никто не способен возразить, поправить, уточнить? Здесь теплится надежда, что грех будет понят и прощен... — При жизни профессора Ярцев обращался к нему на «вы». Теперь он говорил ему «ты». — Я не знаю, что бы ты сказал, узнав про мою беду. Ты бы, конечно, напо-

мнил, что лучшая подушка — чистая совесть. Ты говорил: «Жизнь — это всегда быть в пути». Ты знал, сколько я прошел, но не знал, откуда и как я начал свой путь. Ты часто повторял: «Когда тебе плохо, не выходи на улицу». Мне плохо. Поэтому я пришел сюда, к тебе. Прости меня. Может, тебе легче будет это сделать, если я поклянусь, что нет на мне крови. Прости, Ярослав Леонидыч. Ты предрекал мне удачу, веря, что ученик не посрамит учителя. Помнишь, ты советовал: «Будешь подниматься по ступеням вверх, постарайся не греметь каблуками». Я старался. Но теперь я рухнул и качусь вниз... И все услышат грохот моего падения...»

Солнце еще не пробилось сквозь предрассветную дымку, и роса, похожая на ртутные шарики, лежала, не скатываясь, на травах.

Ярцев, откинув одеяло, тихо оделся и вышел из комнаты. Он спустился к реке.

Шурша песком, подошел Хромов.

— Так дело не пойдет, — ворчливо заявил он. — У людей ночь для отдыха, а вы, Дмитрий Николаевич, речку сторожите. Будто ее черти выпьют. Хватит! На ночь станете мед пить, да мы туда еще для крепкого сна подбавим травки. От ваших таблеток проку нет.

Ярцев молча выслушал сердечный разговор Хромова и покорно сказал:

— Как прикажете, Афанасий Миронович.

— Пошли завтракать, — сказал Хромов. — Вам письмо...

«Здравствуй, Митя! — строчки были написаны размашисто, торопливо. — Целую вечность не беседовала с тобой. Даже не знаю, смогу ли обо всем написать. Хочу отправить письмо немедленно.

Тебе надо ехать в Берлин. Важное, неотложное дело!

Сегодня утром звонил профессор Вальтер Грюнвальд. Я сказала, что ты в отпуске. Спрашивал, когда вернешься. Тебя приглашают к ним в клинику. Предстоит сложная операция. Так он сказал. Тебя ждут. Операция намечена на двадцать первое августа. Что мне ответить?

Если сможешь, позвони. Если трудно, пришли телеграмму.

По-моему, Грюнвальд бывал в Москве. И ты встречался с ним. Помнишь, рассказывал его присловье: «Я вас лублу, а вы ничего»?

Хотела закончить письмо, но уж ладно, открою секрет. Каждые три дня Андрей присылает мне открытку. В ней ровно пять строк. Но информация емкая. Пишет он мастерски.

Митя, прошу тебя, не проговорись, иначе пропадет мой един-

ственный источник информации. Конечно, если тебе захочется поблагодарить друга — можешь разоблачить меня. Надеюсь, у Андрея хватит доброты, чтобы продолжать начатое.

Получили письмо от Скворцова. Сейчас он отдыхает на озере Иссык-Куль. Спрашивает: есть ли у нас желание посмотреть это дивное место? Если хотим, то можно организовать поездку. И еще он признался, что написал занятные воспоминания о людях дивизии, где, между прочим, несколько страниц посвящено Дмитрию Ярцеву.

В историко-архивный огромный наплыв. Четыре человека на место. Марина прошла собеседование. Но поступит ли — неизвестно... Расписалась, пора остановиться.

Митя! Родной мой! В последнее время я часто произношу слово «надеюсь». Так вот, я очень надеюсь, что все будет хорошо. Как сказал Леонардо да Винчи: «Где умирает надежда — обязательно будет пустота». Сердечный привет Андрею и Хромову. Целую. Елена».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

На полустанке Голубичи поезд останавливается всего на минуту и, распугав лесную тишину железным звоном, торопится дальше. Отсюда до деревни Михайловки семь километров. Ледогоров не стал дожидаться оказии, а пошел пешком и был доволен: в Москве такие маршруты — мечта. Туристы за них деньги платят.

На постой его определили в дом учителя Шкапича. Седая голова, редкие белые брови на бледном с розоватыми прожилками лице подчеркивали почтенный возраст Шкапича. До семидесяти лет он не покидал школу, а ныне пенсионер. Но все люди по-прежнему зовут его учителем.

В места эти Вячеслав Александрович попал впервые и знал про них мало. И Шкапич рассказывал гостю о прошлом Полесья, которое до революции считалось гиблым болотным краем. В те времена крестьян Полесья называли полешуками. Каждый клочок земли, отвоеванный у болот, был полит слезами. Люди собирали мизерные урожаи, страдали от злых лихорадок и болезни колтун. Только здесь гнездился колтун, и нигде больше. В неурожайные годы люди покидали обиженную богом землю, хоть и была она родиной...

Советская власть повела наступление на топь, накапливала плодородную силу на осушенных полях. А потом лихолетье войны снова обескровило край.

Шкапич называл выжженные и затопленные районы, и губы его тряслись мелкой дрожью.

А на другой день в сельсовете Вячеслав Александрович узнал, что жену партизана Шкапича повесили немцы. И председатель сельсовета намекнул гостю, что, мол, не следует с ним говорить о войне, после этого болеет учитель. И еще председатель огорчил Вячеслава Александровича, сообщив, что есть только трое односельчан из числа тех, кто жил здесь в тридцатом году. Сам он приехал из другого района и про убийство на хуторе Камыши ничего не слышал.

— Как помочь вам, право, не знаю. К вечеру те трое придут сюда. Да, есть еще один человек, — неожиданно оживился председатель. — Петро Хрипич. Он в те годы в районной милиции работал. Может, позвать? Он тут недалече. В колхозе «Победа».

— Пригласите, пожалуйста.

— А может, фотокарточку того гражданина повесить на доску? Вот здесь, у сельсовета? Кто узнает — отзовется. По этому шляху многие ходят, — предложил председатель.

Вячеслав Александрович хотел сказать ему, что опознание ведется другим путем, но ответил неопределенно:

— Подумаем, как поступить, подумаем.

Первым в сельсовет пришел Хрипич. Он посмотрел на мальчишеское лицо Вячеслава Александровича и удивленно покачал головой.

— Такой молодой, а уже прокурор в Москве?

— Следователь, — поправил Вячеслав Александрович.

— О чем будет разговор?

— Очень важный, — сказал он. И, сообщив, что председатель и секретарь сельсовета являются сейчас понятыми, продолжал: — Вы слышали что-либо про убийство на хуторе Камыши? Летом тридцатого года?

— Сразу и не припомнишь. Тогда было много хлопот у милиции. Неспокойный год. Климовича, председателя колхоза, топором зарубили. Это помню. Я бандюг в район привез. Но Климовича гады настигли в правлении. Это не в Камышах. — Он посидел, подумал. — Там вроде тихо было. Назар Крапивка не любил шума...

Услышав фамилию Крапивки, следователь насторожился, спросил:

— А Проклова знали?

— Проклова? А как же? — неожиданно подтвердил Хрипич. — Нескладный был мужик. Перекати-поле...

— С костылем ходил. Так рассказывают, — уточнил Вячеслав Александрович.

— Да плюньте им в глаза, товарищ следователь.

— Вроде правая нога до колена была ампутирована, — продолжал Вячеслав Александрович и, раскрыв папку, вынул пять фотографий, среди них две Ярцева: одна — взятая у Крапивки, другая — прошлогодняя. — А эти люди вам не знакомы? Приглядитесь...

Хрипич взял фотографии, отошел в дальний угол комнаты и уставился на лица. Он долго вглядывался, по-всякому вертел фотографии, временами оборачиваясь на притихшего Вячеслава Александровича. Наконец вернулся к столу и решительно сказал:

— Чужие люди. Не знаю. Врать не буду. И Проклова тут нет. У Проклова не глаза, а одни щелки от пьянки были...

Через час Вячеслав Александрович снова сидел в сельсовете, и трое односельчан — в присутствии понятых — держали фотографии и сверлили их слабыми глазами.

— Значит, надо сказать, кто это? — уточнил свою задачу рыжебородый счетовод Игнатюк.

— Правильно, — подтвердил следователь. — Никого не признали?

— А кто его знает? Скажешь, а потом что не так, тебя же и привлекут.

— Про то убийство, что вы говорили, ничего больше не известно? — спросил худой бритоголовый ветеринар.

— Кое-что известно, — односложно ответил следователь.

— Узнал! — неожиданно воскликнул старик Трегубович. — Он, ей-богу, он! Узнал. Это Данила Суровегин. Они рядом с нами жили. У ближнего колодца. Угадал или нет?

— Нам гадать нельзя. Нам нужно точно знать.

— Я верно говорю: Данила.

— Спасибо. А вы? — Он обратился к стеснительному щуплому мужичку. Тот сидел у окна и зачем-то смотрел фотографии на просвет.

— Думаю.

— Думать не след... Вспоминать надо! — посоветовал председатель.

Прошло еще несколько минут, и стеснительный мужичок убежденно произнес:

— Люди не из нашей деревни. У нас таких не было.

— Выходит, никто не признал, — подвел итог председатель. Ему было неудобно за односельчан, он смущенно потирал подбородок.

Вячеслав Александрович поблагодарил всех, аккуратно сложил фотографии в папку. И стал ожидать Шкапича.

— Что-то знакомое в этом лице, — Шкапич всматривался в снимок, зачем-то откидывал седую голову и шепотом называл разные имена, подсказанные усталой памятью. И опять сказал: — Черты знакомые, а кто, не назову.

— Попробую вам помочь. В тридцатом году на хуторе Камыши убили мельника и его жену. Не припоминаете?

— Это когда бандиты скрылись?

— Да.

— Один из них?

— Третий, который бежал.

— И здесь его фото? — Учитель кивнул на снимки.

— Возможно. Это надо установить.

— Столько лет прошло. Трудно. В двадцать девятом году меня лихорадка замучила. Мы с женой к ее родне поехали в Тамбов. Там два года прожили. Потом домой потянуло. Как вернулись, слышали про эту историю. Задачка... Постойте, а как же фотография? Значит, третий пойман?

— Нет, есть подозрение. Необходимо опознание. Доказательство.

— Допустим, я бы назвал его фамилию — вас бы это устроило?

— Конечно. Опознание свидетеля — важный факт.

— Право, не знаю. Как бы беды не натворить. Я еще подумаю.

Вячеслав Александрович не стал больше беспокоить учителя и вышел на улицу. Небо пылало от вечерней зари. В Москве ее не увидишь. В Москве солнце садится за частокол панельных башен.

Окончание на стр. 193.

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

ЖУРНАЛ
В
ЖУРНАЛЕ

ПОВАРИШ

LENIN

Антс СААР

МОЯ ЭСТОНИЯ

Труднее всего писать о стране, где ты родился и вырос, где перед тобой открыты все пути и где так много друзей, достойных поэмы или романа. О стране, которую ты любишь. Всегда, говоря о Родине, думаешь о том, как полнее выразить свою глубочайшую любовь...

Лет сорок назад один эстонский литератор пытался объяснить кому-то за границей, что за страну он представляет.

— Как, вы говорите, она называется? — переспросил его собеседник. — Исландия?

— Нет, Эстония. Маленькая республика на восточном побережье Балтийского моря.

— Ага, понятно. Значит, вы русский писатель?

— Нет, эстонский. Эстония — одна из Прибалтийских республик.

— Тогда я о ней слышал. Ее столица — Рига.

А сегодня, едва сказав кому-нибудь за рубежом об Эстонии, сразу слышишь в ответ:

— О, я знаю. Таллин! Старинный город, единственный в своем роде. Он очень похож на Прагу...

Или еще:

— Эстония, Таллин! Как не знать! Ведь там в восьмидесятом проходила олимпийская регата.

Вот уже три десятилетия я живу в Старом городе Таллина и что ни день, то открываю для себя в нем что-то новое. Лабиринт узких улочек, где подчас не разойдутся два человека. Детали, не замеченные раньше, неожиданно всплывают перед глазами — изящная деревянная резьба, лепное украшение, флюгер, кованая дверная ручка... Это тот своеобразный язык, с помощью которого Старый город повествует о своей многовековой истории.

История эта, как, впрочем, история всей республики, полна драматических страниц.

С древнейших времен мой народ вел неравную борьбу с иностранными захватчиками — с немецкими псами-рыцарями, с датчанами и шведами. Объединение с Россией принесло Эстонии защиту от иноземцев, но был другой враг — царское самодержавие, — главный враг не только эстонских, но и русских рабочих и крестьян. Вместе с русскими, украинцами, белорусами, со всеми угнетенными народами России эстонцы вступили в борьбу с царизмом. Примечательно, что знаменитая стачка 1872 года на текстильной фабрике в Кренгольме явилась первым массовым выступлением российского пролетариата. И впервые именно тогда, в дни стач-

ки, было выдвинуто требование о сокращении рабочего дня... Тысячи эстонских рабочих принимали участие в революции 1905—1907 годов.

А после победы Великой Октябрьской социалистической революции наши рабочие и крестьяне, руководимые большевиками, создали Эстляндскую Трудовую Коммуну — первое суверенное государство Эстонии. На знамени коммуны — ныне священной для каждого эстонца реликвии — начертано: «На баррикады, эстонский пролетарий, за Советскую Эстляндию, великую Волгу, Урал, Сибирь во имя III Коммунистического Интернационала». Коммуна просуществовала всего несколько месяцев, она пала под напором международных карателей и внутренней контрреволюции, но ее высокие идеалы жили в сознании народа и вдохновляли его на борьбу за новую жизнь, за восстановление Советской власти.

Сокровенные чаяния эстонских рабочих и крестьян осуществились в 1940 году, Советская Эстония вошла в состав Союза Советских Социалистических Республик. А через год грянула война...

Более трех четвертей национального дохода республики идет на фонды потребления, а следовательно, на повышение благосостояния народа. Эстонцы, как и жители других братских республик, пользуются бесплатным образованием и медицинским обслуживанием, пенсиями, стипендиями, пособиями по временной нетрудоспособности, разовыми отпусками, бесплатными или льготными путевками в санатории и дома отдыха. За период с 1961 по 1979 год национальный доход возрос втрое, денежные доходы населения возросли также в три раза.

Фашистские оккупанты нанесли народному хозяйству Эстонии громадный ущерб, превысивший 16 миллиардов рублей. Были разрушены заводы, фабрики, шахты. В руинах лежали Нарва, целые районы

Богатство Эстонии — кукерситовый сланец. Запасы его составляют около 6 миллиардов тонн. Сегодня его добыча достигла примерно 29 миллионов тонн в год. На сланцевом топливе работают Балтийская и Эстонская ГРЭС общей мощностью более 8 миллионов киловатт. В сооружении эстонских электростанций — тогда всесоюзных ударных комсомольских строек — приняли участие все союзные республики. Оборудование и материалы посылали триста предприятий страны: Ленинград — турбины и генераторы, Таганрог — котельные агрегаты, Башкирия — вентиляторы, Запорожье — трансформаторы, камский, пермский и ленинградский заводы — кабель, Грузия и Азербайджан — трубы, Армения — электроаппаратуру, Литва — сборный железобетон...

и кварталы Таллина. Пришли в запустение сельские угодья. Пессимисты говорили: восстановление народного хозяйства, разрушенного войной, затянется на полвека. Они не учли одного: Эстония не была одинокой, руку помощи ей протянули все братские республики Страны Советов. Вот один лишь пример: через несколько дней после изгнания фашистов из Таллина в столицу Эстонии прибыл поезд с грузами из Ленинграда. А ведь пережившие блокаду ленинградцы сами испытывали невероятные трудности...

Когда-то Эстонию называли «картофельной республикой». И не без оснований. Страна была преимущественно аграр-

ной, промышленность развивалась слабо, — в сущности, в годы буржуазной диктатуры она находилась в стадии застоя и к 1940 году даже не достигла уровня 1913 года.

А сегодня...

Народный писатель Эстонской ССР, лауреат Ленинской и Государственной премий Юхан Смуул так сказал о новой жизни в нашем новом доме:

А сегодня все другое,
словно доброю рукою,
теплой, ласковой такою,
землю тронула весна.
Не узнать
былой природы:
молодые всюду всходы,
новостройки и заводы,
счастьем
жизнь людей полна.

Эстонский народ достиг таких успехов в экономическом, социальном, научно-техническом и культурном строительстве, о которых невозможно было даже мечтать в условиях капиталистического строя. В некогда «картофельной республике» созданы целые новые отрасли индустрии, мощный торговый и рыболовный флот, крупные колхозы и совхозы. Небывалых высот достигли наука, культура и искусство.

Маленькая республика, площадь которой составляет 0,2 процента территории страны, а население — примерно 0,6 процента всего населения Советского Союза, вносит существенный вклад в народное хозяйство СССР. Эстония занимает первое место в стране по добыче сланцев, третье — по производству целлюлозы, экскаваторов и нефтеаппаратуры, четвертое — по выпуску хлопчатобумажных тканей, шестое — по производству минеральных удобрений...

Для колхозов и совхозов характерна высокая механизация труда. Все хозяйства электрифицированы. Наши сельские труженики на не слишком-то плодородных землях получают в среднем за год 30 центнеров зерна с гектара, а доярки надаивают от 3500 до 5 тысяч и более килограммов молока от каждой коровы...

Любители музыки знают Эстонию как республику, где проходят знаменитые праздники песни — самые представительные в мире. На этих праздниках выступают хоры в 30 тысяч человек, а на Певческом поле размещается до четверти миллиона зрителей. Массовым, поистине всенародным и интернациональным стал Праздник народного танца.

Густав Суйтс, один из из-

Береговая линия Эстонии на протяжении почти 3800 километров омывается водами Балтийского моря. С глубокой древности море было другом и кормильцем обитателей эстонской земли, с ним были связаны думы и дела эстов, ему они посвятили свои лучшие песни, легенды, пословицы и поговорки... Море определило и особые черты в экономике Советской Эстонии — в республике хорошо развиты морской транспорт и рыбная промышленность.

Через Таллинский морской порт идут грузы в развивающиеся страны, во многие государства бассейнов Балтийского и Средиземного морей, Азии и Латинской Америки — в 25 портов 45 зарубежных стран... Эстонские рыболовные суда давно уже вышли из прибрежных зон родной Балтики и ведут промысловый лов за тысячи миль от дома. В Эстонии немало прекрасных рыболовецких колхозов. Один из лучших — опорно-показательный колхоз имени С. М. Кирова. Только в 1979 году он получил 71 миллион рублей дохода!

вестнейших эстонских лириков, писал в начале века: «Нет большей печали, чем родиться поэтом в Эстонии...» А классик эстонской литературы Антон Хансен-Таммсааре мечтал увидеть свой главный роман «Правда и справедливость» изданным на русском языке хотя бы в сокращенном виде.

За годы Советской власти в Эстонии вместо 140 тысяч мелких, раздробленных хуторов создано более трехсот колхозов и совхозов, которые стали современными социалистическими хозяйствами с высокой механизацией труда. В каждом крупном хозяйстве в среднем 45—55 тракторов, десятки комбайнов, по меньшей мере 230 электромоторов, 30 грузовиков... Сейчас в сельском хозяйстве республики занято втрое меньше работников, чем в последние годы существования буржуазного государства, однако зерна, мяса, овощей, молока, яиц и других продуктов советская республика дает почти в два раза больше. По темпам развития сельского хозяйства Эстония опередила многие ведущие капиталистические страны. В несколько раз снизились затраты труда и средств на производство единицы продукции — республика дает самые дешевые в стране мясо и молоко.

Сегодня же в разговорах с иностранными коллегами приходится слышать такое:

— Правда ли, что у вас в республике поэтические сборники выходят тиражом в десятки тысяч?

Да, это правда. И даже такие тиражи не удовлетворяют спроса. То же самое с прозой, хотя книги издаются тиражами в 30 тысяч экземпляров.

Советская эстонская литература вышла не только на всесоюзную, но и на мировую арену. Во всей стране и далеко за ее пределами известны имена эстонских писателей Аугуста Якобсона, Юхана Смуула, Ганса Леберехта, Пауля Куусберга, Владимира Бээкмана, Деборы Вааранди и многих, многих других. Их произведения — достойный вклад в сокровищницу великой советской литературы.

В буржуазной Эстонии основная масса населения получала в основном начальное образование. Только Советская власть открыла эстонским детям доступ в средние и высшие учебные заведения. Сейчас в городах и сельской местности более 540 дневных общеобразовательных школ и 49 вечерних (сменных) школ, в которых обучается 217 тысяч человек. Более 9 тысяч подростков посещают средние профессионально - технические училища, 24,5 тысячи — средние специальные учебные заведения. Более 25 тысяч студентов занимаются в шести вузах республики: Тартуском государственном университете, Таллинском политехническом институте, Эстонской сельхозакадемии, в педагогическом институте имени Эдварда Вильде, в художественном институте и Таллинской государственной консерватории. Открыто 37 техникумов и других средних специальных учебных заведений, в том числе 13 совхозов-техникумов. Вузы и техникумы республики готовят кибернетиков и строителей, механиков и агрономов, физиков и химиков, врачей и зоотехников...

Моя Эстония... Социалистический строй принес ей счастье, достаток, радость творческого труда. Четыре десятилетия живет мой народ в дружной братской семье советских народов. И в этом — в принадлежности к великому содружеству социалистических республик — залог его успехов, гарантия его благополучия и процветания.

Республиканский Праздник народного танца — зрелище захватывающее, красочное, неповторимое... Прекрасная традиция праздников существует тридцать четыре года, она черпает свежесть и жизненную силу в неиссякаемых родниках народного творчества. В нынешнем году Праздник народного танца явился очередной вехой на плодотворном пути развития эстонской советской культуры.

На поле таллинского стадиона имени Ленинского комсомола народные танцевальные ансамбли показали свое великолепное искусство, зрители увидели обширную, разнообразную программу. Главную идею этого народного представления можно было бы выразить тремя словами: труд, дружба, мир.

В нынешнем году праздник и по репертуару, и по своему духу стал интернациональным: в гости к эстонцам приехали творческие коллективы из братских республик.

СБЕРЕЧЬ — ЗНАЧИТ УМНОЖИТЬ

Кохтла-Ярве — своеобразный город. Состоит он из отдельных частей, расположенных сравнительно далеко друг от друга: сам Кохтла, Йыхви, Кукрузе, Сомпа, Вивныли. Но каждая часть связана с другими в единое целое. Кохтла-Ярве — центр Эстонского сланцевого бассейна, город шахтеров, химиков, строителей, ученых. И в едином ритме бьется его сердце.

...Разрез «Нарвский». Здесь трудится комсомольско-молодежный коллектив Тадеуша Пупкевича. Его комплексная бригада недавно отметила свой трехлетний юбилей. В сравнении с трудовым стажем многих других бригад бассейна «возраст» молодежного коллектива покажется «ясельным». Но справедлива эстонская поговорка: «Путь определяют первые шаги». С первых же своих шагов молодые горняки внесли свежую, творческую струю в трудовую жизнь всего объединения.

Тадеуш возглавил бригаду, будучи уже опытным машинистом вскрышного шагающего экскаватора. Его друзья и помощники Роберт Тойкка и Илья Веденин — студенты вечернего техникума. Вот в таком-то сплаве трудового опыта и знаний родилось новое начинание — организация комплексных бригад. Тадеуш и его единомышленники предложили объединить труд бурильщиков, бульдозеристов, экипажей вскрышных экскаваторов так, чтобы все эти звенья, работавшие раньше сами по себе, составили не только целостную технологическую цепочку, но и единый коллектив.

Дело, конечно, было еще неизведанным. Многие сомневались: не потянут ли объединенные смежники общий воз в разные стороны? Тадеуш же доказывал настойчиво, убежденно, что разнобоя и быть не может, если работу комплексного коллектива станут оценивать по конечному результату — по кубометрам перемещенной породы. Оплата труда всех звеньев в комплексе также должна производиться по конечному результату.

Предложение новаторов поддержали партийная и комсомольская организации. Бригаду на первых порах назвали экспериментальной. Естественно, не сразу все пошло гладко. Работникам разных профилей нужно было, как говорят, притереться друг к другу. Однако и этот подготовительный период Тадеуш использовал с гораздо большей отдачей. Он добился того, что ребята в его коллективе освоили смежные специальности.

Месяца через четыре замолкли самые рьяные пессимисты,

пророчившие бригаде скорый развал. Коллектив стал из смены в смену перевыполнять повышенный норматив вскрышных работ. А годовой результат превзошел даже самые смелые прогнозы. Молодые горняки перевыполнили задание почти на миллион кубометров и вышли победителями в социалистическом соревновании. Комплексную бригаду утвердили участником ВДНХ в Москве, а ее членов наградили медалями выставки.

Творческий труд всегда зовет вперед. С каждым годом шире, уверенней становится поступь молодых горняков. Сейчас коллектив Пупкевича готовится сделать новый шаг в организации труда. Ребята предложили создать такую комплексную бригаду, которая занималась бы не только вскрышными работами, но и непосредственно добычей сланца. Мерилом ее деятельности должны служить и кубометры перемещенной породы, и тонны добытого «серого золота». Определять все дела коллектива — планировать объем работ, контролировать их выполнение, вести учет и распределение средств — будет совет бригады. Такую систему молодые горняки назвали «сквозным подрядом». Их новое начинание нашло широкую поддержку. Ведь создание подобного хозрасчетного комплекса начисто отметет такие замшелые понятия, как «это моя работа, а это не моя», еще больше заинтересует всех участников технологического процесса в высоком конечном результате общего труда.

И еще одну цель преследуют горняки Кохтла-Ярве: добывать победу, образно говоря, малой ценой — брать сланец с меньшими затратами материальных средств и труда.

Стоит рассказать еще об одной бригаде молодых шахтеров. Руководит ею Василий Иванов. Работает этот коллектив на участке «Ахтме».

На одном из собраний Василий сообщил, что их коллектив решил сэкономить по копейке на каждой тонне добытого сланца. Это сообщение Иванова приняли с интересом. Горнякам-то ясно, что такое копейка на тонне. Даже попросили дополнить сообщение, и Василий поделился с шахтерами выкладками по технике и технологии, организации труда. Многие решили последовать примеру ивановцев, и вскоре зародилось на шахте «Ахтме» движение под девизом «Дать больше сланца при меньших затратах». Одна только бригада Василия Иванова теперь экономит на каждой тонне более двух копеек. За последние годы коллектив Василия выдал на-гора́ без малого два миллиона тонн «серого золота» — следовательно, сберег свыше сорока тысяч рублей.

За счет чего же? Всю технику, все оборудование бригада взяла на свой баланс, строго следит за состоянием каждого механизма. Рационализаторы коллектива внесли изменения в конструкцию ленточных транспортеров и толкателей, придав им большую скорость. Внедрено еще много различных технических и организационных новшеств. Но стоит выделить основное — моральное, человеческое: рабочий коллектив по собственной инициативе вышел в творческий поиск.

«Сберечь — значит умножать». Смысл этой народной мудрости в полной мере постигнешь тогда, когда сам убедишься, что за каждым хорошим, «экономичным» показателем стоит упор-

ный труд. В объединении «Эстонсланец» регулярно разрабатываются мероприятия по экономии металла, сырья, материальных ресурсов, вводятся дополнительные меры по сбережению электрической и тепловой энергии. Вот один из примеров бережливости. Если в 1965 году для добычи тысячи тонн сланца требовалось 3,43 тысячи кубометров лесоматериалов, то ныне эта цифра сокращена до 0,9 тысячи кубов. Механизированы трудоемкие крепежные процессы, вместо деревянных внедрены металлические анкерные крепления.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об усилении режима экономии стало боевой программой действия для горняков. На лицевой счет бережливости они внесли без малого два миллиона рублей. На сбереженной электроэнергии «Эстонсланец» может работать целый месяц, около трех месяцев — на сбереженных материалах. В большой поход за экономию вышли горняки, и рядом с ними идут работники других профессий и специальностей. Ученые научно-исследовательского института сланцев в Кохтла-Ярве изыскивают и уже изыскали способы наиболее эффективного использования «серого золота».

Вся Эстония покрыта новостройками. Растут новые районы городов и поселки, хорошо спланированные центральные усадьбы колхозов и совхозов, поднимаются корпуса промышленных предприятий. Строительные программы на будущее предусматривают возведение третьей мощной электростанции на базе эстонских сланцев, создание современного предприятия в районе залежей фосфоритной руды, новых крупных животноводческих комплексов, строительство жилья, зданий социально-культурного назначения и в городе и на селе. За период с 1946 по 1979 год в народное хозяйство республики было направлено около 13 миллиардов рублей капиталовложений.

Три четверти добычи бассейна реализуется как топливо для эстонских и прибалтийских ГРЭС. Отходы — сланцевая зола — используются для известкования сельскохозяйственных угодий, изготовления строительных материалов. Словом, все идет в дело, и при так называемом «прямом» сжигании сланцев вырабатывается самая дешевая на северо-западе страны электроэнергия. Однако исчерпываются ли одним сгоранием «способности» сланцев?

Ученые Кохтла-Ярве, специалисты объединения установили, что органическая, то есть горючая, часть сланцев представляет собой высокомолекулярное соединение, которое после химической переработки может использоваться в народном хозяйстве с гораздо большей отдачей, чем при прямом сжигании. Созданы и уже действуют специальные газогенераторы, в которых при тепловом воздействии получают сланцевое масло. Отходов также не бывает. При извлечении сланцевого масла выделяется горючий газ — превосходное сырье для нужд теплоэнергетики. А сланцевое масло идет на изготовление пластмасс, остродефицитного мелкозернистого электродного кокса, многих видов фенолов, необходимых при дублении, используется в литейном производстве, для изготовления клеев специального назначения. Из сланцевого масла получают также бензол и другие ароматические углеводороды,

модификаторы резины. Остаток переработки в газогенераторах — жидкое топливо. В отличие от нефтяных мазутов оно не требует подогрева зимой и мер по очистке дымовых газов, то есть не создает угрозы отравления атмосферы. Вот и выходит, что сжигание сланца не всегда лучший способ использования «серого золота».

На химических предприятиях Кохтла-Ярве освоена технология переработки сланцев в самые различные виды продуктов. Ежегодно объединение «Сланцехим» поставляет сельскому хозяйству страны сотни тысяч центнеров минеральных удобрений. И здесь, как повсюду в Кохтла-Ярве, люди несут вахту бережливости, в делах своих следуют принципу: экономика должна быть экономной.

На сланцевохимическом заводе «Кивиыли» энергетикой ведает молодой коммунист Вяйно Лааноя. Коллектив, которым он руководит, — энергичный, творческий, в нем преимущественно молодежь. Одними из первых энергетики «Кивиыли» подхватили почин горняков, своими силами и техническими средствами произвели частичную реконструкцию. Теперь над трубами заводской электростанции еле заметно светлое облачко выбросов.

Результаты совместного похода за бережливость для объединений «Эстонсланец» и «Сланцехим» выражаются многими миллионами рублей. Идут сэкономленные средства на улучшение условий производства, технологических процессов, на строительство, культурные нужды горняков и химиков.

Хорошеет Кохтла-Ярве. Окрестные отвалы покрылись садами, парками, зелеными зонами отдыха. Труженики сланцевого бассейна получили 240 тысяч квадратных метров жилой площади, построены детские сады, ясли, школы, столовые. В центре Йыхви вырос новый Дворец культуры.

Эвальд ВАХТ,
горняк шахты «Виру», кавалер ордена Ленина,
депутат Верховного Совета СССР,
делегат XXVI съезда КПСС

Штаб научно-исследовательской работы в республике — Академия наук Эстонской ССР, учрежденная в январе 1946 года. В конце 1940 года в Советской Эстонии было 544 научных работника. Сейчас — почти 6000, в том числе 280 докторов наук и около 2500 кандидатов наук. Советское правительство оказало ученым всемерную материальную поддержку. Сегодня эстонская наука вышла далеко за пределы своих национальных границ, ученые плодотворно сотрудничают с коллегами из братских республик, расширяют связи со многими зарубежными центрами, особенно социалистических стран. Исследовательская деятельность республиканских научных учреждений, в том числе 11 институтов АН ЭССР и 6 вузов, весьма разнообразна: строение галактик, серебристые облака, химия сланцев, новые строительные материалы, ледниковый период Балтийского моря, человек и среда, онкология и кардиология... Ученые разработали 11 комплексных научно-исследовательских программ на период до 1990 года — осуществление их станет достойным вкладом не только в развитие экономики и культуры республики, но и в советскую и мировую науку.

С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ

Таллинское производственное трикотажное объединение «Марат» — одно из крупнейших в стране. Объем производства составляет здесь более 48 миллионов рублей в год. Большинство работающих в объединении — женщины. Это их заботливые и умелые руки создают нарядные платья и джемперы, футболки и спортивные костюмы, белье и детский трикотаж...

Комсомольцы - маратовцы взяли шефство над выпуском товаров для детей. Главной заботой «прожектористов» стало расширение ассортимента, улучшение качества изделий. Регулярными стали совместные рейды маратовцев и работников отдела детского трикотажа в Таллинском Доме торговли. А чтобы лучше изучить спрос, «прожектористы» ввели анкетные опросы покупателей. Так, основным требованием по результатам первых анкет оказалось удешевление тканей, используемых при пошиве детской одежды. Комсомольцы связались с сырьевой лабораторией, показали им анкеты. И вот был пересмотрен ассортимент многих тканей, и в результате изделия стали более дешевыми.

Борьба за повышение эффективности производства и улучшение качества работы остается для комсомольцев «Марата» задачей первостепенной важности и в новой пятилетке. В центре их внимания — новые формы социалистического соревнования среди молодежи, профессиональная подготовка молодых тружеников, укрепление трудовой дисциплины.

Молодых маратовцев связывают давние узы с коллегами из других трикотажных объединений — рижского «Мара», ленинградского «Красное знамя», кишиневского «Стяуа рошне», утенского имени Марите Мельникайте (Литва).

На «Марате» большое внимание уделяется социальному развитию предприятия. Облегчить условия труда и быта работниц, предоставить им возможность после смены купить все необходимое для дома, не выходя из проходной, вкусно и быстро накормить их обедом — об этом постоянно заботятся администрация, партийная, профсоюзная и комсомольская организации объединения. Потому и трудятся здесь с хорошим настроением.

По итогам минувшей пятилетки комсомольская организация «Марата» награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. В эти дни, готовясь достойно встретить предстоящий съезд Ленинского комсомола, молодые маратовцы принимают повышенные обязательства, направляют свои усилия на успешное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки.

Фото В. РУДЬКО и Ю. ВЕНДЕЛИНА

На снимках: в одном из цехов «Марата»; комсомолка швея-мотористка Людмила Голубева; комсомольско-молодежная бригада Татьяны Синкевич.

СЛОВО СТАРШЕГО ДРУГА

ТВОРЧЕСТВО

В переводе на русский Вильянди приблизительно значит «житница», «щедрый дар природы». Да, щедры края наши. Под зелеными щитами рощ, лесопосадок золотыми озерами колосятся хлеба, бронзовеет ячмень, разноцветным ковром застилают землю посевы кормовых культур. Пшеницы у нас снимают по 25—30 центнеров с гектара при любых погодных условиях, на фермах содержится без малого двенадцать тысяч свиней, две с половиной тысячи дойных коров чистой эстонской породы. От каждой нашей «краснушки» за год получаем не менее 4,5—5 тысяч килограммов молока — жирного, ароматного, словно впитавшего в себя запахи трав.

Многим могут гордиться мои земляки и товарищи по труду. Мощным машинным парком, где каждый механизм всегда готов к действию, отлажен и отрегулирован; искусственным водоемом, в котором разводим мы с большой выгодой карпов; конезаводом, откуда спортивные лошади развозятся по всей стране и за ее пределы; собственными базами отдыха, Домом культуры, спортивным комплексом... Разностороннее, многоотраслевое у нас хозяйство. Но мне как доярке, естественно, ближе всего молочное животноводство.

Работаю я на ферме Кару. Это небольшое хозяйство, однако именно здесь был освоен метод специализации при обслуживании больших групп коров.

До 1969 года на Кару работали шесть доярок-скотниц и один скотник. За каждой дояркой, в том числе и за мной, было закреплено по 15—18 коров. Все мы занимались и доением, и кормлением, и чисткой, и другими работами. Выходных не было, рабочий день порой затягивался до позднего вечера.

Помнится, после того как совхоз стал опытным хозяйством Эстонского научно-исследовательского института животноводства и ветеринарии, приехали к нам ученые во главе с академиком Мэльдером. Они внимательно присматривались к нашей работе, беседовали с нами о том, как можно лучше и легче трудиться. Я тогда совсем еще молодая была, комсомолка, горячая на слова. Вот и выложила свое мнение: плохо, дескать, организованы у нас рабочие процессы, порой, дублируя друг друга, без толку мечемся и время теряем и силы.

«Потерянное время — самая невозвратимая утрата», — согласился академик Мэльдер и предложил нам самим проследить за трудовыми процессами, завести специальный дневник, в который записывать и положительное и отрицательное из того, что заметим — в общем, составить своеобразную «фотографию» рабочего дня и своими наблюдениями поделиться с уче-

ными. Тогда им легче будет разработать методику, которая сделала бы наш труд более производительным и легким. «Без науки у практики шаг короткий, — заметил академик, — но помните, девушки: практика — опора науки».

Творческий поиск увлек нас. Каждый день вставали новые задачи, и мы убедились, что решать их механически, по раз и навсегда установленным правилам, нельзя. Словом, период, когда ученые с помощью практиков разрабатывали методику научной организации труда на фермах, для нас, доярок, стал школой творчества, профессионального мастерства. Пришлось много подумать, многому поучиться. Занимались на курсах зоотехники и ветеринарии, осваивали новые механизмы, которые установили на фермах, знакомились с биохимией, чтобы умело использовать корма. Наука буквально удвоила наши силы. На ферме стали работать втроем, не считая сменщицы, а надои от коровы с 4 тысяч увеличились до 5, а то и поболее, килограмов молока за лактацию.

Теперь группу в сто коров обслуживаю я одна. Остальные пять доярок перешли работать на другие фермы, где очень нужны квалифицированные специалисты. Конечно, обязанностей много и ответственность большая. Однако со всеми процессами управляемся за 7—8 часов. Сберегают силы и время специализация рабочих процессов, сплоченность и взаимопонимание в коллективе. Как доярка, я спокойна за все, что делается на ферме, твердо уверена, что товарищи не подведут.

Замечательные у меня помощники! Кормит коров Хелле Ренит. Превосходно изучила она «аппетит» каждой своей подопечной, знает, как влияет определенный вид корма на продуктивность животных. У Хелле тесный контакт со специалистами-зоотехниками, полеводами. По ее предложению в хозяйстве выращивают кормовую капусту, которая способствует не только повышению надоев, но и улучшению качества молока.

Многое в успешной работе коллектива зависит от нашего механизатора-тракториста Эйно Антона. Четвертая в нашем коллективе Надежда Аас. Она и профессию доярки освоила, и за кормление может ответить, и с трактором управляется...

Без такой взаимовыручки, без творческого отношения к своим обязанностям, уверена, никогда не добились бы мы высоких удоев. Мы обязались из года в год повышать продуктивность животных и слово держим. В девятой пятилетке от коровы надаивали по 4,8 тысячи килограммов молока, к концу десятой вышли на пятитысячный рубеж. Ныне надои повысились до 5,2 тысячи килограммов молока за год. Высокой наградой для нас было письмо Леонида Ильича Брежнева. Он выразил уверенность в том, что наш почин найдет горячую поддержку среди работников животноводства всех колхозов и совхозов республики.

Вдохновляет, ко многому обязывает это письмо. В первую очередь — к широкому распространению освоенного нами метода. Конечно, работы прибавилось, но такой труд в радость. Дело, которое мы начинали, становится общим, захватывает тысячи людей.

Много доброго можно сказать о наших последователях. Айли Орг — молодой мастер машинного доения, человек творчески ищущий, постоянно совершенствующий свои знания, мастерство.

Не шла она только по уже проторенному пути, внесла и вносит свое в методы получения высоких надоев. Она ввела, например, в рацион животных дополнительно добавки белковых кормов. Результаты отличные: Айли получает от 95 коров свыше 480 тонн молока за лактацию. Начинание Орг поддержали полеводы совхоза: значительно расширены посевы гороха, клевера, других кормовых культур с высоким содержанием протеина.

Как бывшая наставница, горжусь и радуюсь успехам молодого мастера машинного доения Маэ Хейн. Эта веселая, общительная девушка (одна из лучших артисток нашего танцевального ансамбля) стала подлинной народной ученой. По ее проектам налажен процесс обогащения молочного обрата, которым мы поим телят.

Айли Орг и Маэ Хейн не исключение. Все доярки в совхозе «Вильянди» перешли на обслуживание больших групп животных, вносят в общие поиски и труд свою лепту. А почин вильяндиских животноводов подхвачен не только в Эстонии. В индивидуальное соревнование со мной вступили Герой Социалистического Труда Мария Громова из Подмосковья, лучшая доярка Узбекистана Мухтарама Гафарова, победительница Всесоюзного конкурса мастеров машинного доения, проходившего в Вана-Выйду, на территории Эстонии, Нина Козина с Рязанщины. Наш опыт внедрили в Плевенском округе Болгарии и многих других местах.

Сотни доярок стали работать по-новому, многие превзошли рубеж в 500 тонн. Так, Клара Кяэр и Аделе Йыенум из колхоза «Рахва выйт» надоили более чем по 850 тонн, Эльза Лепвальтс и Вийве Мяэ из колхоза имени Вильде — более 900 тонн....

Такое массовое движение за повышение производительности труда, думается, вызвано не просто азартом трудового соперничества. Труд наш из тяжелого физического стал творческим, и сегодня идет уже не соревнование наиболее сильных рук — состязаются знания, смекалка, творческая инициатива. И соревнуемся мы не в одиночку, а целыми фермами. По-моему, это и есть коллективное творчество, массовый трудовой героизм.

Лейда ПЕЙПС,
мастер машинного доения
совхоза «Вильянди»,
Герой Социалистического Труда,
лауреат Государственной премии СССР

Советская Эстония занимает одно из первых мест в мире по распространению периодической печати на душу населения. Издается 42 республиканские, городские, районные и ведомственные газеты с разовым тиражом в 1,18 миллиона экземпляров, 105 журналов и бюллетеней с общим разовым тиражом 1 375 200 экземпляров. В 1525 году увидела свет первая эстонская книга. Сегодня общий тираж ежегодно издаваемых книг превышает 17 миллионов экземпляров — по 12 книг на каждого жителя республики. За годы Советской власти на эстонский язык переведены книги 91 страны с 42 языков мира. 1500 произведений эстонских писателей изданы на 48 языках общим тиражом 33,6 миллиона экземпляров.

Высокие черепичные крыши, узкие улочки, древние здания... Таким открывается Таллин со смотровых площадок Вышгорода — древнего сердца города. Именно там находился «маленький город наподобие большой крепости», о котором упоминал арабский путешественник Абу Абдаллах Мохаммед аль Идрис в 1154 году.

Старый город уникален. Обойти его улицы и площади — это значит познакомиться с творениями мастеров-строителей средневековья. Вот ратуша со Старым Тоомасом на шпиле — единственная уцелевшая средневековая ратуша во всей Прибалтике. А вот аптека — самая старая в нашей стране и одна из старейших в Европе: впервые о ней упоминается в 1422 году. Здания Доминиканского монастыря, крепостные стены и башни, дом Братства черноголовых, церковь Оливесте, древние ворота, десятки, сотни памятников старины. Таллин нередко называют музеем под открытым небом. И это действительно так. Гости восхищаются его сохранностью, чистотой, ухоженностью, зеленым убором...

НАУКА — ОСНОВА ПРОГРЕССА

Академик, главный ученый секретарь Президиума Академии наук Эстонской ССР, заслуженный деятель науки ЭССР Арно Артурович КЕЁРНА отвечает на вопросы журналиста

— Слово «наука» становится в наши дни почти обиходным. Ее возрастающим задачам посвящаются специальные разделы в основополагающих партийных решениях последних лет. На XXVI съезде КПСС Леонид Ильич Брежнев назвал развитие науки основой основ научно-технического прогресса сегодня и в будущем и напомнил, что народнохозяйственная структура, с которой наша страна вступит в XXI век, будет закладываться уже в ближайшие пять-десять лет. Как сказываются эти ответственнейшие задачи на деятельности ученых Эстонии, ее Академии наук?

— Должен прежде всего сказать об участии наших ученых в разработке и выполнении важнейших для страны научно-технических программ. Это такие крупные всесоюзные программы, как энергетическая, продовольственная и целый ряд более узких, технических. Кроме того, десять республиканских комплексных программ, над которыми мы работаем, имеют народнохозяйственное значение для Эстонии. Они должны обеспечить комплексное использование наших сланцев и фосфоритов, рациональное использование и охрану природных ресурсов. Академия участвует также в четырех программах республиканского Министерства сельского хозяйства — по зерновому и кормовому хозяйству, картофелеводству, животноводству. Повышение урожайности, отдачи сельскохозяйственного производства, создание новых средств защиты растений, новых свойств сельскохозяйственных культур — это тоже очень перспективные работы.

Все отрасли народного хозяйства, как подчеркивалось на съезде, должны быть выведены на передовые рубежи науки и техники. Основой этого, естественно, остается большая фундаментальная наука. Именно там, где выше уровень фундаментальных исследований, как правило, наиболее эффективен и выход в практику. Это подтверждается и в нашей академии. Назову тут такие программы, как «Препаративная биохимия»,

«Научное приборостроение», «Полупроводниковые гетеропереходы», «Тонкий органический синтез», «Проблемно-ориентированные малые вычислительные машины».

Многие из этих исследований решают не только чисто технические задачи. Так, мы имеем богатейший потенциал в использовании горючих сланцев. За достижения в области сланцевой энергетики авторы этой работы, и в их числе академик АН ЭССР И. Эпик, были удостоены Государственной премии СССР. Сейчас, когда во всем мире усилился интерес к твердому топливу, было бы неразумно не использовать накопленный опыт и не давать практикам хорошо продуманных рекомендаций на будущее. Но при этом наша сланцевая программа, в которой участвует около тридцати различных организаций, — это не просто комплекс чисто технических задач на северо-востоке Эстонии. Это одновременно и создание условий, в которых люди будут в дальнейшем жить и работать в этом районе. В том числе учет состояния окружающей среды, уровня материальных и культурных потребностей и т. д.

— В прошлом году, как докладывалось недавно на вашем годичном собрании ученых, институты Академии наук ЭССР передали для внедрения в практику результаты 44 крупных исследований, представили 45 заявок на изобретения, получили 30 авторских свидетельств и 3 патента. Охарактеризуйте, пожалуйста, хотя бы некоторые из этих достижений.

— Это, например, работа из области сотрудничества астрономов с космонавтами, исследования кристаллов и разработка лазерной техники, создание систем машинного проектирования, систем автоматического управления производственными процессами и научными экспериментами, использование экономико-математических моделей для оптимального перспективного народнохозяйственного планирования. Все эти достижения в известном смысле подготовлены фундаментальными исследованиями, их опережающим развитием. Взять хотя бы разработку, проектирование и создание в конструкторских бюро академии лазеров или препаративных газовых хроматографов, параметры которых соответствуют весьма высокому научно-техническому уровню.

К фундаментальным нашим достижениям относится зарегистрированное в прошлом году открытие горячей люминесценции кристаллов. Я мог бы назвать и значительные результаты, полученные в области астрофизики, структурных исследований молекул и твердых тел и т. д. Этот теоретический фундамент — в кибернетике, физике, биохимии, астрофизике, в области передовой технологии — мы будем и дальше всемерно укреплять. А теоретические исследования, в свою очередь, всемерно нацеливать на коренные проблемы народного хозяйства. Это и приносит в итоге желаемый быстрый результат.

— Как сказал на XXVI съезде КПСС академик А. П. Александров, президент Академии наук СССР, всякий мальчишка знает теперь слово «лазер». А лазеры, квантовые генераторы порождены советской наукой. И она сейчас на переднем крае возникшей новой большой области...

— Я как раз хотел подчеркнуть, что ленивый консерватизм, приверженность к «насиженной», так сказать, «удобной» тематике в науке вредны. А очень важно для нас умение не просмотреть у себя в академии то самое передовое в науке, что сейчас только лишь нарождается, но что, по-видимому, определит лицо многих производств в недалеком будущем. Надо уметь видеть «точки роста», к которым проявляет интерес передовая мировая наука. Сейчас развивается, например, новая научно-техническая отрасль — биохимическая технология, об этом академик Александров тоже говорил. Теперь удается установить место и роль каждого атома в сложном биологическом процессе. Можно прослеживать и организовывать ранее недоступные исследованию процессы в живом организме. Сочетать биологические или микробиологические процессы с прямым химическим синтезом и таким путем получать новые вещества или микроорганизмы. Эта область в ближайшие годы станет играть особенно важную роль в медицине, пищевой промышленности, производстве кормов, в получении новых видов соединений, синтезирующихся пока только в живых организмах. Столь же много обещают генная инженерия, получение чистых ферментов, простагландинов. Все эти направления у нас в академии имеются и уже дали первые результаты. Предстоит развивать их, причем в самом тесном контакте с учеными всесоюзных ведущих научных центров. Критерии, которые мы себе выдвигаем, должны быть всесоюзными, а это означает критерии мировой науки. Нельзя мириться с тем, что некоторые лаборатории и институты не сумели сориентироваться на актуальную тематику, не идут в ногу со временем. Жизнь обгоняет то, что подчас могут предложить лаборатории. Нужно, повторяю, самим искать и предлагать то, что будет подхвачено и использовано. Мы могли бы, я уверен, иметь более значительные результаты.

— Вот, по-видимому, поле приложения сил для молодых талантливых исследователей? Тем более что, как приходилось слышать, проблема кандидатов наук в республике в целом решена. Так что научной молодежи остается лишь дерзать?

— Действительно, если в некоторых новых направлениях еще и нет кандидатов, то просто они не успели вырасти. Я мог бы назвать в то же время кандидатов, которые готовятся стать докторами наук и которым уже сейчас доверено руководить ответственными исследованиями.

Выдвижение молодых талантливых и компетентных работников для нас актуальная проблема. Кто должен их растить? Конечно, сами институты. Активнее подбирать людей, использовать для их учебы целевую аспирантуру, стажировки, командировки в передовые научные учреждения страны. Нигде в мире нет столь благоприятных условий для развития науки, как у нас в Советском Союзе. И надо помнить слова В. И. Ленина о том, что ни в одной области самоуспокоенность не является столь опасной, как в области науки.

Беседу вела
А. ФАВОРСКАЯ

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

У ПОРОГА НОВОЙ МЕЧТЫ

На традиционную встречу с журналистами после соревнований первым пришел новый олимпийский чемпион, 25-летний выпускник сельскохозяйственной академии из Тарту. Его лицо пылало румянцем сильнейшего возбуждения. Зал для пресс-конференции был набит битком, и Яак с любопытством смотрел на сотни людей, вооруженных блокнотами и ждавших его слов...

(Из газетного отчета)

Кажется, Лариса Петрик, наша замечательная гимнастка, заметила однажды, что выиграть звание олимпийского чемпиона — значит суметь догнать свою мечту. Яак Уудмяэ, победитель Московских игр в тройном прыжке, сделал это. Чтобы догнать свою мечту, ему потребовалось девять лет...

Много это или мало — девять лет? Все зависит, вероятно, от того, как прожить их, чем заполнить каждый из дней. Последние девять лет жизни Яака были заполнены многим: учебой в ЭСХА на экономическом факультете, курсовыми, дипломом, работой после окончания академии и, конечно, спортом. Тем более что спорт, в котором он жил и живет, называется большим спортом, спортом огромных нагрузок, изнурительных тренировок, крупных соревнований. И еще. Недавно В. Кошкин, известный ленинградский тренер, наставник трехкратного чемпиона XXII Олимпиады пловца В. Сальникова, сказал: «Для того чтобы стать сегодня олимпийским чемпионом, мало обладать только выдающимся спортивным талантом. Для этого нужно быть еще и личностью». Добавим, что личность, как известно, начинается с умения поставить перед собой немалую цель и сделать все для того, чтобы цель эту достигнуть.

Свой первый тройной прыжок Яак совершил когда-то на 13 метров 82 сантиметра. Результат, принесший ему золотую медаль в Москве, равнялся 17 метрам 35 сантиметрам. Что касается первого, достаточно солидного для новичка результата, то здесь особой «вины» Яака нет. Это природа дала ему прыгучесть, полетность, что ли, талант, проще говоря. А вот 17.35...

Если сделать несложный арифметический подсчет, то выяснится, что за девять лет Яак добавил к своему первому результату 3 метра 53 сантиметра. Конечно, прыгнуть вот так, без тренировки, почти на 14 метров дано не каждому. Но для того, чтобы затем прибавить к ним еще полметра, спортсмену потребовался год тренировок. Следующий метр — еще год. Только в 1976 году, спустя четыре года, Яаку удалось преодолеть заветный для каждого прыгуна тройным прыжком 16-метровый рубеж. В том же 1976 году Яак впервые встретился в секторе для прыжков с Виктором Санеевым.

Свою вторую после Мехико золотую медаль спортсмен из Грузии завоевал в Мюнхене в 1972 году. В том олимпийском году Яак поступил в академию и прыгнул на 13.82. В 1976 году в Монреале Санеев завоевал третью золотую медаль, что было сродни подвигу. Яак в том году выполнил нормативы мастера спорта. Через два года он стал мастером международного класса.

Что такое тройной прыжок? Это разбег, толчок, полет, снова толчок, снова полет, снова толчок, снова полет... В отличие от обычного прыжка в длину у тройного своя техника, свой толчок, более низкий над землей полет. И начать только в семнадцать лет заниматься тройным — дело сложное. Каким-то необходимым для начала багажом Яак владел. В школе он бегал на короткие и длинные дистанции, прыгал в длину, играл в волейбол и баскетбол. Прыгуна тройным открыл в нем Арво Лиллестик. Ему обязан Уудмяэ первыми успехами. К победе в Москве Яака привел Яан Юргенстейн.

Нелегкими были каждые новые сантиметры, которые раз от раза добавлял к своим личным рекордам Уудмяэ. Обычный режим тренировок — пять раз в неделю по два раза в день. Каждая тренировка — по два часа. Это занятие общефизической подготовкой — штанга или кросс, множество специальных упражнений и прыжки. По сорок, пятьдесят прыжков... И так изо дня в день, из года в год. Такое под силу не каждому. Порой накатывала усталость, многими соблазнами искушала жизнь. Когда у нас с Яаком зашел об этом разговор, он неожиданно сказал:

— Не знаю, уместной ли будет такая параллель, но вот я иногда думаю об ученых, которые снова и снова в течение многих лет повторяют и повторяют какой-то эксперимент. Ошибаются, даже теряют на время веру в успех, чтобы потом начать все сначала. Наверное, они просто не могут иначе, потому что выбор сделан, а когда он сделан, то конечная цель и становится самым большим соблазном и искушением.

В 1977 году в отсутствие Санеева Яак выиграл звание чемпиона страны в закрытом помещении. И все-таки этот успех был единичным, очень часто на различных соревнованиях эстонский спортсмен становился вторым — на чемпионате страны, на первенстве Европы, на Универсиаде в Мексике...

Успехи физкультурно-спортивного движения в Эстонии общеизвестны. Эстонские спортсмены прославили себя на всесоюзной и мировой аренах. Имена Иоханнеса Коткаса, Яана Тальтса, Пауля Кереса, Антса Вяраваса, Ааво Пиккууса, Энна Селлика, Вильяра Лоора, Яака Уудмяэ известны всему миру.

Сегодня в Эстонии более 1600 физкультурных коллективов, 52 детско-юношеские спортивные школы и 2 школы высшего спортивного мастерства, 17 крупных стадионов, более 400 спортивных залов, закрытых плавательных бассейнов, 8 туристских баз и более 320 спортивных лагерей, Домов охотников и рыболовов. Организована подготовка физкультурных кадров высшей квалификации. Таллин стал местом проведения олимпийской регаты как части Московской олимпиады-80.

Перед Играми в Москве недостатков в прогнозах, как всегда, не было. Называя Уудмяэ среди фаворитов, главное место в них тем не менее отводили лишь двоим: трехкратному олимпийскому чемпиону Виктору Санееву и бразильцу Жоао Оливейре, чей прыжок на 17 метров 89 сантиметров, сделанный в 1975 году, назвали «прыжком в XXI век».

Многие годы Санеев для Уудмяэ был и остается образцом человека и спортсмена, доброго товарища и мужественного борца. В нем поражало сочетание удивительной скромности и огромного чувства собственного достоинства. Обладая блестящей техникой, Санеев был способен в нужный момент полностью мобилизовать себя для победы, отдав ей все...

...25 июля 1980 год. Перед заполненными до отказа трибунами Большой спортивной арены Центрального стадиона имени В. И. Ленина в секторе для прыжков разминались 12 спортсменов, оставшихся после квалификационных соревнований.

Первый прыжок Уудмяэ. Заступ. Попытка не засчитана.

Второй: 16.83.

Третий прыжок: 17.35. Вскоре выяснится, что так далеко сегодня не пролетит больше никто. Это будет победой...

В своей последней попытке Санеев покажет 17.24 и завоюет «серебро», которое чуть позже назовут равным «золоту», завоеванному на трех прошлых Олимпиадах.

...От Москвы до Таллина на Ту полтора часа лета. Домой Яак возвращался заслуженным мастером спорта, кавалером знака ЦК ВЛКСМ «Спортивная доблесть». В Таллинском аэропорту его ожидали цветы, поздравления... Но, глядя в иллюминатор, Яак думал не об этом. Вспоминались события последних дней, радостных, но уже прошедших. Вместе с Олимпиадой, победой на ней для него завершился большой, длиной в девять лет, кусок жизни. Догнав свою мечту, он оказался на пороге мечты новой, дальней и по-прежнему манящей.

К тренировкам он приступил ровно через неделю. Как и наметил.

В. АНДРЕЕВ

На бульваре Суворова, в центре небольшого сквера, стоит бронзовый памятник — солдат, склонивший голову у Вечного огня. Здесь братская могила воинов, павших при освобождении столицы Советской Эстонии.

...В ночь на 22 сентября 1944 года крупный десантный отряд устремился в сторону Таллина, совершил 120-километровый бросок по тылам противника, на рассвете смял фашистский заслон на реке Пирита и ворвался в Таллин. На башне Длинный Герман взвился красный флаг, водруженный лейтенантом Иоханнесом Лумисте. Следом за десантниками в город вступили воины подвижного отряда 8-й армии и моряки-балтийцы. В течение дня столица Эстонской ССР была полностью освобождена от остатков гитлеровских войск. В честь освобождения Таллина Москва произвела артиллерийский салют тридцатью залпами из 324 орудий.

ЭКСПЕДИЦИИ

В НЕВЕДОМОЕ

Эстония и Африка... Что может следовать за этим на первый взгляд странным сопоставлением? Наверное, рассказ о рыболовецком траулере из Пярну, посетившем Дакар или Луанду. Или об африканских дарах — бананах, орехах кешью, кенийском кофе, — партия которых прибыла в Таллин...

Эстония и Африка. Контакты их начались достаточно давно — с конца XVIII — начала XIX века ведет свое начало эстонская африканистика, оставившая немало имен в созвездии первооткрывателей Черного континента.

Самые первые сведения об этой части света и ее обитателях эстонский читатель мог получить из «Прекрасной книги рассказов и поучений» Ф. Г. Аврелиуса, вышедшей в Ревеле в 1782 году. Но сведения те еще кратки и обрывочны: есть, мол, такая страна Африка, и живут там люди с темным цветом кожи. Более подробно узнали эстонцы об Африке уже в 20-е годы прошлого века из «Ежегодника для селян», издававшегося просветителем О. Мазингом. Интересовался этой частью света и крупный деятель эстонской культуры Ф.-Р. Крейцвальд, он регулярно выписывал и читал книги о путешественниках, например записки француза Лаба, повествующие о странствиях по Западной Африке в конце XVIII века. Первый том своих «Картин земли и моря» Крейцвальд в 1850 году почти целиком посвятил Африке.

Но это были знания из вторых рук. Поехать в Африку было тогда делом совсем не простым. Из Эстонии туда вела только одна дорога — через миссионерские школы Базеля, Лейпцига и Хельсинки.

И все же они есть — дошедшие до нас имена эстонских исследователей Африки. Все они в какой-то мере явились первооткрывателями. Одни изучали языки, до сих пор неведомые европейцам. Другие собрали коллекции предметов быта, ставшие впоследствии украшением лучших эстонских музеев. Расскажем об этих людях подробнее.

На хуторе Туйсу имения Алло Эстляндской губернии маленький Ханс Тийсман, крестьянский сын, впервые прочитал об Африке в «Эстонской еженедельной газете». Тогда же зародилась в нем мечта о дальних странствиях. Но едва мальчик подрос, ему пришлось работать в имении хозяина. Потом — аптека в Ревеле, служба в армии. Тийсману было уже за тридцать, когда он смог наконец поехать учиться в Базель. Любимым учителем Ханса был выдающийся знаток африканских языков путешественник Иозеф Людвиг Крапф, который основал первую миссионерскую станцию близ Момбасы, в прибрежном районе Кении.

В конце 1865 года Тийсман впервые ступает на берег незнакомого континента. К сожалению, до нас не дошел архив исследователя, и мы не можем восстановить по кирпичикам африканский период жизни этого замечательного человека. Осталась написанная им книжка, изданная 17 лет спустя в Ревеле: «Цветок Африки, или Блаженные дни жизни одной девушки галла Паулийне Фатхме из Африки...»

«Та земля народа галла расположена в Восточной Африке. Та земля народа галла — это милая, родная и изборожденная реками, и благодаря горам и

долинам также очень красивая и здоровая земля». Вот они, наполненные теплотой и лиризмом строчки эстонского африканиста!

«По росту они люди хорошего высокого телосложения, с приятным лицом, высоким лбом, кротким характером, немного тонкими губами и мягкими, длинными, кудрявыми волосами. У них суть мудрости — предприимчивая решимость и дружелюбие, но и гордость, читаемая сразу же в их характере, лице и взоре». Как не вяжутся эти строчки из книги Тийсмана с иными, более поздними свидетельствами первых европейцев, оставивших воспоминания о «кровожадных и безжалостных дикарях, не гнушавшихся никакими средствами ради убийства и насилия». Наверное, все дело в отношении. Вполне понятно — свободолюбивые и гордые галла не хотели терпеть наглых и предприимчивых визитеров, искавших наживы, и давали им справедливый отпор.

Вышеприведенные описания племени галла, тексты на их языке и сведения о религиозных представлениях стали первыми в России того времени, а нотная запись песни галла — первой в мире.

Одна из глав книжки называется «Немного об охотниках и похитителях людей и о работорговле». Это рассказ о деяниях арабских купцов, торговцев живым товаром, о караванах, тянувшихся к побережью из глубинных районов материка. «Рабов ставят в ряд, одного за другим и приковывают цепью к длинному бревну, размещая на расстоянии 4—5 шагов друг от друга: возможность достать рукой до стоящего впереди или позади, таким образом, исключается». Тийсман был не одинок в наблюдениях за ужасными проявлениями эпохи работорговли и «охоты на чернокожих» (выражение К. Маркса). О них писали почти все русские путешественники, побывавшие в разные годы в Восточной Африке, — Аверинцев и Догель, Чикин и Булатович.

Как удалось выяснить советскому историку А. Дридзо, Тийсман был единственным человеком в России того времени, который владел тремя африканскими языками — суахили, киньика и галла. Он же стал пионером коллекционирования предметов быта этих племен. Собранная им коллекция хранится сейчас в Государственном историческом музее Эстонской ССР, а книга «Цветок Африки» — в библиотеке Эстонского литературного музея в Тарту.

Одновременно с Тийсманом в Африке побывал еще один эстонец — Юри Юрисон. Совершая кругосветное путешествие на корвете «Аскольд» в 1865—1866 годах, он три недели провел в Кейптауне. В своих южноафриканских зарисовках (их печатала газета «Ээсти Постимеэс») Юрисон оставил интересные сведения о зулу и готтентотах. Он стал родоначальником жанра путевого очерка в Эстонии. Предполагают, что Юрисон писал и по-русски и что именно ему принадлежит статья в «Морском сборнике» за 1866 год, озаглавленная «От Лиссабона до Кейптауна» и подписанная «Молодой моряк».

Тийсман и Юрисон не единственные эстонцы, связавшие свою судьбу с Африкой. Было еще четверо — Овийр, Блумер, Туттер и Рейш.

...Действительно странно: идея написать об эстонских путешественниках по Африке родилась на Сааремаа, в средневековом замке Кююресааре, где сейчас расположился краеведческий музей. Нет, там не оказалось ни документов, ни схем маршрутов, ни рисунков этих отважных людей. Но там есть коллекция чучел перелетных птиц, гнездящихся на острове, — турухтан, вяхирь, саджа, дупель, галстучник. Большинство из них на зиму улетают в Африку. И — о чудо! — розовый фламинго! Его добыли однажды неподалеку в заливе. Стаи этих птиц окрашивают в нежный розовый цвет поверхность кенийских озер. Кения, знакомая эстонцам по запискам соотечественника Эвальда Овийра...

Питомец миссионерской школы Лейпцига, Эвальд Овийр избрал местом своей работы горный массив Килиманджаро, на склонах которого до сих пор живут племена джагга, занимающиеся земледелием. Летом 1895 года он ступил на африканский берег и скоро проявил себя незаурядным лингвистом и этнографом. Используя любые возможности, он совершенствовался в языке суахили, опубликовал исследование о его глагольной системе, которое не потеряло значения до сих пор. Путевые дневники Овийра полны интереснейших наблюдений

за природой и людьми. Он составил словарь языков банту, готовил сборник сказок и загадок. В августе 1896 года он погиб вместе с другим исследователем при нападении неизвестного воинственного племени.

Прошло 11 лет. В 1907 году в Африку прибыл другой эстонский миссионер — Леонхард Блумер, сын учителя из Куусалу. Он поселился южнее того района, где погиб Овийр. Прожив здесь 23 года, он изучил язык и нравы масаев. В распоряжении Блумера не было ни одного печатного издания. В Африке деревенский учитель из Эстляндии составил по образцу эстонской азбуки букварь на языке масаев. А Дридзо в свое время предпринял поиски этой книжки Блумера, считавшейся безвозвратно утерянной: букварь не значился в каталогах ни одной из крупных библиотек мира, а тот, что хранился в одной из церквей Тарту, погиб во время фашистской оккупации. И вот обнаружились два экземпляра. Один из них у раквереского учителя Л. Варика. А в букваре том есть такие географические названия: Эстония, Ревель, Россия, Вильна, Волга. Масаи знали о них... Умер Блумер в 1938 году на острове Сааремаа.

Рихарда Рейша, учителя из Тарту, изучавшего в Дерптском университете восточные языки, тоже поманила Африка. В 1930-е годы он составил на языке суахили учебники грамматики, арифметики и географии.

Хендрик Туттер стоит несколько особняком. Он жил и работал в Юго-Западной Африке. В 1903 году он прибыл туда после окончания Хельсинкской миссионерской школы. Собранные им данные о быте и нравах народности овамбо разбросаны по брошюрам и журналам тех лет.

Вот эти люди, связавшие свою жизнь с Африкой. Далеко была Прибалтика от Черного континента. Отрывочные сведения о нем, крохи, в сущности, доходили до жителей эстонских городов и деревень. Эстонские африканисты — их конечно же, было больше, не все еще поднято, исследовано — расширили географические горизонты эстонцев. Африка стала к ним ближе.

Н. НИКОЛАЕВ

ЗАЩИЩАЯ НЕБО СТОЛИЦЫ...

Осень 1941 года... Тревожные вести с фронта, тревожные дни, тревожные ночи. Несмотря на огромные потери, у гитлеровцев сохранилось почти двухкратное превосходство в авиации. Враг обрушил на Москву и ее пригороды сотни тысяч фугасных и зажигательных бомб. В конце октября и в начале ноября каждую ночь совершались налеты на столицу.

Но 6 ноября, в канун XXIV годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, над Москвой голубело чистое осеннее небо. «Как спокойно сегодня!» — радовались москвичи. Не знали они, какая опасность грозила их городу...

Из дневника командира авиаполка «Летающая смерть» Фридриха фон Болена:

«Даже не верится нашей агентуре. 7 ноября русские наметили парад в Москве, а танки Гудериана в каких-нибудь сорока километрах.

Приказано проучить фанатиков, и на этот раз удар будет неотразим. Все готовилось скрытно. Русские не могут ожидать, что не ночью, а именно днем 6 ноября, после отвлекающих маневров на других участках, специально отобранные, ударные авиадивизии бомбардировщиков с мощным эскортом истребителей пойдут на прорыв только на одном, узком участке противовоздушной обороны. По данным разведки, в этом районе сосредоточено не более дивизиона зенитных орудий. Русские истребители, если они только успеют к месту прорыва, отвлечет на себя эскорт скоростных Ме-110, и мы увидим под собой не ночную, а залитую солнцем Москву, где каждый объект различим как на ладони.

Это будет реванш за неудавшиеся налеты. Полк ударит по центру, как некогда в Варшаве, и докажет, что не зря назван «Летающей смертью». Пусть панический ужас сломит москвичей накануне их праздника. Из осажденной Москвы не должен выйти ни один солдат, ни один житель, будь то мужчина, женщина или ребенок. Таков приказ фюрера, и мы его выполним...»

6 ноября в 4.00 командир зенитной части подполковник Кикнадзе собрал коммунистов и комсомольцев. Спокойно, размеренно звучал его голос, хотя сообщал подполковник тревожные вести. Есть сведения, сказал он, что сегодня, скорей всего днем, готовится массированный налет на Москву. Прорыв, возможно, будет совершаться и на их участке, против которого, как сообщили партизаны, гитлеровцы сосредоточили на прифронтовых аэродромах крупные силы стратегических бомбардировщиков. Средств, чтобы сорвать прорыв, к сожалению, недостаточно. Сведения поступили ночью, и в угрожаемый район для подкрепления удалось пере-

бросить лишь несколько зенитных батарей. Кроме того, можно ожидать, что гитлеровское командование внезапно изменит направление удара, так что необходимо укрепить и другие участки зенитной обороны. Конечно, артиллеристов поддержат истребительные части, приведенные в боевую готовность. Но в первую очередь нужно рассчитывать на себя.

— Друзья мои, — строгий, с легким кавказским акцентом голос подполковника потеплел. — Москва — родная для всех нас. И от нас, коммунистов и комсомольцев, зависит, чтобы ни один фашистский стервятник не появился в небе над Москвой...

10.30. Местечко Перхушково на Можайском шоссе. В леске, под покровом опавшей листвы, замаскирован наблюдательный пункт — форпост артиллерийского полка Кикнадзе. В то утро на НП дежурил лейтенант Курчаков, комсомолец из подмосковного поселка Кожино. По полевому телефону пост справа доложил: «Наблюдаем воздушный бой. Наши истребители гонят двух «мессеров» к позициям дивизиона».

Из-за стогов сена, из оврагов и перелесков вытянулись стволы зениток. Боевая тревога! Курчаков встал к бинокулярному искателю.

Карусель воздушного боя приблизилась. Рассыпаясь в фигурах высшего пилотажа, «мессеры» стремились прорваться к Москве: спускались на малые высоты, горкой взмывали вверх. МиГи, заходя в лоб, отжимали их к западу. В такой воздушной толкучке снаряд мог поразить свой самолет, и Курчаков решил дать сигнал истребителям:

— Трассирующими залп!

Разноцветные облачка разрывов указали кромку действительного огня. Наши летчики поняли, стали подводить противника.

— Раз обнаружили батарею, не выпускайте «мессеров», — распорядился по рации подполковник Кикнадзе. — Вполне возможно, что это разведка боем.

Дружно ударили зенитки. В дыму разрывов Курчаков увидел, как в разные стороны летят два черных тела.

— Ура! Сбили двух фрицев! — закричали бойцы. Но это снаряд прямым попаданием надвое рассек вражеский истребитель. Второй был тотчас же сбит МиГом.

Противника встревожило исчезновение двух «мессершмиттов», пилоты которых, по-видимому, успели сообщить о местонахождении батареи. Вскоре над позициями зенитчиков на большой высоте заныла «рама» — двухфюзеляжный бронированный разведывательный самолет.

— Разведчик должен увериться, что силы у нас есть, но они невелики, — распорядился Кикнадзе. — Нужно создать впечатление очень плотного огня орудиями, стоящими у ложных батарей.

Этими орудиями командовали комсомольцы Данилов, Сверчун, Гургенян. Их расчеты работали так слаженно, что в действительности создалось впечатление многобатарейной стрельбы. «Рама» предпочла убраться, но, видимо, сфотографировала ложные позиции, и гитлеровское командование приняло искусно слаженные деревянные пушки за настоящие. В 14.00, когда действующие орудия убрали, мнимые батареи были яростно атакованы вражескими штурмовиками.

Потом снова прилетела «рама». Ее встретил теперь уже редкий

огонь возвращенных на ложные позиции орудий. И наступила тревожная тишина.

16.30. Радиостанция командного пункта приняла сигнал «воздух». Свыше трехсот пикирующих бомбардировщиков эшелонами шли к Москве. Вражеские самолеты с большими потерями минули первую зону ПВО. Истребители и артиллерия второй зоны отогнали часть бомбардировщиков. Но три группы Ю-88, каждая до авиаполка, прорвались в квадраты части Кикнадзе.

Один за другим вступали в бой дивизионы. Трескучие зигзаги заградительного огня забушевали перед строем бомбардировщиков. Звенело в ушах. Град осколков забарабанил по крышам землянок, по каскам бойцов. Завыли бомбы. Взрывом сорвало крышу с НП лейтенанта Курчакова. Осколки сразили телефониста и радиста, разбили рацию, порвали провод. Контуженный, плохо видя и слыша, лейтенант выполз из заваленной землянки, восстановил телефонную связь.

Главный бомбовый удар обрушился на батарею комсорга полка лейтенанта Каплинского. В вихрях огня и вздыбленной земли падали подносчики снарядов, редели расчеты. Выбывших из строя тотчас заменяли водители, разведчики батареи. Каждый из них владел огневой специальностью. Ни на миг не снижался темп боевой страды. Залп, залп — точный, прицельный, хотя склонявшееся к западу солнце слепило глаза.

Вот почти одновременно врезались в лес два пылающих «юнкерса», факелами догорали в поле еще пять. А на помощь зенитчикам уже пришли советские «ястребки». Они перехватывали вырвавшихся из зоны огня пикировщиков, разгоняли, сбивали конвойные «мессеры».

Гитлеровцы вразброд повернули на запад. Но одна из групп, кружившая в стороне, перестроилась в кильватер и, выждав, когда советские истребители погнались за удиравшими «юнкерсами», внезапно пошла на прорыв. 26 машин справа, одна слева — ведущий фашистского авиаполка.

Опытный ас, он вел машину мастерски, прятался в облаках, менял высоту. Все бомбардировщики, будто связанные, повторяли его маневры.

«Собьем ведущего — разрушим весь строй», — подумал Каплинский и сосредоточил огонь батареи на флагмане. Разрывы слева, сзади, справа... Вилка! Еще залп — и «юнкерс» с отбитой плоскостью закувыркался к земле. Вслед за ним от прямых попаданий рассыпались в воздухе два ведомых. Остальные сразу же повернули на запад.

После боя в обломках сбитого фашистского флагмана был обнаружен труп старшего офицера люфтваффе. В карманах его мундира с двумя рыцарскими крестами нашли дневник и документы на имя майора Фридриха фон Болена. «День юбилея большевиков мы превратим в день кровавой тризны по большевизму», — похвалялся в последней записи фашистский пират. Но финал был иным...

В 18.30 смолкли последние залпы зениток. Отошли от орудий Каплинский, Данилов, Сверчун, Гургенян — москвич, сибиряк, украинец и армянин. Устало закрыл боевую карту сын грузинского крестьянина подполковник Кикнадзе. А в Москве люди готовились к любимому празднику...

Ю. ГУРЬЕВ

Рыбачки с острова Тааремаа. Фото АПН

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ПОВАРИШ

Семен КЛЕБАНОВ

ПРОЗРЕНИЕ

Повесть

Окончание. Начало на стр. 132.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Знакомство с личным делом профессора Ярцева, которое внимательно изучил следователь Ледогоров, убедило в полном благополучии служебных характеристик и анкетных данных. Внимание Вячеслава Александровича привлекла находившаяся в деле короткая рекомендация, подписанная командиром стрелковой дивизии генерал-майором Л. А. Скворцовым. Он писал:

«Не будучи специалистом в медицине, все же считаю своим долгом рекомендовать Дмитрия Николаевича Ярцева на работу в вашу клинику. Знаю его по совместному пребыванию на фронте как храброго фронтового хирурга, который мужественно исполнял свои обязанности с первого до последнего дня войны. В качестве врача дважды участвовал в десантных операциях. Награжден орденами Отечественной войны первой степени и Красной Звезды».

Казалось бы, рекомендация мало что прибавляла к уже известным положительным отзывам о Ярцеве. Однако Ледогорова чем-то насторожил этот документ. Зачем Ярцеву понадобилась рекомендация фронтового командира? Стремился попасть в столичную больницу на престижную работу? Видимо, был серьезный конкурс и понадобилась дополнительная поддержка? Просил ли он дать ему рекомендацию? Возможно, просил, а в общем это не имеет существенного значения. Генерал Скворцов мог написать по собственной инициативе. Так... Обрати внима-

ние: «В качестве врача дважды участвовал в десантных операциях». К чему такая подробность — «в качестве врача участвовал...»? Все имеет определенный смысл. Иначе Скворцов мог написать: «Участвовал в двух десантных операциях». Этого вполне достаточно, чтобы характеризовать его как отважного человека.

Вячеслав Александрович переписал текст рекомендации в свою записную книжку и поехал в прокуратуру. Он вызвал секретаря Люсю и попросил установить адрес генерала Скворцова Л. А.

— Затем узнайте, пожалуйста, в каком военкомате состоит на учете... — Тут он оборвал себя, сообразив, что справку о Ярцеве лучше навести самому, и добавил: — Нет, не надо, пожалуй, все!

Вячеслав Александрович предполагал, что генерала Скворцова уже, может, нет в живых, тогда нужно через военкомат получить подробные данные о прохождении воинской службы и участии Ярцева в Отечественной войне. Скорее всего, подумал он, придется запрашивать армейский архив. К этим годам его жизни надо отнестись повнимательней.

Поиски Скворцова Люся повела сразу в трех направлениях: через Министерство обороны, Военную прокуратуру, Комитет ветеранов войны. Сделала она и четвертый запрос — в адресный стол Москвы. Ей почему-то казалось, что генерал Скворцов живет в столице. Она составила списки телефонов, по которым следует позвонить в пятницу утром. Уже к полудню в пятницу Люся поняла, что прежний список с телефонами ей больше не нужен. Теперь появился листок с иногородними номерами, среди которых, возможно, есть номер Скворцова.

Люся была студенткой-заочницей юридического факультета, мечтала стать следователем и всегда радовалась, если Вячеслав Александрович давал ей задания, связанные с поиском людей или каких-то справочных данных. Она увлеченно выполняла поручение, ощущая свою причастность к важной работе.

В тот день ее звонкий голос слышали в Иркутске и Ялте, Воронеже и Риге. В шестнадцать сорок пять на листке появился принадлежавший Скворцову номер телефона в Пущине.

Еще через двадцать две минуты чей-то простуженный баритон сообщил, что Леонид Алексеевич Скворцов уехал в Киргизию и вернется через месяц, не раньше.

Люся не стала говорить, что им интересуется следователь по особо важным делам — об этом она упоминала в крайних случаях, — а просто сказала: «Его спрашивает секретарь товарища Ледогорова».

Уточнить адрес Скворцова не удалось. Простуженный баритон устало ответил: «Генерал отдыхает где-то на берегу озера... Там какой-то санаторий...»

Люся сразу вспомнила про Иссык-Куль и решила вести поиск Скворцова в этом районе. Она позвонила в Министерство здравоохранения, где получила справку о санаториях, расположенных на побережье. Их оказалось четыре. Тогда она связалась с прокуратурой республики. Через полчаса ей сообщили телефоны санаториев. В двух санаториях Скворцова не оказалось. Третий звонок был в здравницу «Голубой Иссык-Куль». Сестра-хозяйка подтвердила: генерал Скворцов в девятой комнате.

Люся хотела переговорить с генералом, но это уже выходило за рамки поручения, и она пошла докладывать Ледогорову.

Он разговаривал с кем-то по телефону. Люся подошла к аквариуму. Две красноперые рыбки подплыли к стеклу, поглядели на ее новое платье, красиво облегавшее изящную фигурку, и тут же уплыли — ничего они не понимали в женской красоте.

Вячеслав Александрович положил трубку.

— Скворцов проживает в Пущине. Сейчас находится в санатории «Голубой Иссык-Куль». Вот его телефоны, адрес. — Она положила листочек. — Как мне сообщили, приедет только через месяц.

— Люсенька, из вас получится толковый следователь. Надеюсь, что мы с вами еще раскусим какое-нибудь сложное дело... — Он посмотрел на часы. — Пожалуйста, позвоните Скворцову.

Когда раздался звонок междугородной, Ледогоров взял трубку и услышал: «Говорите, Скворцов у телефона».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Вернувшись в Москву, Ярцев позвонил Ледогорову, сообщил, что завтра уезжает в Берлин проводить операцию. В трубке довольно долго держалось молчание.

— Желаю успеха, — наконец ответил Вячеслав Александрович.

— Я хотел поставить вас в известность, — тоже помолчав, произнес Ярцев.

— Спасибо.

— Я вам нужен?

— Нет, Дмитрий Николаевич. Счастливого пути.

В больницу Ярцев пошел пешком — хотелось повидать улицы, по которым он уже стосковался.

Медсестра Лидия Петровна принесла в кабинет Ярцева набор инструментария, подготовленный по его просьбе, и накрахмаленный халат в целлофановом пакете.

— Вы не очень торопитесь, Дмитрий Николаевич? Мне бы хотелось поговорить.

— Пожалуйста.

Лидия Петровна говорила тихо, по ее напряженному лицу было видно, с каким усилием она сдерживает волнение.

Она рассказала о том, что уже несколько раз к ней приходила доктор Баранова и настойчиво просила в письменной форме сообщить о случае, когда Крапивка опознал в Ярцеве какого-то преступника. Баранова расценила ее отказ как беспринципность и обвинила в нежелании помочь должным образом отреагировать на происшедшее.

— Я хотела пойти к Борису Степановичу, а потом решила: лучше вам расскажу.

И в эту минуту позвонил главврач, попросил Ярцева зайти к нему.

Едва он вошел в кабинет, как Борис Степанович поднялся из кресла, радушным жестом пригласил профессора за круглый столик. Любезность главврача невольно насторожила Ярцева. Столь почтительный прием совершался только при визитах начальства.

Еще удивительней было то, что Борис Степанович сразу же заговорил о заслугах Ярцева. Со стороны могло показаться, что он произносит речь на юбилейном вечере.

Ярцев слушал и ждал, чем завершится этот хвалебный панегирик. Но главврач не жалел эпитетов, рисуя образ крупного клинициста и ученого.

— Я мог бы продолжить, как говорится, список ваших благодеяний, но... Поверьте, я тоже удивлен и встревожен, Дмитрий Николаевич... Да-да, искренне переживаю за вас. За вашу безупречную репутацию. — Главврач выдержал актерскую паузу.— Сложилось все как-то нелепо, обидно!

— О чем вы горюете? — как можно спокойней спросил Ярцев.

— Ну как же? Неужели не ясно?

— Пока нет.

— Честно говоря, мне так не хочется ворошить эту историю... Я о Крапивке.

— Он был слепым, теперь прозрел, — отчетливо сказал Ярцев.

— А вас скомпрометировал! Оболгал, оклеветал! — Главврач по-птичьи, сбоку смотрел на Дмитрия Николаевича. — Вот уж действительно чужая душа — потемки! Натворил и уехал... Черт знает какая нелепица!.. Везде слухи, сплетни, смешки! По всем палатам и кабинетам только и слышишь: «Крапивка!..» «Ярцев!..» Так, мол, и сяк!.. Что прикажете делать?

— Вам виднее.

— Но, Дмитрий Николаевич, не писать же нам повсюду опровержения!.. Я переживаю за вас. Я понимаю, как вам трудно! Скажу откровенно — я бы не смог перенести эти сплетни. При нашей работе, при необходимости сохранять душевный покой и нервы...

— Вас беспокоит мое самочувствие? Так я вас понял?

— Верно! И вам решать... А я вас пойму и пойду навстречу!

— Навстречу чему, Борис Степанович?

— Любому вашему решению!

— Подать заявление? По собственному желанию?

— Вот уже и обиделись!

— Нет.

— А мне показалось — обиделись!

— В какой-то мере даже благодарен...

— Ну, слава богу. Я ведь по-человечески, по-дружески, Дмитрий Николаевич... Хоть по должности и обязан, но не желаю в этих слухах разбираться. Ну их к бесу! Надо сохранить вашу репутацию, вашу работоспособность. Это главное. Да и, в конце концов, свет клином не сошелся на нашей клинике. Пусть будет хуже для нее!

Раздался приглушенный телефонный звонок.

— Слушаю... Да, да... Здравствуйте, Всеволод Савельевич, — почтительно произнес главврач. — Разумеется. Все немедленно передам. — Он положил трубку и, не сумев погасить удивления, застывшего в глазах, сообщил Ярцеву: — В Берлине вас будет встречать Вальтер Грюнвальд... Странно... Узнаю о вашей поездке от начальника управления.

— У вас свои заботы...

Неожиданный звонок озадачил главврача. Он еще не знал, как вести разговор дальше, растерянность мешала ему сосредоточиться, но он явно почувствовал, что допустил какой-то просчет, и теперь изо всех сил старался собраться с духом, чтобы смягчить неловкость своего положения.

— Надо же, в такое время... Когда нарушен ваш покой и нервы... Я понимаю, как вам будет трудно.

Ярцев хотел ответить ему, но сдержался и вышел из комнаты.

В кабинете было душно. Ярцев открыл окно, впустил городской ветерок с запахом бензина и асфальта.

Зазвонил телефон.

Ярцев поднял трубку, не подозревая, что услышит голос Вадима Дорошина.

— Здравствуй, — сказал он. — Как твои дела?

— Спасибо. Хорошо.

Дорошин довольно сбивчиво заговорил, что множество раз названивал Ярцеву — и на работу, и домой. Хотел написать, но не знал, где он отдыхает. Накопились всякие делишки, и есть неотложные. Вот, например, как быть с Мариной? Судя по всему, ее не примут в институт, не получила проходного балла. А у него есть возможность подключить одного товарища...

— Не стоит, — прервал его Ярцев. — Если Маринка не поступит, особенной трагедии нет. В следующий раз будет серьезней готовиться...

Они закончили разговор, и никто не сказал: «Надо бы повидаться...»

Домой он вернулся усталый, снял пиджак, бухнулся в привычное свое кресло и только тогда почувствовал, каким напряженным был этот день.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Скворцов глянул на удостоверение Ледогорова и произнес, не скрывая иронии:

— Что ж я натворил, если ко мне следователь из Москвы прилетел? — Он с прищуром посмотрел на Вячеслава Александровича. — В мои-то семьдесят вредно волноваться...

— Неужели семьдесят? — вежливо поразился Вячеслав Александрович. — Шестьдесят, больше не дашь.

— Беру. С удовольствием.

— Как отдыхаете?

— Спасибо, отлично. — И, улыбнувшись, вспомнил рекламные строки путеводителя: — Иссык-Куль, словно первая любовь. Покинуть можно, но забыть никогда... Слушаю вас.

— Вы знакомы с Ярцевым Дмитрием Николаевичем?

— Сразу отвечать или потом на все вопросы?

— На этот вопрос я хотел бы услышать ответ сейчас. Может, вы совсем другой Скворцов.

— Да нет, тот самый... Извольте. Дмитрия Николаевича знаю хорошо. Офтальмолог. Доктор медицинских наук, профессор. Не ошибся? Вас этот Ярцев интересует?

— Этот.

— Дмитрий Николаевич в Москве? — поинтересовался Скворцов.

— В отпуске.

— Обычно он осенью уезжал. Любил эту пору. А нынче... Не знаете почему?

Вячеслав Александрович хотел было сказать «нет», но вовремя вспомнил про Марину.

— Дочь в институт поступает. Вот и нужен родительский глаз.

— Это верно, — мягко согласился Скворцов. Он подошел к шкафчику, достал бутылку минеральной воды, поставил на круглый столик, покрытый клетчатой салфеткой. Затем принес небольшие стаканчики и, прервав паузу, сказал: — Рекомендую, прекрасный напиток.

Вячеслав Александрович пил маленькими глотками и думал, когда же Скворцов перестанет деликатничать и прямо скажет: «А что, собственно, случилось с Ярцевым? Долго мы в жмурки будем играть?»

Но Скворцов почему-то не торопился задать главный вопрос, терпеливо выжидал, когда же следователь сам скажет, зачем он пожаловал к нему...

— Вы давно знаете профессора Ярцева?

— С сорок первого года. Тогда он еще был простым врачом.

— Стало быть, с начала войны? — уточнил следователь.

— Стало быть, с начала войны, — подчеркнуто повторил Скворцов. — Видимо, это обстоятельство дало вам повод искать меня. Не так ли?

— Вы правы, — кивнул Вячеслав Александрович. — Тем более уместно вспомнить, что после войны вы рекомендовали Дмитрия Николаевича на работу в клинику.

Скворцов понял: следователь начал допрос.

— Вот это вы писали? — вынув из портфеля рекомендацию, следователь передал листок Скворцову.

— Точно. Мои слова. Нужно подтвердить? Могу еще раз подписать.

— В этом надобности нет. Ярцев теперь крупный специалист.

— Приятно слышать. Значит, я тогда не ошибся... А листок к чему? Наверное, смущает что-то? Ведь так, Вячеслав Александрович?

— «Смущает» — это слишком громко сказано. Просто следователю иногда полезно знать несколько больше, чем сказано в тексте.

— Простите, «больше, чем сказано», может иметь другой смысл. А я имел в виду свой, определенный.

— Как появилась рекомендация? Ее просил Дмитрий Николаевич?

— Нет. Он даже не знал про нее. Я сам принес ее главному врачу.

— Вам Ярцев говорил, что ведет переговоры о работе в клинике?

— Разумеется.

— Зачем было скрывать от него? Как это понять?

— Ярцев — человек щепетильный. Привык всего добиваться сам. Кажется, про бумажку мы все обговорили?

— Все обговорить, конечно, не удалось, — заметил Вячеслав Александрович.

— Опять ищете иной смысл? Так мы с вами на одном месте топтаться будем. Скучное занятие... Словно мы с вами новички на стрельбище. Все пуляем мимо мишени. Пожалуй, самое время определить цель. Кто есть кто? И как позволите понимать наш разговор? То ли идет допрос обвиняемого, то ли в свидетели меня зачислили? Проясните обстановочку, Вячеслав Александрович! Опыта в этой области, к счастью, не имею.

У Ледогорова, конечно, была трудная миссия. Он мог бы сразу рассказать о том, что привело его в санаторий и нарушить отдых Скворцова. Но процесс следствия до определенной поры не позволял ему раскрыть все происшедшее с Ярцевым. Была у него иная задача. И он стремился обходить острые углы в разговоре с генералом. Однако наступил момент, когда Скворцов потребовал от следователя ясного ответа, по какому поводу он дает показания.

И Вячеслав Александрович, поняв, что все возможности отвлеченных рассуждений исчерпаны, сказал:

— Леонид Алексеевич! Вы не обвиняемый и не свидетель. Как видите, я не веду протокол, не предупреждаю вас об ответственности за ложные показания... Почему интересуемся Ярцевым?

— Именно это меня волнует! — резко произнес Скворцов.

— Так случилось, что прокуратура вынуждена сейчас вернуться к расследованию одного дела, которое разбиралось тридцать пять лет назад...

— Стало быть, в тридцатом году, — заметил Скворцов.

— В этом давнем, сложном деле упоминается один молодой человек... Есть предположение, что это Ярцев. Тогда ему было восемнадцать лет.

Скворцов тяжело вздохнул, но промолчал.

— Представляете, — продолжал следователь, — как трудно пробиваться сквозь толщу времени, вести следствие, устанавливать истину. Поэтому мы хотим как можно больше узнать о Ярцеве. Ведь следователь обязан выяснить не только уличающие, но и оправдывающие и смягчающие вину обстоятельства. В личном деле профессора я увидел вашу рекомендацию. Поэтому я здесь. Ваша добрая воля... Можете на мои вопросы не отвечать.

Скворцов слушал сосредоточенно. Когда Ледогоров умолк, он неожиданно поднялся, вышел на балкон, посмотрел на серебристую гладь озера и тут же отвернулся, будто оно было причиной печали. Но виделось ему другое озеро, задымленное, грохочущее взрывами... И катер, на котором ушел в десант Ярцев.

Скворцов вернулся в комнату, хлебнул воды.

— Горькую весть вы обрушили на меня... Не могу я молчать. Наверное, я все-таки счастливый человек, — с тревожной надеждой рассуждал Скворцов. — Благодарю судьбу, что дожил до сегодняшнего дня и могу рассказать следователю по особо важным делам о Ярцеве... Не верю, понимаете, не верю... Может, там однофамилец?.. Хорошо, что вы меня нашли... Вы хотите побольше узнать о Ярцеве. Я вам про войну расскажу... Думаю, будет полезным...

В эту теплую ночь, томительно долгую и печальную, впервые все время горел свет в комнате санатория, где жил Скворцов.

Он говорил тихо, иногда умолкал, задумчиво хмурил лоб, вспоминая события давних лет.

— На фронте все на виду: кто смел, а кто оробел. И вот случилось, что я сам попал к Ярцеву под нож. От ран бог миловал, а от аппендицита не уберег. Знаете, было даже неловко признаться — из-за чего в госпиталь попал. Хотя мудрая санитарка Мартьянова считала: раз штатская хворь прицепилась, значит, скоро конец войне. Но до той победной поры еще далеко было... — Скворцов вытер капельки пота со лба и продолжал: — Все обошлось. Вскоре я снова был в строю. Но доктора Ярцева из виду не потерял, то и дело слышал о нем. Его, между прочим, окрестили Сивкой-Буркой. Под Луневкой мы отходили, несли потери. Так он впрягся в телегу и вместе с медсестрой вывез четырех раненых... Потом был случай — выговор ему влепил. Шофера моего — он на «виллисе» ездил — истребитель атаковал. Ногу прошил... Я звоню в санбат, спрашиваю, где Ярцев? А мне докладывают: «Он на передовую уполз, раненых подбирать». Ну, думаю, я тебе покажу! Приказал: «Немедленно прислать на КП». Приходит — едва живой от усталости. Я го-

ворю: «Твое дело — операционный стол, людей штопать! А ты что? Попадешь снайперу на мушку, где я хирурга возьму? Они на вес золота!..» Распекаю, а он вздыхает, морщится. Вижу — не согласен. «Ну, скажи, я не прав?» Отвечает: «Нет, все правильно. Только у каждого, кроме обязанностей, есть и свой долг... У кого маленький, у кого побольше, но у каждого свой». Я эти слова запомнил... Потом дважды Дмитрий Николаевич участвовал в десанте. Про первый я узнал с опозданием, про второй накануне. И приказал — запретить! Передали ему приказ. Думаю, все в порядке. Где там! Ушел с десантниками... Пришлось опять распекать. «Долго ты в герои будешь лезть? Если достоин — звездочка сама тебя найдет! Ты скажи — кому на тебя жаловаться: отцу, матери, жене? Может, найдется управа на твою голову, ежели комдив для тебя ноль без палочки!» А он говорит: «Никого нет, один я». Не знаю почему, но я тогда вспомнил его слова: «У каждого свой долг», и спросил: «Тебе очень нужно лезть под пули?» Он, не задумываясь, ответил: «Нужно!» Мне показалось, что в его глазах мольба, что ли... О чем-то очень важном... Когда он уходил, лицо его просветлело...

Скворцов выдохнул, словно поставил точку.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

До отправления поезда Москва — Берлин оставалось двадцать две минуты. Ярцев и Елена вошли в купе.

Ярцев поставил чемодан, повесил плащ, включил верхний яркий свет. Крахмальной белизной сверкнула салфетка, покрывавшая столик, и сразу чем-то напомнила операционную.

Мысли мгновенно увели его в неведомую немецкую больницу, и он увидел себя там, перед стеклянной дверью, на которой нарисованы три красных круга. Они пламенели, как огонь светофора, запрещающий вход.

— О чем думаешь, Митя? — спросила Елена Сергеевна.

— Чушь всякая лезет в голову... Пойдем на воздух.

Они вышли из вагона и стали прохаживаться по платформе, где с каждой минутой становилось все суетливее.

— Ты почаще звони!.. Нет, лучше сообщи телефон в гостинице. Я сама буду вызывать. Ладно, Митя?

— Хорошо... Интересно, кто со мной в купе поедет?

— Какая разница?..

— А вдруг — прекрасная дама.

— От души желаю тебе такой спутницы.

— Вот как! Раньше, Леночка, ты все-таки ревновала.

— Значит, поумнела, Митя... К старости поумнела.

Прибежал чуть запоздавший Останин.

— С удовольствием бы сам прокатился! — сказал он. — Когда попадаю на вокзал в роли провожающего, завидки берут!

— Скоро угомонишься, бродяга? — спросила Елена, обрадованная по-детски веселой болтовней.

Останин хитровато покачал головой. Передал Ярцеву бутылку коньяка, посоветовав опустошить посуду с немецкими коллегами и непременно передать им, что непутевый друг загадал на этот сувенир. Потом с ухмылкой попросил привезти ему ваксу — чтобы солнце играло в его начищенных штиблетах.

— И еще, Митя, — сказал Останин, — тебя станут спрашивать, в чем секрет твоего мастерства. На этот случай предлагаю байку. Был один капитан дальнего плавания. Каждый раз перед выходом в рейс он поднимался на капитанский мостик и заглядывал в какую-то бумажку. Как в молитвенник. Все знали про этот ритуал, но никто не ведал, что написано в бумажке. Капитан умер в одночасье. Решили узнать его секрет, вынули таинственный листок. Там было написано: «Впереди — нос, позади — корма». Вся капитанская премудрость. Воспользуйся.

Ушел поезд. Останин проводил Елену домой.

Вернувшись в Москву, Ярцев в первый же день пришел в клинику. Был деловит, спокоен, сосредоточен. Сказал Лидии Петровне, что назначает обход. Привычно надел халат, помыл руки.

— Какие новости у нас?

— Особых нет. Писем много, лежат в папке.

Лидия Петровна отважилась, спросила:

— Как прошла операция?

— Знаете, — застеснялся Ярцев, — в моей практике случай редкий. Но совладал!.. Пришлось поразмышлять. Два стакана чая выхлебал!

— У вас это хорошая примета... Я принесу письма.

Неожиданно появился главврач. И еще у двери сказал:

— Приятно информирован. Все хорошо! Немцы довольны. Иначе и быть не могло. — Он приблизился к столу. — А тут у нас событие важное намечается. Звонили из министерства, просят выступить с докладом... Методологические проблемы со-

временной офтальмологии... И я, знаете ли, рекомендовал в докладчики именно вас...

Ярцев заметил неспокойный, блуждающий взгляд главврача и отвернулся.

— Я подумал, Дмитрий Николаевич, — продолжал он, — что это всем на пользу.

Ярцев, конечно, мог ответить решительным отказом и на том закончить разговор. Но в нем вызрела потребность сказать ему все, что скопилось в душе. И это не было продиктовано ни местью, ни причиненной ему болью, а было желанием в свой трудный час не унизить совесть, не разменять ее на некий шанс благополучия.

— Жалко мне вас, Борис Степаныч. Слушаю вас — и не верю. Вы просите поверить в вашу искренность... Трудно. Не могу. Я не стану вас упрекать в двоедушии... Может, память вас подвела. Вспомните, как вы советовали мне покинуть эти стены. И это я могу простить. Но вы старательно вышибали скальпель из моих рук. Такое не забывается. Это моя жизнь. Вы хотели ее отнять. По какому праву?

— Вы сгущаете краски, — побледнев, ответил главврач. — Был служебный разговор... Может, я и погорячился. Но я пришел к вам. Пришел. Давайте забудем.

— Во имя чего?

Главврач поднялся, похоже, хотел уйти.

— Нет уж, договорим... Давно это было. В районе Владивостока вспыхнула неизвестная болезнь. Диагнозы врачей были разноречивы. Врачи не сдавались, их усилия привели к единому диагнозу: «дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка». Стали искать возбудителя болезни. Возглавил группу специалистов врач Тихоокеанского флота Владимир Знаменский. Наконец удалось выделить от больных микроб псевдотуберкулеза. Возникла проблема: нужны доказательства, что именно этот микроб — причина этой болезни. Единственный способ — провести эксперимент над человеком. А ведь из двенадцати больных погибли одиннадцать. И все-таки Знаменский вводит себе микроб. Он отказывается принимать лекарства, настаивает, чтобы сперва провели лабораторные и клинические исследования. Но подвиг свершился. Эксперимент удался. А вот неожиданный финал. Нашлись люди, которые сказали про Знаменского: «Очень самолюбив... Так он же на этой болезни диссертацию написал...» Разные у нас жизни. У меня и у Знаменского. Он совершил подвиг... Но, думается мне, есть что-то общее у вас и тех людей, кто поставил свое черное клеймо на личном деле Знаменского...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Теперь, когда Вячеслав Александрович закончил следствие по делу профессора Ярцева и представил обстоятельное заключение, он признался себе, что предвидел результат, к которому придет. И это совсем не потому, что Вячеслав Александрович принадлежит к приверженцам первой возникшей версии. Наоборот, как бы заманчиво, логично ни было изначальное предположение, он старательно разрушал его новой гипотезой, тем самым проверяя прочность добытых доказательств.

В деле Ярцева была очевидна ясность его жизненного пути с момента ухода на фронт в июне сорок первого и по настоящее время.

Но именно эта определенность, исключающая любое иное толкование, порождала у Вячеслава Александровича особый интерес к тем далеким годам, когда Проклов стал Ярцевым.

Однажды, размышляя о деле Ярцева, он нашел графическое выражение его жизни: пунктир неизвестности переходил в сплошную линию ясных лет. Он понимал, что увидеть жизнь Ярцева без пунктира будет трудно. Но каждая находка позволит соединить два-три штришка, и тогда прочертится отрезок линии, сближающей разные годы. Какими они были те, дальние?

Конечно, удачей Вячеслав Александрович считал встречу с генералом Скворцовым. Если бы даже биография Ярцева не содержала ни одного белого пятна, то и тогда без сведений, полученных от командира дивизии, облик профессора Ярцева был бы не полон.

Изучая обстановку, в которой протекала жизнь молодого Ярцева, Вячеслав Александрович подобрал несколько книг, посвященных строительству Челябинского тракторного завода, чтобы рассматривать жизнь Ярцева в связи с главным, общим, что сосуществовало рядом.

В книге воспоминаний ветеранов труда Вячеслав Александрович обратил внимание на сноску, которая адресовала читателей к сборнику архивных материалов Челябинской прокуратуры. Здесь были собраны документы, отразившие борьбу с преступными элементами в период строительства завода.

Через три дня Ледогоров получил этот сборник из Ленинской библиотеки. А еще через два дня он вписывал в свою общую тетрадь, где был раздел, озаглавленный «И. Проклов», следующие строки:

«Во время вражьей вылазки в этом бараке был тяжко избит секретарь партячейки Родион Кравцов. В это время смело

проявил себя молодой землекоп Д. Ярцев. Он бросился на помощь Кравцову и оказал сопротивление разнузданным хулиганам».

При всех неожиданностях, которые сопутствуют работе следователя, эта история стала как бы платой за долгие ночи, проведенные за читкой книг.

Невольно вспомнилась первая встреча с Ярцевым. Вячеслав Александрович искренне выражал свое отношение к запоздавшему заявителю. Это был сознательный поступок следователя, который хотел вызвать в душе Ярцева понимание своей личной ответственности. Он требовал от него не признания, оно было сделано, а ждал свершения собственного суда над собой. Только не суда Ярцева над Прокловым, а Ярцева над Ярцевым.

Вячеслав Александрович должен был идти к начальнику отдела. Он еще не знал, успел ли тот прочитать заключение по делу Ярцева.

«Закончилось исследование одной жизни, — подумал Ледогоров. — Началось оно с той страшной ночи и бегства никому не ведомого парня на железнодорожной платформе. А через тридцать пять лет я слышу голос человека, который говорит мне о поездке в Берлин. Туда известный профессор поедет первым классом... Какая же длинная, трудная дорога жизни разделяет железнодорожную платформу, груженную лесом, и вагон международного экспресса!»

Вошла Люся, сказала:

— Вас вызывает Шагин.

Вячеслав Александрович взял папку, закрыл сейф, направился к начальнику.

— Прошу разрешения, — как всегда, произнес он.

— Входите. — И без всякого вступления Виктор Павлович спросил: —Что привело вас к Скворцову?

— Просчет... Оплошность. Первый раз я прочитал рекомендацию Скворцова, не придал ей значения. Во второй раз она у меня вызвала подозрение. Помните слова Анатоля Франса: «Наиболее правдоподобно выглядит документ, который подделан...» Подействовала реакция на допущенную мною ошибку.

— А я думал, начнете хвалиться, — усмехнулся Виктор Павлович.

— По-моему, лучше сделать разумный вывод... Честно говоря, встреча с генералом Скворцовым поначалу не сулила никаких открытий. Его жесткие, порой колючие ответы на мои вопросы лишь подтверждали известные данные. Но когда он стал рассказывать о душевном состоянии Ярцева, о его бесстрашной одержимости на поле боя, то я понял — это расплата за Проклова.

— Как появился сборник документов прокуратуры Челябинска?

— Меня больше всего интересовали первые годы его новой жизни. Все началось с Челябинска. И надо было самому окунуться в ту эпоху, дабы понять процесс становления и, упаси бог, мерить все только сегодняшними мерками. Я как-то даже прикинул, что это дело на четыре года старше меня самого.

— Любопытно, — заметил Виктор Павлович. — Оказалось, что вы добыли непредсказуемые свидетельства.

Шагин разборчивым почерком подписал заключение и сказал:

— Будем докладывать генеральному...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Не прошло и недели после возвращения из Берлина, как Ярцев сам оказался пациентом больницы. И на долгие дни. Неподвижность, унизительное бессилие. Страх. Боль. Ему все это представлялось нереальным, фантастичным — с такой ошеломительной быстротой его жизнь совершила еще один поворот. Непредсказуемый поворот.

Что вызвало его? Стычка с главврачом? Нет. Как это ни странно, Ярцев через день-другой уже перестал думать о ней. И произошло это само собою, как будто бы даже вопреки его всегдашней трезвости и рассудительности.

В те дни он ощущал какую-то давно забытую беспричинную радость, родственную той, какую ощущает ребенок, с улыбкой просыпающийся по утрам. Все было удовольствием — завтракать в милой его сердцу кухне, прихлебывать чай из большой желтой кружки, посматривать на Елену и понимать, что она тоже чувствует этот покой, эту необъяснимую радость, а потом идти пешком к себе в клинику и представлять череду дневных дел, ожидающих его. И знать, верить, что они будут успешны.

Да, иной раз он пытался отрезвить себя. Он мысленно повторял, что ничего еще не кончилось — ни расследование его дела в прокуратуре, которое может тянуться и тянуться, а потом прийти к неизвестному финалу; ни конфликт с главврачом, если и затихший, то лишь на время, потому что Борис Степанович не так прост, чтобы после первой же стычки сложить оружие, нет, он еще попытается воевать и будет изворотлив, хитер и упорен; ни даже сама операция, проведенная в Берлине, потому что и после удачных, кажущихся безукоризненными операций случаются осложнения... Ярцев твердил себе

это, но беспричинная радость все равно не гасла, все равно грела. И дела подвигались успешно.

Может быть, опять был прав Останин, любивший повторять — без лукавого мудрствования, — что жизнь состоит из черных и белых полос, и вот черная кончилась, наступила светлая, и надо попросту радоваться этой передышке, как выпавшим подряд теплым и солнечным дням?

Он позвонил Останину:

— Что за своей ваксой не приходишь?

— Неужто привез?

— Одну ее и купил.

— Спасибо, Митя! Век не забуду! Сию минуту бы прибежал, да вот снова улетаю. На Сахалин! Вернусь — обмоем подарок!..

Дружище Останин любил еще повторять, что унылые будни человек обязан превращать хотя бы в маленькие, но праздники. Сам-то он мог и умел это делать.

Он возвращался из клиники все в том же состоянии приподнятости, веселого и чуть пьянящего возбуждения, несмотря на то, что позади был долгий рабочий день и в теле ощущалась усталость. У подъезда приткнулся громоздкий фургон, и несколько человек — встрепанных и раскрасневшихся — запихивали в коробку лифта перевернутые стулья, детскую кровать, связки книг и узлы с бельем. Переселялось какое-то семейство.

Чтобы не ждать лифта, Ярцев стал подниматься пешком. Легко, быстро дошагал до третьего этажа, и вдруг кольнуло сердце. Не очень сильно — короткая и тотчас отпустившая боль. Если бы ему знать, что это сигнал опасности! Если бы знать! А впрочем, что изменилось бы, что он сумел бы сделать? Лечь в постель, принять профилактические меры, наглотаться лекарства? И помогло бы? Вряд ли, если чаша была уже полна.

Он постоял в пролете между этажами, потирая ладонью ключицу. Боль исчезла, не повторялась. У него уже бывало так, вероятно, как у большинства пожилых людей, проживших отнюдь не растительно-безоблачную жизнь (да еще и курящих!), и он сказал себе, а верней, безотчетно подумал, что это просто от усталости, от городской августовской жары и духоты. Пройдет. Уже прошло.

И он так же легко и быстро пошел вверх, до своего пятого этажа.

Можно было открыть дверь своим ключом, но он нарочно громко и требовательно позвонил — все от того же радостного возбуждения, от нетерпеливого желания увидеть домашних, ко-

торые заражались теперь его состоянием и радовались его радости.

Дверь распахнула Марина.

— А у нас гость! — сообщила она с порога, ответно улыбаясь Дмитрию Николаевичу.

— Отлично! — сказал он. — Кто таков?

Марина стремительно — как и все, что она делала, — обернулась:

— Максим! Где ты?..

«Ах, вот кто явился! — мелькнуло в мыслях Ярцева. — Тот самый! Давно бы пора!..» С откровенным любопытством он уставился на высокого угловатого парня, появившегося в передней. Рука у парня была жилистая, сухая. Сильная.

— Премного наслышан, — с преувеличенной почтительностью поклонился Ярцев.

— Я тоже, — сказал Максим.

— Весьма приятно. Наконец-то взаимно убедимся, насколько слухи о нас соответствуют действительности.

Он говорил это, а внутри озорно ликовал: «Ну, держись, Максим! Я тебе устрою смотрины! Я проверю, на что ты способен!»

— Да проходите же! — смеялась Марина. — Прямо к столу! Мама уже чай приготовила, у нас торт! Любишь трюфельный торт, Максим?

— Я все торты люблю, — ответил Максим.

Он, казалось, ничуть не смущается. Ни скованности, ни юношеской неловкости, будто уже бывал в их квартире. «А может, действительно уже не раз побывал?» — усмехнулся про себя Ярцев.

— Закурим? Прошу! — Он раскрыл перед Максимом коробку «Казбека».

— Не курю.

— С юных лет бережете здоровье?

— Просто у нас в общежитии почти все курят, — сказал Максим. — И потом, знаете, меньше привычек — больше свободы.

Непрерывной трелью залился междугородный телефонный звонок.

Ярцев снял трубку и, пока разговаривал, не сводил глаз со стола, за которым уже сидели Елена, Маринка и Максим. Не испытывая смущения, правдолюбец поедал трюфельный торт. В распахнутых глазах Маринки — влюбленность, счастье. И отсвет этого счастья — в глазах Елены. Слишком яркий от-

свет для того, чтобы реально воспринимать достоинства и недостатки бедного жениха...

— Кто звонил? — спросила Елена Сергеевна.

— Профессор Грюнвальд. Он называет меня «Митрий», — сказал Ярцев. — Трогательно? Кстати, еще на моей памяти бытовало выражение: «выпить полмитрия»...

— Как состояние больного?

— Состояние больного? — переспросил он так, будто речь шла о несущественной мелочи и будто Грюнвальд звонил отнюдь не по этому поводу. — Вполне нормальное. Скоро выпишут.

Он заметил, как быстро переглянулись Елена с Маринкой. Разумеется, они тоже беспокоились. Звонок Грюнвальда означал для них многое. А в том состоянии, в котором находился последние дни Ярцев, известие из Берлина было закономерным, естественным. Черная полоса кончилась, идет светлая. Так и должно быть.

И опять Ярцев не спускал взгляда с Максима, непринужденно сидевшего за столом. Ничего держится жених. Без притворства, без фальши. Серо-зеленые глаза невозмутимо-спокойны. Ласковы. Ярцев мог бы поклясться, что уже встречал точно такое выражение глаз. Не просто спокойствие в них, а как бы спокойствие воды, спокойствие неба. Некое спокойствие матушки-природы... Держись, жених!

— Ну, — сказал он, с наслаждением отхлебывая из своей желтой удобной кружки, — так что будет за дипломная картина?

Маринка живо обернулась к Максиму:

— Можно показать?

Метнулась в переднюю, принесла подрамник, завернутый в бумагу. С хрустом, торопясь, стала снимать обертку.

— Вот! Но это только эскиз!..

На холсте в дерзкой и необычной манере был написан портрет девушки. Портрет Маринки. Смеявшейся, счастливой Маринки.

— Нравится?

— Очень, — после паузы ответила Елена Сергеевна. — Ты здесь какая-то... и похожая и непохожая... Во всяком случае, такой я тебя не видела. Хотя, как говорится, все-таки тебя знаю...

— Это и будет дипломом? — спросил Ярцев.

— Это один из эскизов, — сказал Максим. — Но вообще будет вот этот портрет. Примерно такой же.

— Твердо решили?

— Да.

— Тематически не очень выигрышно.

— Почему?

— Ну, не знаю. Может, надеть на нее строительную каску? Куртку студенческого отряда? И соответствующую подпись придумать?

— Зачем? — спросил Максим, не отводя своих ласковых серо-зеленых глаз.

И Ярцев вспомнил, у кого он видел такой взгляд. Волки. Волки, с которыми он столкнулся мальчишкой в те давние годы... Нет, не может быть. Что за нелепая ассоциация? И все-таки это было, было, он не ошибается. Вот так же смотрел волк: прямо, открыто, и ничего не читалось в его мерцавшем взгляде, кроме ласкового спокойствия.

— Думаю, вы все понимаете, — сказал он Максиму. — К диплому предъявляют... гм... особые требования. Когда-то великие живописцы тоже не выбирали сюжеты. Писали на заданную тему, не так ли? И неизвестно, потеряло от этого искусство или выиграло?

— Я считаю — потеряло, — сказал Максим.

— По-моему, — осторожно вставила Елена Сергеевна, — у Марины вообще никогда не было такой кофточки...

— Максим ее выдумал! — засмеялась Марина. — А мне теперь хочется именно такую раздобыть!

«Волк, — сказал себе Ярцев. — Волк и Красная Шапочка».

Едва глянув на портрет, он понял, что бесполезно устраивать проверки и смотрины. Максим устоит. Не Маринка была изображена на портрете, а та, кого любит Максим. Выражаясь возвышенно, любовь водила его кистью. И это ощущалось с такой пронзительной силой, было таким откровением, что не могло не ударить по сердцу.

Господи, сама-то Маринка осознает это? Чувствует ли, что это не шуточки, что это серьезно?

Любящий Волк и Красная Шапочка. Какая чепуха! Кто сказал, что человеческий взгляд непременно должен быть замутнен чем-то, и лишь в природе — подлинная чистота и искренность? И разве вся наша жизнь — с ее трудами, мучениями, самоотвержением, высокими подвигами и жаждой правды — в конечном итоге не направлена к тому, чтобы на земле становилось все больше и больше людей, у которых глаза ясны и чисты как небо, как вода родника?

И после минутной горечи, после холодка, внезапно опахнувшего душу, Ярцев снова ощутил и уверенность, и радостный подъем. Да, это потеря — расстаться с Маринкой. Но не только

потеря. Его дочь — звено в той цепочке поколений, что протянется в будущее. Нечего бояться конца, если твоя жизнь продлится в детях и внуках. Ты бессмертен.

— Максим, — сказал он, — мне бы хотелось, чтобы этот портрет остался у нас в доме.

Потом, когда Максим уже ушел, Ярцев взял дочку за руку, притянул к себе:

— Он мне понравился.

— Спасибо, папа. Мне он тоже нравится...

— Постарайся не обманывать его.

— В каком смысле, папа? — Лицо ее вытянулось от удивления. — Ведь у нас... ну, в общем... ничего серьезного! Ты решил, что я жениха привела?

— Постарайся его не обманывать, — настойчиво повторил отец, вглядываясь в ее смеющиеся глаза, вдруг ставшие совершенно такими же, как на портрете...

А вскоре раздался последний за этот день — и самый неожиданный — телефонный звонок.

— Да, — односложно отвечал Ярцев в трубку. — Да, конечно. Спасибо. Всего доброго.

Совершенно непонятно, каким образом передалось Елене Сергеевне его волнение, потому что внешне он остался спокоен. А Елена Сергеевна приподнялась со стула, шагнула вперед, вздрагивали ее руки, перебиравшие пуговицы на блузке:

— Кто... звонил?

— Ледогоров, — ответил Ярцев.

— Что? Что?!.. Не молчи, Митя!..

— Дело прекращено.

Она не поверила. Заставила дословно повторить слова следователя. И опять не поверила, и бросилась к мужу, и заплакала, обняв его и прижавшись к его плечу.

Нет, неверно полагать, будто он обрадовался меньше Елены Сергеевны; на какое-то мгновение ему даже почудилось, что он теряет сознание. Но это длилось действительно какой-то ничтожный миг. А в следующий миг возникла мысль: «Я знал, я знал!» — и еще одна: «Вот все кончилось, все позади...»

Было ли у него чувство, что свалился камень с плеч, уже непосильная, давящая ноша свалилась? Позднее он пытался размышлять об этом и ответил себе: «Не знаю». Он столько ждал этого события, а оно произошло вовсе не так, как ему представлялось, очень просто, словно бы мимоходом.

Елена Сергеевна еще продолжала плакать и что-то говорила,

улыбаясь сквозь слезы, а он, помнится, уже подумал, что за минувшее время накопилось много неразобранной почты, надо ее посмотреть и ответить на срочные письма.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Был воскресный день. Однако с утра Ярцев засел за чтение диссертации, присланной на отзыв. Диссертацию сопровождало письмо от одного министерского деятеля — реверансы и просьба поддержать сей научный труд.

Ярцев, прочтя десятка два страниц, решил было плюнуть и отправить диссертацию обратно автору. Работа была компилятивная, удручала ординарностью мыслей. А еще через десяток страниц, наткнувшись на явный плагиат, Ярцев обозлился, скрупулезно дочитал труд до конца, написал ядовитый отзыв и еще более ядовитую записку министерскому деятелю.

— Лена! — закричал он жене. — Махнем куда-нибудь за город? Ты взгляни — погода-то какая!

— Я с удовольствием, Митя!

Гараж находился в двух кварталах от дома; Ярцев быстро шел по улице. Он прекрасно себя чувствовал. Обостренно воспринимал все вокруг — как бы усталую красоту начавших желтеть деревьев, просвеченную солнцем дымку над крышами. Он подумал, сколько вот таких дней, бесценных и неповторимо-прекрасных, он попросту не заметил, пропустил мимо сознания. А ведь они такой же подарок человеку, как любовь, как наслаждение от работы. Отчего же мы не ценим богатства, отпущенного нам отнюдь не без меры? Минует этот день, и много ли еще останется?

«Москвич» стоял в гараже запыленный, сиротливый. Ярцев с удовольствием протер стекла, с удовольствием забрался на сиденье. Прикосновение к гладким обводам руля отозвалось в нем какой-то детской, наивной радостью.

Он заправил машину, повернул к дому. У ветрового стекла покачивался сувенир — безделушка, подаренная Мариной, — пара крохотных лапоточков. «Символ дороги», — объяснила тогда Марина. Он возразил, усмехнувшись: «Символ дороги — колесо». — «Папка, человек может не ездить, но ходить-то всегда будет!..»

Подъезжая к перекрестку, Ярцев включил «мигалку», начал притормаживать. И тут боль — такая, что он в миг задохнулся, — резанула его по груди. Бесчувственной рукой он еще успел выдернуть ключ зажигания. Больше он ничего не видел, не

слышал — ни того, как машина, слепо вильнув, врезалась крылом в столб светофора, ни того, как скрежетало железо и звенели осколки стекла, ни того, как со всех сторон бежали люди.

В себя он пришел только в больнице. Ему показалось — через несколько минут, а на самом деле — лишь на вторые сутки. Лежать было неловко. Где-то внутри, под лопаткой, нестерпимо пекло — будто сунули туда раскаленный камень. Он попытался изменить положение, повернуться на бок, и опять полоснула, заставила задохнуться та же самая боль.

Диагноз: обширный инфаркт миокарда. Когда профессор Стрельцов — давнишний знакомый Ярцева — сообщил это Ярцеву, тот уже знал. Сам догадался.

Ярцев был опытнейшим врачом; много лет он проводил операции; много лет он успокаивал своих больных, внушая надежду на исцеление. «Нас трое — пациент, доктор и болезнь. Если пациент начнет помогать доктору, вдвоем они легче справятся с болезнью». Эти внушения он повторял бессчетное множество раз и верил, что они предельно понятны и убедительны. Но ему еще не доводилось оказываться в другой роли. В роли пациента, охваченного отчаяньем и страхом.

Теперь это случилось.

Теперь он сам — помимо воли, помимо рассудка — испытывал отчаянье. Он стыдился врачей, санитарок, медсестер, но ничего не мог поделать с собой. Он ощущал только опасность. Одну опасность. Страшно поднять занемевшую руку, поправить под головой подушку, нечаянно повернуться в полубредовом сне. Каждую секунду может произойти непоправимое...

«Ты же не боялся на фронте, — говорил он сам себе, — ты не однажды рисковал жизнью! Вспомни! Почему же тогда страх тебя не останавливал? Было легче умереть молодым? Теперь ты почти старик, ты достаточно пожил! Что с тобой? Где твое мужество, где твоя гордость? Где, наконец, твой рассудок — ты же добиваешь себя, губишь себя этой истерикой!..» Он уговаривал себя, но отчаянье существовало как бы отдельно от него, не подчиняясь контролю.

— Как вы там, сосед? — раздался голос со второй койки. — Не спите?.. Боль донимает?

— Очень.

— У меня тоже было так. А теперь вроде полегче. Только в груди как-то... щекотно... Не знаете — вредный симптом или наоборот?

— Не знаю. Не специалист.

— Познакомимся, для порядка? Костюк Роман Павлович.

— Ярцев.

— Медсестра про вас говорила. Дескать, вы сами профессор. Ну а я сказал — вам, дескать, легче.

— Отчего мне легче?

— Да ведь нас обучать приходится. Чтоб мы, значит, не поддавались болезни. А вас-то чего агитировать, вы сами знаете... Первые сутки очень вы мутный были. Ну а сегодня гляжу — ничего, порядок. Быстро на поправку пойдете!

Роман Костюк оказался весьма охочим до разговоров. Впрочем, это бывает почти со всеми больными после кризиса — даже молчаливый превращается в болтуна.

— Ведь как непутево у меня вышло-то! — с усмешкой выкладывал Костюк. — На свадьбу в Москву прикатил! К племяннице! И не подумайте, чтоб перебрал шибко, можно сказать — вовсе ничего не успел! Гости кричат «горько!», я за рюмочкой, за первой рюмочкой потянулся. Хрясь! — меня и подкосило. Прямо карикатура!..

— Значит, раньше что-то было, — сказал Дмитрий Николаевич.

— А что было?

— Нервное перенапряжение. Стресс.

Костюк с минуту помолчал, возясь на своей койке.

— Да это ежу понятно, — проговорил он добродушно. — Все мы, профессор, под напряжением. Вы мне другое растолкуйте. Я вот, значит, по профессии — водолаз. Служу на Мурмане, в аварийно-спасательном отряде. И если откровенно — всю жизнь со смертью в кошки-мышки играю.

— Вот оно и сказалось!

— Я не о том! Не было у меня страха, профессор. А уж что только не видел, в какие переплеты не попадал! Но все-таки держался без паники. Мужик ведь, не салажонок... Теперь вопрос возникает: почему же здесь-то, на больничной коечке, я дрожжи стал продавать? Первые дни так паниковал — вспомнить совестно!

«Зачем он спрашивает? — подумал Ярцев. — Неужели заметил мое состояние и пытается успокоить таким вот нелепым доводом? Хочет уверить, что я не исключение?»

— Я что предполагаю? — продолжал Костюк. — Паника на коечке оттого, что только об себе волнуемся. Допустим, пожар на корабле, я должен женщин, детишек спасать. И я об себе не думаю, некогда. В огонь полезу и куда хочешь. А тут, на коечке, от меня ничего не зависит, лежу да только к себе прислушиваюсь — вот кольнуло, вот заныло, ой, не отдать бы

концы... Человеку нельзя так. Это все равно что в скафандр залезть и от всех отключиться, даже шланг с воздухом перекрыть.

— И какой же вы нашли выход? — спросил Ярцев.

— А стал перебирать, что от меня в жизни зависит. Получается — много. Кто-то без меня вовсе захиреет.

«Несколько дней назад, — подумал Ярцев, — я смотрел на Маринку и Максима и верил, что я бессмертен. Видел цепочку поколений, уходящую в будущее. Но даже это не спасает теперь. И что может спасти, если каждая клеточка во мне содрогается от ужаса?»

Во время следующего обхода Ярцев, страдая от стыда и унижения, попросил профессора Стрельцова дать ему какие-нибудь успокаивающие препараты.

— Вы их получаете, дорогой мой! — недовольно оборвал его Стрельцов. — В полном объеме! Давайте-ка мобилизуйтесь, ничего страшного, сами знаете — надо помогать врачам!

Потянулась цепочка больничных дней. Монотонные вехи бытия: раздача градусников, завтрак, обход, уборка палаты. Изученный до последнего пятнышка потолок над головой — вместо неба. Дни посещений, когда на пороге появляются нарочито-бодрые, произносящие фальшивые слова Елена Сергеевна и Маринка. Ночная тишина с провалами в одуряющий короткий сон. И уже привычный, рефлективный, но от этого не менее давящий испуг...

— Наступила пора нам садиться на кроватке, — сказал однажды Стрельцов. — Вертикальное положение, знаете ли, свойственно гомо сапиенсу...

Садиться? Это немыслимо! Ярцев от робкого движения покрывается холодным потом, у него цепенеют руки, обрывается дыхание!

И была не радость преодоления себя, когда он, поддерживаемый медсестрой, впервые приподнялся и сел, а был тот же самый холодящий испуг. В нем безмолвный крик бушевал: «Не надо! Не надо!..» А впереди предстояло не только учиться сидеть, но и вставать в полный рост, и делать первые шаги, и спускаться по лестнице, которая — он потом это узнал — может казаться бездонной пропастью, бездной...

Когда пришла в очередной раз Елена Сергеевна, он не узнал ее. Будто лишь сейчас заметил, как осунулось, обострилось ее лицо, как резко пропечатались морщины, как глаза выцвели. Повернулась к свету — волосы на виске блеснули тусклой сединой.

— Ты устала, Леночка, — проговорил он и накрыл своей ладонью ее ладонь.

— Пустяки, Митенька. Я сильная. Ты вообще о нас не беспокойся. У нас все хорошо. Только скорей выздоравливай...

А его обожгла мысль — тоже как будто изначальная, новая: «Господи, как же они останутся без меня?»

Елена Сергеевна что-то говорила, а он ощутил, как его глаза наполняются слезами. Все расплылось перед ним. Он сжал руку Елены Сергеевны.

— Что с тобой, Митя?!

— Я хочу тебя поцеловать, — сказал он.

Говорливый сосед, Роман Павлович Костюк, недоуменно вертел головой после каждого дневного обхода врачей:

— Ну? Опять про выписку ни гугу! Карикатура получается! А я на две недели раньше вашего сюда причалил!

Выдался грозовой день — с духотой, сумраком от клубившихся туч, с плеском и перезвоном ливней за окном. Костюк присмирел, отчего-то лежал молча, только задранный заострившийся нос торчал над подушкой.

— Дмитрий Николаевич... — тихо позвал он.

— Да?

— Как жена-то вас любит... А моя вот ушла. И дочку к себе забрала. Извини, дескать, Роман, вся любовь кончилась... Нынче ведь наоборот — не мужики на развод подают, а женский пол. Вот и моя такую инициативу проявила. Конечно, у меня дружки, кореша. И сам еще подженриться могу. Но обидно.

— Я вас понимаю.

— Нет, не поймете. Как так: я люблю, а у ней любовь взяла и кончилась? Ежели была, ее хранить полагается. Так или не так?

Ночью, впервые за несколько минувших суток, Ярцев крепко уснул. Как провалился.

Его не разбудили медсестры и врачи, входившие в палату, суетившиеся у соседней кровати, не разбудил скрип каталки, на которой Романа Павловича Костюка увезли в отделение реанимации.

Проснувшись, Ярцев обернулся и увидел у противоположной стены заново перестеленную койку — желтый прямоугольник одеяла и несмятую белизну подушки. Это было как внезапный удар.

Стрельцов, появившийся на обходе, тоже глянул на пустую койку. Поморщился.

— Ничего мы не могли, коллега. У него позади и кессонная болезнь, и травма позвоночника, и масса других хвороб. Вы-то знаете, что иногда все мыслимое и немыслимое сделано, а результат — нуль... Что же касается вас, считайте — вам повезло. Задерживать не собираюсь. Звоните Елене Сергеевне, пускай забирает. Что не радуетесь?

— Как-то... неожиданно...

— Сказать по секрету? В своем деле вы... ну, одним словом, Ярцев! А вот больной из вас никудышный. Я ведь, холера ясная, все вижу и понимаю. Бросьте-ка самоедство, отправляйтесь куда-нибудь на зеленый кислород! Бабье лето на дворе, благодать. А через месяц и за работу свою приметесь.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Ехать в какой-либо санаторий Ярцев отказался. Коротко объяснил Елене Сергеевне, что чем меньше будет народу вокруг, тем лучше. Елена Сергеевна подчинилась, сняла домик в дачном подмосковном поселке. Летний сезон кончился, большинство домов уже пустовало. Лишь по выходным дням кое-кто из соседей приезжал, да тянулись к близкому лесу вереницы грибников с корзинами.

Вскоре обжились, попривыкли. Хорошо тут было — чистейший воздух, покой, осенняя красота берез и рябин. По утрам на открытую форточку садились синицы, заглядывали в комнату, никого не боясь, — прямо как в сказке.

И единственное, что тревожило Елену Сергеевну, было странное поведение мужа. Нет, он не жаловался на боли, на слабость; у него исчез страх и нервозность, которые так сильно были заметны в больнице.

Он двигался как-то механически, равнодушно ел, что давали, равнодушно смотрел вокруг себя.

— Митя, поставить тебе раскладушку вот здесь? Под рябиной? Смотри, как ягоды на солнце светятся!

Он кивал, соглашаясь. И недвижно, безучастно лежал на раскладушке до тех пор, пока кто-нибудь не приходил за ним.

Поначалу Елене Сергеевне казалось, что он постоянно погружен в свои мысли, и от этого — все безразличие к окружающему.

— О чем задумался, Митенька?

— Я не задумался.

— А что же?

— Ничего.

И вправду, когда она заглядывала ему в глаза, в них была пустота. Будто их изнутри, как стекла в окне, замазали известкой.

Елена Сергеевна возвращалась с рынка; на полдороге хлынул проливной дождь. Был он уже по-осеннему холодный, и она вся продрогла, пока добежала до дому.

Ярцев лежал под рябиной на раскладушке. В том же положении, в каком его оставили. Дождевые струи хлестали по его лицу; потемнели насквозь промокшие плед и пижама.

С ужасом Елена Сергеевна бросилась к нему, она решила, что он без сознания, что он мертв.

Он поморгал, медленно провел рукой по лбу. Ничего не выражающие глаза уставились на Елену Сергеевну.

— Что ты делаешь? Ты с ума сошел?!

Он механически поднялся, механически пошел по дорожке к крыльцу. Сквозь мокрую пижаму проступали костлявые плечи.

Елена Сергеевна заставила его раздеться, растерла полотенцем, уложила под два одеяла, напоила чаем с малиной.

— Завтра же мы уедем в город! Ты слышишь?

— Зачем? — равнодушно спросил он.

— Ты болен!

— Я здоров.

— Но так нельзя, так не может продолжаться!

Он отвернулся к бревенчатой стене и затих. Не шевелился, будто уснул, но Елена Сергеевна знала, что он не спит.

— Митенька, милый!..

— Оставь меня в покое, — произнес он бесцветным голосом.

Елена Сергеевна не знала, что предпринять. Она вызвала Марину, чтоб та дежурила возле отца, а сама уехала в город. Металась от одного врача к другому, подняла на ноги всех знакомых. Чуть ли не ежедневно возила к Ярцеву специалистов.

Ярцев не противился. Позволял себя осматривать, прослушивать. Ему было все равно. А врачи подтверждали, что да, имеется у Ярцева небольшое угнетенное состояние, подавленность психики, но это естественно, это закономерная реакция после перенесенного инфаркта. Постепенно все пройдет, выровняется. Врачи выписывали лекарства, каждый свое. И не могла Елена Сергеевна рассказать им все, что произошло с мужем. Ей уже стало мерещиться, что он снова что-то скрывает от нее. Может быть, следователь прокуратуры Ледогоров сообщил что-то другое? И дело Ярцева не прекращено? Пожалуй, это вполне вероятно. Закончено только лишь следствие, теперь дело передают в суд, и он решил скрыть эту ужасную новость. Он мучается один, обе-

регая семью. Можно представить, что у него на душе, какое отчаяние, какая мука. И если однажды не выдержит, сорвется, то...

Не помня себя, Елена Сергеевна поехала в прокуратуру. Слава богу, Ледогоров был на месте, она попросила, чтоб он немедленно ее принял.

— Вы, наверное, за документом? — поздоровавшись, спросил Ледогоров.

Елена Сергеевна не поняла, о каком документе идет речь, но сейчас все несущественное она пропускала мимо ушей.

— Скажите мне правду! Правду!.. Дело не прекращено?

— Разве Дмитрий Николаевич вам не сказал?

— Вы скажите! Вы!

Ледогоров смотрел на нее с недоумением.

— Дело прекращено. И постановление готово. Пожалуйста, можно его получить... Дмитрий Николаевич собирался зайти сам.

Елена Сергеевна опустилась в кресло. Тупо смотрела, как скользят прозрачно-красные рыбки в зеленоватом аквариуме. «Прекращено!.. — стучало у нее в голове. — Тогда... тогда что же еще случилось?! Господи, тогда что же еще?!»

— У Дмитрия Николаевича неприятности? — донесся как будто издалека голос Ледогорова.

— Я пойду, — сказала она. — Спасибо. Извините.

— Одну минуточку, Елена Сергеевна. — Ледогоров наклонился к ней: — Понимаю, для вас я чужой человек. Но судьба вашего мужа мне не безразлична. Я соприкоснулся с ней, и она меня тронула, взволновала... Опять-таки понимаю: это странно слышать здесь, в служебном кабинете, от официального лица, работника прокуратуры. И все же поверьте. Дело прекращено, я больше не следователь. Расскажите, что с Дмитрием Николаевичем...

И Елена Сергеевна рассказала о возвращении Ярцева из Берлина, конфликте с главным врачом, об инфаркте, больнице и о том, что сейчас Дмитрий Николаевич находится в угнетенном состоянии.

Круглое, с мальчишеским румянцем лицо следователя было нахмуренным и, как почудилось ей, даже чуть виноватым.

— Я могу высказать только догадку, — произнес Ледогоров. — Нравственно цельный человек всегда будет судить себя строже, чем его осудили бы другие. Допускаю, что найдутся люди, которые могут истолковать жизненный путь Ярцева как подвижничество, продиктованное давним случаем. И даже поставят знак равенства между подвижничеством и искуплением

вины. И станут утверждать, что свершалось все нечаянно, оттого что Ярцев просто не жалел себя, был жесток к своим интересам. Нет, все не так. Ведь не благополучия и покоя искал Ярцев, а самоочищения, он взбирался на новую высоту понимания своего места в жизни. Выковывал свою совесть...

Тихо было в кабинете. Беззвучно скользили за аквариумным стеклом рыбки, прозрачно вспыхивая на свету. «Странно, — подумала Елена Сергеевна, — даже телефоны не звонят, а их три штуки, как у Дмитрия на столе...»

Ледогоров открыл ящик письменного стола, покопался в нем, вытащил небольшую фотографию.

— Передайте мужу. Это из следственных материалов.

— Кто это? Что за женщина? — Елена Сергеевна, прищурясь, разглядывала не очень четкое изображение.

— Это мать Дмитрия Николаевича. Такого снимка у него нет.

Елена Сергеевна смешалась, положила фотографию на край стола, снова взяла.

— Но ведь... я не знаю, Вячеслав Александрович... Это лишний раз напомнит ему о детстве...

— Отдайте ему, — сказал Ледогоров. — Он не вычеркнет из памяти ни свое детство, ни мать с отцом. Ни себя.

Закинув руки за голову, Ярцев лежал в саду на продавленной раскладушке. Сегодня его не беспокоили. Елена Сергеевна была в Москве, а к Маринке прикатил соскучившийся Максим. У них, слава богу, нашлись свои дела и свои секреты.

В полуоблетевших рябинах тенькали щекастые синицы, у них тоже были свои дела. И никто не мешал Дмитрию Николаевичу просто лежать, бездумно смотреть в небо, провожать взглядом облака, похожие на мыльную пену.

Он устал. Устал от всего — от работы, от мыслей, от переживаний. Старики говорят о себе: устал жить. Вот и Дмитрий Николаевич устал жить.

В конце концов жизнь измеряется не числом прожитых лет. У него было достаточно и хорошего и дурного, потерь и приобретений. Пожалуй, на несколько жизней хватит. И, стало быть, финал закономерен.

Ему странно было вспоминать, что еще недавно, несколько дней назад он цепенел от ужаса перед смертью. Во всем окружающем мире непрестанно, безостановочно идет умирание. Сколько сейчас, в эту минуту, умирает людей? Тысячи, сотни тысяч. Это неизбежно. Совершается вечный круговорот. И когда

иссякли у тебя силы и желания, притупились чувства, переход к смерти совершается просто и естественно.

С крылечка донеслись голоса: Маринка и Максим о чем-то болтали, пересмеивались. Ярцев случайно обернулся и увидел, что они целуются. На мгновение ему стало обидно, и даже померещилось, что опять кольнуло сердце. Но тотчас все прошло. Незаметно для себя он уснул.

Ему приснилось, что он привел Маринку в зоопарк. Дочке было годика четыре, ее крохотная ладошка была влажная и горячая. Дмитрию Николаевичу хотелось взять Маринку и посадить на плечо. Он любил носить ее, маленькую, на плече. Но Маринка вырвала горячую ладошку из его руки и побежала вперед. По сторонам были железные клетки, и во всех клетках почему-то сидели собаки. Дочка открывала дверцы, с радостным визгом собаки выскакивали на волю. Рыжие, лохматые, большие и маленькие, прыгали собаки вокруг Маринки, и Дмитрий Николаевич боялся, что они собьют ее с ног. Тогда он сам начал открывать дверцы, чтоб поскорей освободить всех. Но клетки, к которым он подбегал, оказывались пустыми. Дмитрий Николаевич спешил, метался от одной клетки к другой, они все были пусты...

Он открыл глаза оттого, что на край раскладушки, в ногах, присела Елена Сергеевна. Вернулась из города. Одна? Или кого-то опять привезла?

Ярцев вновь прикрыл глаза. Просыпаться не хотелось, разговаривать не хотелось.

— Как ты себя чувствуешь, Митя? Ты обедал?

Не поднимать веки, не отвечать, и Елена уйдет. А он досмотрит этот смешной сон с зоопарком и дворнягами. Теперь ощущения во сне более живые и яркие, чем наяву.

— Останин прислал телеграмму. Слышишь, Митя? На днях приедет. Хромов тебе звонил. Обижается, что мы сняли дачу у чужих, к нему не поехали... Вот просили тебе передать, посмотри. Ну, взгляни!

Какая-то блеклая серенькая фотокарточка в руках жены.

Дмитрий Николаевич взял ее, повернулся на бок и еще крепче сомкнул веки. Потом он посмотрит. Не сейчас.

Подождав немного, Елена Сергеевна поднялась и ушла. Вечерело, свежело. Лучик солнца, найдя просвет в переплетении веток, упал на лицо Ярцева. Под сомкнутыми веками — розовый свет, и он не исчезает, если даже сильно зажмуриться.

Фотография матери. Нет, не может быть. Показалось. Ведь не сохранились фотографии, все исчезло. Давно пепел развеялся.

Ярцев рывком приподнялся. Взял фотокарточку, которую оставила жена.

Как будто сквозь дымку времени с блеклой фотографии смотрела на него мать. Родное лицо, которое он никогда не забывал, помнил до последней морщинки,

— Идем, идем, уже недалеко, Ванечка!..

Белая дорога через клеверное поле. Босые ноги. Фонтанчиками пробивается горячая пыль между пальцами. Шмели гудят, звенит, стрекочет все поле. Его взмокшая ладошка в руке матери.

— Идем, идем, Ванечка!..

* * *

До первой операции, которую проведет после своей болезни профессор Дмитрий Николаевич Ярцев, осталось двадцать семь дней.

Повесть печаталась с сокращениями

ПОЭЗИЯ

Евгений ДВОРНИКОВ

СВЕТ ИЗНАЧАЛЬНЫЙ

* * *

Ветра ли застонут и взмечутся,
достанет ли холод корней —
будь, год, о двенадцати месяцах,
а жизнь — как положено ей.
И тяготы не переложены
в походные сумки друзей.
А если последую ложному —
ни в чем меня, жизнь, не жалей.
Тревожусь о чем, негодую:
уж если на свет родились,
прожить бы свою, не чужую,
свою, а не чью-нибудь жизнь.
Что матерью сызмала
вскормлено —
во мне прорасти и живи:
и трудная музыка скорбного,
и трубная радость любви.

* * *

Лес придвинулся с отшиба —
одному невмоготу.

Осень, милая, спасибо
за печаль и наготу.

За озябшее сближенье
двух проселочных дорог.
За последнее движенье
старых листьев на порог.

Мы войдем друг в друга, осень:
в лес войду,
а ты — в мой дом.
Разрешения не спросим —
притяжением войдем.

Не хочу пустых приветов.
Как нужны нам, наконец,
обнаженности предметов,
обожженности сердец.

* * *

На паспорт фотография нужна,
и вот мой стол завален —
снимок к снимку:
то я вратарь,
то я с женой в обнимку,
то просто в нашем городе весна.
О паспортные скучные столы,
возьмите хоть чуть-чуточку скалы
прибрежной, на которой я стою.
Зачем вам мину постную мою?
В мой новый паспорт
все мое возьмите,
чтоб жизни высота и простота
на этой фотографии возникли.
Понравятся такие паспорта.

* * *

Я еще ливнем непрошеным выльюсь
и раскидаюсь ручьями в траве,
я еще выброшусь,

я еще вырвусь,
ты еще спросишь оторопев:
«Что этот ливень нечаянный значит?»
Значит, что мир мой как заново начат.

Как тебе ярой грозы не хватает,
как в тебе ласточки тихо летают,
не прокричат, не заденут крылом...
Я тебя звучным окликну дождем.

Не обещаю унылого зноя,
лето просею сквозь сито грибное.
Вспыхнет у просек, прозрачно дыша,
с неба вода — как живые глаза.
Если не дам ничего для души —
стань под навесом, дождем подыши.

* * *

— Ну как ты мог?
— А ты как мог?
— Ну позвонил бы...
— Стал лениться...

Потом узнал: приятель слег.
Я позвонил, а он в больнице.

Казенный выцветший халат
подвязан поясом нетуго...
Он шел навстречу вдоль палат,
весь отрешенный от недуга.

И я обнял его слегка.
И за окном, пока молчали,
все видел поздние снега,
как наши поздние печали.

НАТЮРМОРТ

Не лихим вином хевсурским
и не персиком, как мед, —
пахнет солнцем среднерусским
этот курский натюрморт.

Мир приличья не нарушен
тут обилием еды:

средней спелости две груши,
ветка сливы, ковш воды.

Ни тебе кабаньей лапы,
ни бочоночка лечо...
В меру плоти,
в меру славы
живописец предпочел.

Средней спелости две груши,
ветка сливы, ковш воды...
Излучают свет плоды,
как младенческие души.

* * *

Мне говорили:
«Ты везун,
тебя преследуют удачи».
А я стоял, как пень в лесу,
не зная, что все это значит.

Мне говорили:
«Это рок.
И тут дележка примитивна:
одним — полынь,
другим — пирог...
Везет же людям, аж противно!»

Но разве есть моя вина,
что так живу, а не иначе?
Что мне отпущено сполна
другим недоданной удачи?

Что я не лез по головам,
о доле скудной не долдонил,
что верил дружбе и словам,
как двум родительским ладоням.

И мир не гнал меня взашей.
Он и теперь таким остался...
Среди цветных карандашей
мне черный в детстве не достался.

Николай ШИРЯЕВ

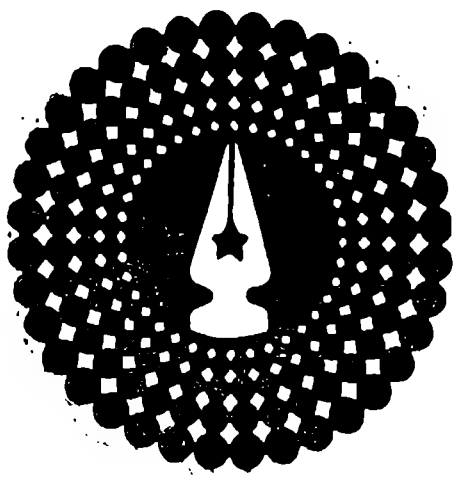
ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ

* * *

Пред битвой, святой и неравной,
В беде, усповая на твердь,
Крепили наш дух Ярославны,
Бойцов провожая на смерть.
Они в бранном лязге и гуле,
Над реками зла и крови
Ковшами к нам руки тянули
С живою водою любви.
Любимая, не обещаю
Идиллию вместо судьбы,
Но равно с тобой разделяю
Бессмертье надежд и борьбы.
Лишь только бы в лютой разлуке,
Горячей смертельной пыли,
Как реки, ко мне твои руки
Живою водой протекли...

* * *

Она держалась чудом на карнизе,
Вцепившись корневищем в капитель...
И вот сейчас — так нам казалось снизу —
Сшибет ее свинцовая метель.
Нас пулеметы резали с завала,
Но, окровавленный, к камням прижатый взвод
Задвигался, пополз среди развалин,
Хрипя «ура!», опять пополз вперед.
...Порою ляжет на́ сердце тоска,
И — мир во мгле (и в этом нету позы!),
А я все вижу, вижу ту березу,
Как будто вновь готовлюсь для броска...



ОЧЕРК
И ПУБЛИЦИСТИКА

НАВСТРЕЧУ XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ

Виктор КАМАНИН

ЖУКОВСКИЙ КОРЕНЬ

Воистину внешний вид бывает обманчив. Когда Алексей Жуков показался на улице и пошел мне навстречу, я поначалу принял его за этакого городского модника. В джинсах и свитере, высокий, элегантный, с короткими усиками и прямым взглядом, он как-то не вязался с моим заранее сложившимся представлением о его облике. Во всяком случае, мне даже в голову не пришло, что по улице идет именно он, Алексей Жуков, один из лучших механизаторов Оренбуржья.

Впрочем, слава о молодом комбайнере давно перешагнула границы области. А начинал Алексей под «крылышком» родного отца, Михаила Федотовича. Но это обстоятельство не давало ему, сыну, никаких преимуществ. Чужому пацану Михаил Федотович еще дал бы поблажку, своему — нет.

Не минул Алеша строгой отцовской опеки и в армии. Надо ж было такому случиться: он попал именно в тот самый полк, где служил в свое время и Михаил Федотович! Может, это счастливая случайность. А может, военком постарался. Как-

никак имя Жукова-старшего в области известно многим: заслуженный механизатор РСФСР, член бюро райкома и член обкома партии, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»... Вот кто такой Михаил Федотович! Так почему бы не направить служить сына в ту же часть, где постигал солдатскую мудрость его отец? Пусть покажет, что он «не из породы, а в породу».

Все командиры и товарищи по взводу знали: вот парень, чей отец служил здесь же. А это обязывало ко многому. И Алеша старался изо всех сил, дабы не уронить фамильной чести. Более десяти благодарностей от старших командиров заслужил он за два года.

Накануне демобилизации всех околдовало короткое и звонкое, как пушечный выстрел, слово: БАМ. Многие ребята желали ехать на эту стройку века. Загодя писали заявления в комитет комсомола части. Жуков ходил сам не свой.

— Леша, а ты чего с рапортом тянешь? Ведь такой стройки на нашем веку, может, и не будет больше. Да и не к лицу от своих откалываться.

— Я и не откалываюсь. Но только вот что я думаю, ребята: пока вы будете в тайге просеки рубить да рельсы укладывать, кто станет хлебом вас кормить?

К Алексею больше не приставали. Понимали: товарищ поедет в родные места, но вовсе не к легкой жизни.

Через неделю Алеша Жуков, будучи еще в солдатской форме, но без погон, пошел к совхозному начальству договариваться насчет трактора.

...Как же далеко шагнула техника за годы жизни всего лишь одного поколения механизаторов? Михаил Федотович помнит машины с железными сиденьями, с открытыми всем ветрам и дождям кабинами, со «шпорами» на колесах. Заводились они вручную, долго и тяжко. Случалось, заводная ручка в момент запуска «взбрыкивала» — гляди, как бы по зубам не попало!

Алеша те машины не застал. Ему доверили К-700 — могучую машину, которая, кажется, гору с места сдвинет. Чуть тронул руль — и эта махина легко поворачивается, куда тебе надо. Гидравлика! По дороге бежит почти со скоростью автомобиля. Словом, как раз для степи машина.

Да, сильна нынешняя техника. А легче ли от этого стала сама работа механизатора? И да и нет. С одной стороны, он избавился от многих неудобств, с которыми вынуждены были иметь дело его предшественники. А с другой стороны — вместе с ростом мощности машин росли, естественно, и нормы выработки.

Ну и, наконец, неизменный фактор — работа на земле, под открытым небом. Это, согласитесь, совсем не то, что в заводском цехе. Вспоминается мне рассказ Алексея Жукова об уборке прошлого года.

— Скосили мы, значит, обмолотили зерновые у себя дома — надо, говорят нам, ехать в Казахстан, помочь соседям. Ладно, надо так надо. Сборы у нашего звена недолгие. Харчишки — в сумку, технику — на платформы. И в путь: уборочному эшелону — зеленая улица. Приезжаем на место — сразу в дело. И тут погода так резко крутанула, так засипела вокруг — зима и зима! Снег посыпал, мы в шапках и ватниках работали, а все

равно холодно, даже в кабине. Вот где романтика, аж мурашки по коже... А убирать хлеб надо! Пройдешь загонку, выскочишь, копешку соломы подожжешь, обогреешься маленько — снова в кабину. Только думаю: если я на каждой загонке костры жечь стану, я не то что двух — и одной-то нормы не дам. Ладно, сообразил: дай-ка я суну под куртку пару лампочек по двенадцать вольт. Подключился таким образом к аккумулятору — сразу хорошо стало, песни распеваю. Только через какое-то время чую: паленой шерстью в кабине запахло. Что за черт?.. Распахнул куртку, а это, оказывается, фуфайка моя дымится, под лампочками уж дырки образовались. Так-то у нас бывает...

Когда в совхозе задумали организовать звеньевой метод возделывания и уборки пшеницы, директор совхоза Таисия Дмитриевна Саляева твердо высказалась:

— Звено надо создавать на базе семейного агрегата Жуковых. Отец и два сына — три коммуниста.

Да, у Михаила Федотовича оба сына — молодые коммунисты. Михаил на шесть лет моложе Алексея, и в партию, естественно, вступал позже старшего брата. Теперь он в армии. Но по весне я застал его еще в совхозе. Михаил надеялся, что до призыва успеет провести посевную в составе родного звена. Так оно и вышло.

Итак, звено, костяком которого стала семья Жуковых, было создано. Михаил Федотович подобрал в него парней надежных, капитальных, как он выражается. Это сделать было не так уж трудно: в совхозе сто пятьдесят коммунистов и двести шестнадцать комсомольцев, среди них много механизаторов.

Посевную, как всегда, провели нормально, уложились в плановые сроки, а они в оренбургской степи сжаты до предела. Надо спешить: солнце и ветры сосут из земли влагу. Запоздай хотя бы на три-четыре дня — много центнеров хлеба не доберешь с каждого гектара.

Близилась жатва, жуковское звено получило комбайны «Нива». В принципе Михаил Федотович не боялся сесть на новый комбайн. И все же до начала страды он решил хорошенько изучить его. По примеру и совету Жукова-старшего его сыновья и все члены звена задолго до начала уборки прощупали все узлы незнакомой машины, опробовали моторы, режущие аппараты и молотильные барабаны на холостом ходу.

Приезжала на мехдвор директор совхоза Саляева. С настороженной улыбкой поинтересовалась:

— Как настроение, Жуковы? Утрем нос знаменитостям?

— Скáжете тоже, Таисия Дмитриевна! — лукаво улыбнулся Михаил Федотович. — Не запаслись мы еще такими платками, чтоб мастерам носы утирать. Комбайнерская удача — все равно что рыбацкое счастье: то ли поймаешь, то ли нет.

— Да нешто можно сравнивать! Рыбак угадать должен, где ему сети лучше закинуть, а ваша «рыбка» — вот она, на виду стоит.

— «Рыбка-то» на виду, — взглянув на поле спелой пшеницы, сказал Михаил Федотович, — да не порвались бы наши сети...

В ту страду звено Жуковых намолотило 57 600 центнеров хлеба — самый высокий результат в Адамовском районе.

— Мы довели работу до двадцати двух часов в сутки — в беседе со мной рассказывал Алеша. — В кабине работаешь без перекура часов пять, потом уступаешь место сменщику, а сам ло-

жишься отдыхать. Только какой уж отдых? И в вагончик не заходишь, свалишься прямо на землю, куртку — под голову кинешь...

Михаил Федотович рассказывал:

— Затруднения возникли с разгрузкой бункеров. Оно и понятно. На разных участках разная урожайность, а значит, и бункер наполняется то быстрее, то медленнее. Шоферу нелегко приноровиться. То он запаздывает, и я простаиваю, то, наоборот, он дожидается, пока я бункер намолочу. В общем, непростое это дело наладить слаженную работу комбайнов и автотранспорта. И вот тут звено выручил мой Алешка. — Жуков-старший одобрительно взглянул на сына. — Бать, говорит, что делают на токах, когда зерно идет сильным потоком и его не успевают перерабатывать? Загадку, понимаешь, задает мне... Известное дело, говорю, лишнее зерно ссыпают в бункеры-накопители. Так вот, говорит, и нам этот способ надо попробовать. Да где ж у нас тут бункер-то, садовая твоя голова? А он отвечает: бункер и не нужен. Возьмем на мехдворе прицеп от моего «Кировца» — вот тебе и накопитель... Так и сделали, как он предложил. Получился у нас не просто накопитель, а накопитель-передвижка, на колесах. Представляете, какое удобство?! Ни у кого уж голова не болит за автотранспорт. Коси-молоти себе спокойно, не поглядывай на дорогу, идет ли грузовик: прицеп-накопитель — вот он, рядышком.

В 1978 году поставили Алексея Жукова во главе бригады. Вот, кстати, одна из наиболее ходовых в нашей практике ошибок. Чуть показал себя парень или девушка — давай двинем на повышение, на командную должность. Знал я молодого талантливого инженера Петухова в одном из совхозов Челябинской области. Рационализатор, новатор, настоящий искатель. Вокруг него сгруппировались молодые специалисты, получилось что-то вроде маленького «мозгового треста», который сделал много полезного не только для своего совхоза, но и для всей области. И вот Петухова тоже решили «двинуть»: послали директором в другой район. «Да не мое это дело, — умолял он, — не администратор я по натуре и не хозяйственник!» Не послушали. И действительно, директор из Петухова получился так себе, серединка наполовинку...

Нечто подобное вышло и с Алешиным бригадирством. Сам он вспоминает сейчас этот момент своей жизни без всякой обиды, с иронической усмешкой, как забавный анекдот.

— Дали мне, значит, бригаду-ух. Дисциплины никакой. Кто когда хочет, тогда и выходит на работу. Десять часов утра, солнце к зениту подбирается, а у меня все десять комбайнов на приколе стоят. А один «артист» такой нашелся — загнал свой агрегат в бурьян, а сам на целых восемь дней к кому-то в соседний поселок на свадьбу умотал. Да, да, не смотрите, что совхоз у нас передовой. Среди передовиков другой раз такие экземпляры затесываются! Ну я с ними и так и эдак, а только ни черта у меня не получается: смотрят на меня, как на салажонка какого-нибудь. Хоть плачь.

— И что же?..

— Тут я вмешался, — продолжил рассказ сына Михаил Федотович. — Пошел к директору, к секретарю парткома: освободите, говорю, Алешку от бригадирской должности, не портите мне парня. Он хорошо в машинах разбирается, выработку высокую показать может, но командовать людьми, да еще такими, какие в той бригаде собраны, ему рановато.

Михаил Федотович вовсе не думал защищать сына, огораживать его от ответственных поручений. Просто в каждой затее, в каждом деле он привык прежде всего видеть добрую целесообразность, пользу для общего дела.

Интересно слушать неторопливые, по-хозяйски рассудительные его речи, смотреть на него. Белозуб, крутоплеч, рукопожатие — будто тиски стальные... Стрижка короткая, седины не видать почти. Словом, никак не скажешь, что человеку уже за пятьдесят и что у него уже имеются внуки. Лицо чистое, взор ясный — ну, сорок можно дать Михаилу Федотовичу, никак не больше. Люди этого типа встречаются чаще всего среди сельских жителей. Физический труд на вольном воздухе делает их такими. К врачам они обращаются лишь в самых крайних случаях.

...С Мишей Путецовым, секретарем совхозного комитета комсомола, идем в гости к Алексею Жукову. Алеша два дня тому назад получил новую квартиру, вот Путецову, да и мне тоже, любопытно узнать, как устраивается он в новом «гнезде». Алеша Жуков и Миша Путецов — приятели давние, тут это все знают. Миша возглавляет комсомольскую организацию совсем недавно, а до того тоже работал на тракторе, рядом с Жуковыми.

— В чем, по-твоему, их сила? — спрашиваю его по дороге. — Ты-то ведь их давно знаешь. Можно сказать, пуд соли съели вместе.

Он даже и не размышляет над ответом:

— Дружный, артельный они народ. Можно, конечно, сказать: а как им не быть дружными, когда одна семья?.. Э, нет!.. Семьи тоже разные бывают. В иной семье такие «теплые» отношения, что не то что крепкого звена не создать, а лучше бы всю семейку по разным отделениям разогнать. И потом, вот у них, у Жуковых, какая замечательная черта: они не делят работу на выгодную и невыгодную, а сейчас эта мода очень широкое распространение получила. Другой, смотришь, едва оперился после учебы, а уже спорит с бригадиром либо агрономом: за такую-то работу я не возьмусь, дайте лучше вот эту... Жуковы считают это недостойным мужчины. Тут приехали к нам посланцы из Мордовии. За соломой. У них там засуха случилась, кормов запасли маловато — вот, значит, к нам за соломой... Яровая солома, знаете, если ее через резку пропустить да запарить с минеральными добавками, попитательнее всякого сена будет. Ну, хорошо, помочь мы рады, да только как взять эту солому?.. Она ведь в степи, под дождями побывала, морозы ее до самой середки прохватили. Вилами взять — и думать нечего. Только тракторными погрузчиками, да и то копны таранить предварительно надо. И никто у нас, стыдно признаться, не шагнул, образно говоря, из строя на эту работу. И тяжелая она, и получишь за нее негусто. А Жуковы «шагнули», все трое.

С семьей Жуковых мне довелось познакомиться в счастливый для нее период. Было воскресенье, к Алексею пришел и Михаил Федотович, и брат Миша, и сестра Наташа. Мебель была уже расставлена по комнатам, телевизор включен, на кухне что-то жарилось и парилось, но новоселья Алеша не устраивал пока, а так: если зайдет кто поздравить — милости просим к столу; чем богаты, тем и рады. Молодой хозяин ходил взад-вперед возбуж-

денный, вслух рассуждая о том, где что надо будет прибить и повесить, какие цветы развести под окнами. Палисадник, кстати, был уже огорожен новеньким белым штакетником: об этом позаботился Михаил Федотович еще до того, как сын с семьей въехал сюда.

Квартиру он получил в таком именно доме, какой нужен сельскому жителю: в одноэтажном, рассчитанном на две семьи. Во дворе дома можно держать и птицу, и поросенка, и овец, и даже корову. А это весьма существенно, особенно по нынешним временам... Между прочим, в этих краях почти все имеют коров, не говоря уж о прочей живности.

— У нас даже первый секретарь райкома партии держит корову, пример другим показывает, — с уважением сказал Алеша. — А уж нам сам бог велел. Трудновато, конечно, будет, работаем оба, но на первых порах, надеюсь, мама поможет.

И бывает же такая удача: квартиру Алексей Жуков получил напротив родительского дома, окна в окна, дорогу только перейти. Можно переговариваться, сидя на своих крыпечках... Шутка шуткой, а если серьезно, то куда как удобно: всегда хозяйство под родительским присмотром.

У Алешки два сына — Анатолий и Сергей. Жена, Татьяна, работает бухгалтером в совхозной конторе.

Мы кружочком сидим за столом. Самого младшего своего внучка, Сережу, взирающего на собравшихся голубыми глазами, Михаил Федотович бережно держит на руках.

— Вот добрый механизатор будет. Всех повершит: и дядьку, и батьку, и деда! — говорит он и, повернувшись к старшему внуку, добавляет: — А Толик-то и подавно! У него все уж наперед известно, вы вот на фотографию посмотрите...

Любительский снимок, прикрепленный к стене, запечатлел Алексея Жукова со своим первенцем у комбайна. Видимо, снимок сделан уже по окончании уборки, потому что одеты отец и сын нарядно. Отец стоит прямо и гордо, Толик сидит на жатке, свесив ножки, и смотрит в объектив напряженно и строго. И столько во взгляде обоих гордости и достоинства людей, твердо стоящих на своей родной земле, что словами не передать. Да, Михаил Федотович прав: гадать насчет того, кем станет этот его внук, вряд ли нужно. Ну, положим, не выйдет из него механизатора, а станет он, допустим, шофером, инженером или агрономом. Но бесспорно одно: мальчик — жуковского корня, а корень этот неотделим от земли, от хлебопашества.

Каждый сезон слаженно, отлично, с безоглядной отдачей трудится на огромной оренбургской хлебной ниве славное звено Жуковых. В этой битве за хлеб Алексей идет на полшага впереди отца и младшего брата.

Постановлением обкома комсомола он назван лучшим комбайнером области, недавно ему были вручены премия Оренбургского обкома ВЛКСМ и премия Ленинского комсомола.

Спортивные комментаторы, обращая внимание телезрителей на талантливого новичка, обычно говорят. «Запомните это имя!» Давайте же и мы, дорогие читатели, запомним фамилию механизаторов Жуковых. Уверен: она встретится нам еще не однажды.

Оренбургская область

●

Алексей ПОДОЛЬСКИЙ,
генерал-полковник авиации в отставке

ГРОЗНЫЕ КРЫЛЬЯ

Следопыты из группы «Поиск-35» 9-й школы города Отрадного Куйбышевской области, поздравляя меня с праздником — Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота, просили рассказать о каком-либо эпизоде из жизни 1-й Краснознаменной запасной штурмовой авиационной бригады, которой я во время Великой Отечественной войны командовал. Ребята создают музей 5-го запасного авиационного полка, входившего в состав нашей бригады.

Я долго размышлял над их просьбой, ведь эпизодов было много. Но мне захотелось вспомнить один из них. Мне кажется, этот эпизод будет интересным не только для ребят из Отрадного, но и для многих других.

Это была самая тяжелая пора войны. Развернулась битва, 40-летие которой мы сейчас отмечаем. Гитлеровские армии подошли к Москве, готовясь к последнему броску по ее захвату. Несмотря на это, как известно, столица готовилась к традиционному военному параду на Красной площади в честь 24-й годовщины Великого Октября.

В этом параде должны были принять

участие и авиационные части. Однако по причине плохой погоды парад Военно-Воздушных Сил состоялся не в Москве, а в Куйбышеве.

Подготовка к нему шла в исключительно сжатые сроки и в дни тяжелейшей обстановки на фронтах. В середине октября я получил приказ сформировать и подготовить к параду не менее 45 экипажей самолетов Ил-2. Задача была очень трудная. Самые подготовленные летчики дрались с фашистскими асами на фронтах. А летчиков-инструкторов всюду не хватало — и в училищах, и в разного рода авиационных школах и подразделениях. Казалось, что и летать на параде будет некому и летать не на чем. К тому же именно в это время фашистская пропаганда во всю мощь кричала о том, что наша армия на грани разгрома и что воздушный флот ее давно уничтожен. Это были гнусная ложь и большой, как потом подтвердил сам ход войны, роковой просчет фашистских стратегов.

Нам важно было доказать мировой общественности, что силы Красной Армии не только не иссякли, а, наоборот, только начинают расти и крепнуть.

Кончился октябрь, начался ноябрь, летного эшелона все еще не было. Другие авиационные части активно проводили тренировки на слетанность, а мы, представители грозного самолета, ходили по аэродрому и поглядывали в небо, в ту сторону, откуда должны были появиться Илы. И только 3 ноября, преодолевая огромные трудности — плохую погоду, неподготовленность трассы к перелету, перебои с горючим, летный эшелон, по существу, в канун праздника, прилетел на аэродром. Все самолеты — а их было 50 — благополучно произвели посадку. Летчики были обрадованы известием, что они с ходу примут участие в воздушном параде на самолетах Ил-2.

В то время бронированный штурмовик Ил-2 считался диковинным самолетом, о нем рассказывали чудеса. Немцы, испытав страшную, буквально таранную силу удара штурмовиков на реке Березине, окрестили его довольно метко, назвав «черной смертью».

Мне было сказано, что на параде будут присутствовать члены правительства во главе с председателем Президиума Верховного Совета СССР Михаилом Ивановичем Калининым, а также послы зарубежных стран, в том числе враждебных нам Японии и Турции. Важно было провести парад как можно эффектнее, продемонстрировать непобедимую мощь нашего государства.

Всего к участию в параде было подготовлено 700 боевых самолетов, из них 47 богатырских Ил-2. Летчики под руководством главного штурмана нашей бригады майора Курдюмова быстро прошли подготовку на слетанность, тщательно проверили мехчасть своих грозных машин.

Высота полета во время парада для всех марок самолетов была установлена одинаковая — 1000 метров. Я обратился к командующему Военно-Воздушными Силами округа с просьбой сделать для самолетов Ил-2 важное исключение — разрешить полет на высоте 300 метров. Но получил категорический отказ. Конечно, основания для такого отказа у командующего были: слишком мала, рискованна такая высота для самолетов, несущихся над праздничными трибунами, — а вдруг какая-то поломка в моторе, а вдруг

пилот растеряется... На такой малой высоте самый находчивый летчик не сможет, не успеет что-либо исправить...

— Зачем этот риск? — резко возражал командующий.

— Чтобы грознее, эффектнее получился полет... Чтобы почувствовали это зарубежные послы и рассказали там своим, какая у нас авиация.

Я пытался убедить командующего, горячо ручался за своих орлов, но тщетно. И тут подвернулся счастливый случай: неожиданная встреча с Маршалом Советского Союза К. Е. Ворошиловым. По поручению Государственного Комитета Обороны он в то время возглавлял подготовку стратегических резервов, внимательно следил за мужанием и нашей бригады.

Доложив маршалу о готовности Илов к параду, я осмелился попросить у него разрешить нам пролететь над полем парада на 300-метровой высоте.

Маршал осмотрел меня с ног до головы и, строго улыбнувшись, сказал:

— Полет разрешаю на высоте 500 метров.

Обрадовался я, а про себя к тому же думаю: «Где 500, там можно и 300. Кто сумеет замерить?»

Летчики по каким-то каналам узнали о моем замысле, горячо одобрили его. И этот наш негласный, но решительный уговор еще теснее спаял всех, повысил в каждом ответственность за предстоящий полет на предельно низкой высоте.

На парад была привлечена наряду со старыми типами самолетов значительная часть новых, таких, как пикирующий бомбардировщик Пе-2, истребители Як-1 и штурмовики Ил-2. Командовал воздушным парадом командующий ВВС округа полковник В. А. Судец.

...И вот наступил день 7 ноября. Погода отличная. По графику, утвержденному командующим парадом, были произведены взлеты и сборы групп. Наконец сформировалась общая колонна, взяла курс к месту парада. Над Куйбышевом появилась армада боевых самолетов, в том числе 45 грозных, бронированных самолетов. Больше всех были удивлены этим зарубежные послы и дипломаты. Ведь гитлеровская пропаганда, а вместе с ней и реакционные круги наших союзников утверждали, что советская авиация уничтожена и больше не возродится А тут неба не видно от летящих самолетов!.. Штурмовики замыкали общую колонну и летели немножко в отдалении. Их даже упустили из виду, так как общая колонна летела на высоте 1000 метров, а самолеты Ил-2 ниже. И вдруг, оглушая громовым ревом мощных моторов, над площадью и изумленной публикой на малой высоте черным вихрем пронеслись могучие штурмовики.

Эффект, как мне потом рассказали товарищи, был потрясающим. Было рассказано и такое... Михаил Иванович Калинин спросил:

— На какой высоте пролетели эти отважные летчики?

— Пятьсот метров, — ответили ему.

Михаил Иванович хитровато улыбнулся и, показав на крышу костела, проговорил:

— Костел-то вон какой высокий, а штурмовики пролетели ниже его...

Всем стало ясно, что над площадью парада штурмовики пролетели на высоте метров 100—150. Так вышло потому, что костел и сам город стоят на возвышенности, которая так неожиданно «срезала» 300-метровую высоту полета Илов.

Развернув колонну влево и снизившись над Волгой до бреющего полета, я взял курс на аэродром. Посадку летчики произвели точно. Все были приятно возбуждены и горячо делились мнением, кто кого на трибуне успел рассмотреть. Каждый уверял, что видел Михаила Ивановича Калинина.

На построении я объявил благодарность летчикам и всем тем, кто принимал участие в подготовке техники к параду в столь сложных условиях. Все, кто стоял в строю, громко отчеканили:

— Служим Советскому Союзу!

По поводу торжественно-праздничного дня я приказал выдать участникам парада по две порции селедки, другого угощения в то время я предложить не мог. Летчики шумной ватагой разошлись. Я тоже ушел в свою землянку на торжественный обед. Были, конечно, и речи и тосты. Летчики рвались на фронт, клялись, не жалея сил, громить врага. Неожиданно веселое наше застолье было прервано. Раздался звонок полевого телефона, я поднял трубку.

— Говорит начальник штаба ВВС округа. Командующий ВВС приказал вам немедленно прибыть к нему, — довольно сухо проговорил начальник штаба.

— А на чем?.. — спросил я, но голос в трубке смолк.

Что же, думаю, делать? Приказ есть приказ... Но легко сказать «немедленно прибыть!». А на чем? Машины у меня не было. Оставалась единственная возможность: самолет У-2. Но на дворе темно. Взлететь-то я взлечу, а вот как сесть? В сплошной темени мне не приходилось производить посадку.

Когда я взлетел на У-2 в ночное небо, летчики высыпали из землянок, и, как мне потом было рассказано, кто-то иронично воскликнул:

— Кому это жить надоело?

Но когда стало известно, что взлетел полковник Подольский, то есть я, то ребята сразу заговорили иначе:

— Наш командир, хоть и лихой летчик, но хулиганства не допустит. Видимо, нужда заставила его отправиться в такой полет.

Но тут кто-то с восторгом предположил совсем другое:

— Полетел за наградой!

Другие с тревогой пророчили:

— Полетел на «ковер».

Многие сочувствовали мне: и зачем Подольскому надо было лезть на рожон? Пролетели бы, как все, на заданной высоте, и никаких «ковров».

— Нет, командир наш правильно поступил. Друзья и враги хорошо рассмотрели наши Ил-2. Мы им такую возможность предоставили. А то ведь в газетах сочиняют по этому поводу всякие небылицы. Теперь будут писать конкретнее.

— Особенно японцам и туркам полезно было взглянуть своими глазами на «черную смерть».

Посадку произвел нормально. И вот я у командующего. Густые, длинные брови его нахмурены, взгляд суровый.

— За преступное нарушение приказа, что могло повлечь за собой тяжелые последствия, будешь предан суду военного трибунала, — прямо с ходу, как говорят спортсмены, без разминки, объявил свое решение командующий.

У меня от этих слов внутри похолодело.

— Товарищ командующий, ведь ничего плохого не случилось, за что же суд? — начал было я оправдываться. Но это не возы-

мело воздействия на командующего. Я попытался еще что-то говорить, но это лишь обострило обстановку!

С тем я и ушел в гостиницу, где занял небольшую комнату. Ночь прошла без сна. Я пытался как-то оправдать себя, найти какие-то обстоятельства, смягчающие мой проступок. А потом махнул рукой: будь что будет! Под утро едва задремал, но был разбужен адъютантом командующего.

Когда я явился в штаб, начальник штаба сказал мне мягко, без вчерашней строгости в голосе:

— Алексей Ильич, зайдите к командующему.

Когда зашел в кабинет командующего, полковника Владимира Алексеевича Судеца, он подал мне красивый бланк Наркомата обороны СССР, на котором был отпечатан приказ. В этом приказе объявлялась благодарность всем участникам воздушного парада, в том числе и мне.

— Поздравляю, товарищ полковник, с успехом! — тепло и торжественно сказал командующий и крепко пожал мне руку. О вчерашнем гневном разговоре ни слова.

— Служу Советскому Союзу! — с радостью выпалил я.

На аэродроме меня с нетерпением ожидали летчики.

Я приказал всему летно-техническому составу построиться и тут же зачитал приказ Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова... Над строем прогремело дружное «ура!».

Воздушный парад в Куйбышеве явился ударом по фашистской пропаганде, которая утверждала, что советская авиация уничтожена в первые дни войны.

Современные фальсификаторы истории на Западе утверждают, что будто бы без авиационной помощи США и Англии советская авиация не смогла бы разгромить фашистскую авиацию и что наша страна без их помощи не смогла бы устоять против гитлеровской Германии. Все это ложь. Взять хотя бы период борьбы за Москву. Самолеты союзников стали прибывать только в 1942 году, но к тому времени наша авиационная промышленность уже полным ходом выпускала самолеты новейших конструкций и в основном уже обеспечивала потребности фронта. Например, только 1-я запасная штурмовая авиационная бригада на первое января 1942 года переучила, заново сформировала и отправила на фронт 51 штурмовой авиационный полк и около 1275 самолетов Ил-2. В 1943 году в бригаде резерв Ил-2 состоял из 3500 самолетов.

Штурмовые авиаполки, подготовленные в нашей Краснознаменной бригаде, объединялись в дивизии и корпуса, беспощадно громили врага на всех фронтах Великой Отечественной войны и тем вписали золотыми буквами славную страницу в историю великой Победы советского народа над фашистской Германией.

●

Николай МИХАЙЛОВСКИЙ

В ТЕ БЛОКАДНЫЕ ДНИ...

В глубине Петровского парка в Кронштадте возвышается бронзовая фигура Петра I. Как наказ грядущим поколениям читаются знаменитые его слова: «Оборону флота и сего места держать, яко наиглавнейшее дело».

Именно здесь, по старинной петровской мостовой, в осенние дни 1941 года шли на сухопутный фронт, на оборону Ленинграда отряды балтийских моряков. То были сыновья и внуки защитников красного Петрограда...

Как известно, выполнив задачу по обороне столицы Советской Эстонии, наш Краснознаменный Балтийский флот совершил героический переход из Таллина в Кронштадт. Более 200 кораблей во главе с флагманом Балтики крейсером «Кировым», на котором держал свой флаг командующий флотом вице-адмирал В. Ф. Трибуц, прорвались через минные поля, каких не знала история, отражая непрерывные налеты фашистской авиации и торпедных катеров.

Война есть война. Многих кораблей недосчитались наши, придя в Кронштадт. Отпечаток пережитых горестей и тревог лежал на строгом лице высокого, худо-

щавого, легкого в походке Владимира Филипповича Трибуца. С того дня и часа, как началась война, он не знал, что такое нормальный сон и отдых.

Обстановка на Ленинградском фронте была очень напряженная. Противник прорвал наши оборонительные рубежи, вышел на южное побережье Финского залива и подкатился к стенам Ленинграда. Воздух был наполнен орудийным гулом пушек кораблей, фортов и батарей нашей береговой обороны. В небе назойливо висели стаи фашистских бомбардировщиков...

Назначенный командующим Ленинградским фронтом генерал армии Г. К. Жуков вызвал к себе Трибуца и показал на карте район Петергофа:

— Вот здесь надо высадить десант и хотя бы на короткое время сковать силы противника, помешать ему прорваться в город.

Трибуц вернулся в Кронштадт и быстро сформировал десантный отряд. Моряки отвлекли силы врага, помогли выиграть время для укрепления нашей обороны на важных направлениях. Г. К. Жуков в своих воспоминаниях по достоинству оценил мужество балтийцев: «Моряки действовали не только смело, но и предельно дерзко». Прекрасный талант военачальника проявил в этой и других крупных операциях по обороне и освобождению Ленинграда адмирал Иван Степанович Исаков.

В ту пору на южном побережье Финского залива, считай, в пригороде Ленинграда, фашисты поставили батареи тяжелых орудий. Под огнем оказались коммуникации Ленинград — Кронштадт, Кронштадт — Лавенсари, небольшой островок, вынужденно превращенный военной ситуацией в передовую базу торпедных катеров и подводного флота Балтики.

Для связи с базами собрали транспортные средства — ледоколы, суда торгового флота, речного пароходства. Но как сделать этот путь безопасным, прикрыть от огня фашистских батарей? Вот задача со многими неизвестными, выпавшая командующему флотом. Он раздумывал, созревало решение. В первую очередь нужна контрбатарейная борьба! Открыли огонь немецкие батареи, и тут же им отвечают Кронштадт, форты «Красная горка», «Серая лошадь», двенадцатидюймовые орудия линкора «Марат». Но, подумав, он решил: мало того! Хорошо бы корабли сделать невидимыми. Это бывает в сказке, но в жизни получится ли? И снова раздумья.

...Когда старшему лейтенанту Николаю Николаевичу Амелько сказали: «Вас вызывает командующий флотом!», он приятно был удивлен. Он знал командующего и не раз с ним встречался, начиная с памятного дня, когда курсанты училища и среди них Амелько проходили практику на крейсере «Аврора». И однажды во время учений у самого борта «Авроры» всплыла подводная лодка «Декабрист». В рубке показалась высокая худощавая фигура Трибуца. Он перешел на «Аврору» и с большой охотой беседовал с курсантами.

Войну старший лейтенант Амелько встретил командиром учебного корабля «Ленинградсовет» в Таллине. Конечно, по сравнению с миноносцами его корвет, спущенный на воду еще в 1896 году, считался «дедушкой русского флота». С двумя пушками на борту, имея малый ход, он не поддерживал с моря наши войска и не топил корабли противника. Он выполнял куда более скромные задания: перебрасывал войска из одного порта в другой, сопровож-

дал конвой. Кстати сказать, до Кронштадта «Ленинградсовет» дошел, не получив ни одной пробоины.

Трибуц при встрече с Амелько вручил ему орден Красного Знамени...

— Поздравляю с новым назначением, — сообщил он.

Развернув карту устья Финского залива, Владимир Филиппович показал фарватер и батареи противника.

— Видите, они совсем близко, — сказал он. — Могут прямой наводкой бить по кораблям. Но те корабли, которые поведешь ты, должны прийти к причалу...

Таинственной темнотой охвачен петергофский берег. Противника не слышно и не видно. Значит, конвой не обнаружен. Но не тут-то было! Что-то ухнуло вдали, а в небе над кораблями повис осветительный снаряд. Один, другой, третий... Стало светло как днем.

Кое-как дошли до Ленинграда, отшвартовались на Неве у Васильевского острова. С борта головного корабля сошли на берег артисты Дома флота — понурые, с испуганными лицами, натерпевшиеся страха. Молодой парень-гармонист во время обстрела вопреки запрету выбежал на палубу и был сражен наповал осколком вражеского снаряда.

Когда командующий разбирал этот поход, выясняя все детали, он спросил Амелько:

— Как решить проблему дымовой завесы?

— Снять тральные лебедки и установить на их место дымоаппаратуру, — предложил Амелько.

Всю осень Николай Николаевич Амелько нес конвойную службу — тяжелую и опасную. Судоходство не прекратилось и с наступлением зимы, когда залив сковало льдом. Ледоколы пробили фарватер, и опять пошли корабли. Но тут появились новые сложности. Дымозавесчики больше не могли маневрировать на узкой полосе фарватера. Командующий совещался с командирами. Амелько предложил вместо катеров аэросани! Их быстро нашли. И Николай Николаевич вступил в должность командира аэросанного батальона дымозавесчиков. Дымоаппаратуру смонтировали в корме аэросаней, и получилось еще лучше, чем на катерах. Одно нажатие кнопки, и облако дыма вырвалось из трубы.

Блокировать Кронштадт немцам не удалось. В 1942 году советские подводные лодки тремя эшелонами прорвались в Балтийское море, совершив более 30 походов. Торпедами и артиллерией они уничтожили и повредили 60 вражеских транспортов и несколько боевых кораблей. Военно-морские силы Германии не смогли обеспечить бесперебойные действия на своих коммуникациях.

Когда противник выставил в Финском заливе сплошное сетевое заграждение, усилив минную позицию, боевую эстафету приняла наша торпедоносная авиация.

О второй половине войны и говорить не приходится, гитлеровская стратегия на Балтике, как, впрочем, и на других фронтах, попала в «цейтнот», показав свою несостоятельность.

В те трудные времена где только не находился командный пункт адмирала Трибуца: в Таллине — в землянке, в Минной гавани, в Кронштадте — в артиллерийском каземате, в Ленинграде — на Петроградской стороне, в церквушке, рядом с Электротехническим институтом, на фабрике «Канат», что на Петровском острове.

Благо на Неве есть причалы для швартовки судов, погрузки войск и техники.

Задолго до начала новой большой операции командующий Ленинградским фронтом генерал Л. А. Говоров вызвал к себе командующих армиями, представителей флота и объявил, что в середине января 1944 года решено начать крупное наступление, «прогрызть» пресловутый немецкий северный вал, сокрушить врага у стен Ленинграда и погнать его на запад.

— Готовы ли вы к этому?

Трибуц заявил: флот готов!

Противник теперь все больше зависел от своих морских коммуникаций. Важно было нарушать их, срывать подвоз войск и боевой техники. И хотя гитлеровцы увеличили свой флот, перекрыли Финский залив минами и противолодочными рубежами — все равно балтийские морские летчики-торпедоносцы летали в сторону моря, находили вражеские транспорты и топили их.

— Правда, в море нет крупных баталий, — заметил Владимир Филиппович. — Мы выдвинулись в среднюю часть Финского залива, имеем там базы на островах Лавенсари-Сескаре. Держим врага в постоянном напряжении.

Командующий фронтом поставил морякам задачу: прикрыть с моря фланг нашей армии, огнем морской артиллерии и авиации разрушить узлы обороны противника. Большие задачи по перевозке войск ставились перед транспортными судами.

В. Ф. Трибуц приказал собрать все, что было на плаву и могло двигаться: буксиры, баржи, даже маленькие пароходики — «речные трамваи», которые в мирное время бегали по Неве от Дворцовой набережной до Парка культуры и отдыха. «Летучие голландцы», как называл их В. Ф. Трибуц, ходили по ночам. Флотилия судов грузилась войсками и техникой либо в Ленинграде, либо у Лисьего Носа и успевала за ночь дойти до Ораниенбаума, разгрузиться на «пятачке» и вернуться обратно. На тот случай, если конвой будет обнаружен и противник откроет огонь, морские артиллеристы были готовы вступить в контрбатарейную борьбу, а летчики-ночники могли нанести по батареям противника удары с воздуха.

Не обошлось тут и без участия катеров-дымозавесчиков из дивизиона Н. Н. Амелько. Они сопровождали корабли. Как только появлялась малейшая опасность, чаще всего это бывало уже на самых подступах к Ораниенбауму, — дымы окутывали корабли с войсками и техникой. Сколько же ночей провел Николай Николаевич в постоянном напряжении и тревоге. А днем тоже было не до отдыха: проверка техники, заправка аппаратуры, организационные дела...

Начиная с 5 по 20 ноября 1943 года пятнадцать суток шли конвои. Без единой потери были переброшены 30 тысяч воинов, 47 танков, около 1400 машин, 400 орудий и минометов, 3 тысячи лошадей, почти 10 тысяч тонн боезапасов и других грузов...

Вспоминая это время, командующий 2-й ударной армией генерал армии И. И. Федюнинский впоследствии напишет в своих воспоминаниях «Ораниенбаумский плацдарм»: «Вряд ли можно припомнить в истории военного искусства подобный пример, когда переброска огромных масс людей и техники непосредственно в

зоне наблюдения противника была бы проведена так скрытно и без потерь. Противник до самых последних дней не имел представления о масштабе перевозок, полагал, что мы перебрасываем войска с плацдарма в город, и, видимо, не придавал значения этой перегруппировке».

Поскольку флот должен был поддерживать не только 2-ю ударную армию генерала Федюнинского, но и 42-ю армию генерала Н. Н. Масленникова, которая начинала наступление из-под Пулкова, Трибуц принял решение — всю корабельную и береговую артиллерию объединить в пять групп. Первая будет сопровождать войска 2-й ударной армии, вторая, третья и четвертая должны участвовать в наступлении 42-й армии. Пятую группу составляла бригада морской железнодорожной артиллерии.

В день начала наступления, когда стрелка часов показала 9.35, в воинские части, на форты, корабли, береговые батареи понеслась команда: «Огонь!»

Засверкали огненные трассы «катюш», разразилась артиллерийская гроза. Заухали, загремели, заговорили на разные голоса полевые пушки, мощные орудия Кронштадта, форта «Красная горка» и линкора «Петропавловск».

65 минут длилась канонада. Стена густого дыма закрыла снежную равнину. Постепенно дым рассеивался, и было видно, как из ближайших траншей солдаты устремляются в атаку.

Трибуц следил за ходом сражения.

Гитлеровцы ожесточенно сопротивлялись, переходили в контратаки. Весь день не затихала боевая страда. В итоге первая линия обороны противника была прорвана.

Прав маршал артиллерии Г. Ф. Одинцов, отметивший, что в военной истории едва ли имело место такое использование морской артиллерии для нужд наземных войск.

В первые дни наступления погода ограничила действия авиации, и все же наиболее подготовленные экипажи морских летчиков поднимались в воздух, сопровождая наступающие войска. Штурмовики непрерывно висели над полем боя, вели огонь из пушек, пулеметов, реактивного оружия и сбрасывали на цели бомбы со взрывателями замедленного действия.

Наступление длилось не день и не два. 27 января оно завершилось полным разгромом гитлеровских войск у стен Ленинграда.

В тот день Трибуц позволил себе короткий отдых. А вечером он стоял на палубе крейсера «Киров», слушая гром исторического салюта. Очевидцы рассказывают, что от волнения у вице-адмирала на глазах блестели слезы.

Счастливая пора! Фронт уходил все дальше на запад. В сводках Совинформбюро появлялись знакомые названия ленинградских пригородов: Ропша, Красное Село, Пушкин, Гатчина...

●

Геннадий ГУСЕВ

ПУТЬ ПРОБУЖДЕНИЯ, ИЛИ СТРАНСТВИЯ ВЕЛИКОЙ МЕЧТЫ

ПРИГОВОР ИСТОРИИ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Все сколько-нибудь последовательные утопически-социалистические теории так или иначе покушались на частную собственность. Но частный интерес торжествовал, невзирая на самые ослепительные проекты усовершенствования мира.

Так что же, она неуничтожима? Вечно разделение на богатых и бедных? «Адвокаты человечества» возмущались, протестовали, негодовали, но...

«В нравственном негодовании, как бы оно ни было справедливо, экономическая наука может усматривать не доказательство, а только симптом». Конечно, если негодуют личности яркие, талантливые, искренне сочувствующие народу, то их проповеди не пропадают даром. Они будят людей, не дают им смириться с их долей. Однако в главном Маркс и Энгельс были правы: негодование проповедников само по себе не могло привести к реальному перевороту. Нужны были неопровержимые аргументы против частной собственности, почерпнутые из самого исторического процесса развития форм эксплуатации, а не просто из любвеобильного сердца. Нужно было определить средства и силы для ее ниспровержения, определить условия, при наличии которых переход человечества в царство свободы становился и возможным и необходимым.

Маркс и Энгельс первыми доказали преходящий характер жизнеустройства, основанного на частной собственности. Они увидели материальные, технические, духовные предпосылки и средства ее уничтожения внутри развивающегося капитализма.

Классовый гнев вождей пролетариата не ослеплял, а озарял им дорогу борьбы. Из сферы социальной и исторической науки были изгнаны отвлеченная моральная риторика, абстрактное долженствование и посулы. «Социализм должного» — то есть утопизм в любых его ипостасях — уступил место «социализму сущего» — то есть естественноисторической теории процесса общественно-экономических формаций.

До сих пор ученые ничего не могли предложить, кроме умозрительных комбинаций типа: «всего понемножку». Вот если бы взять лучшее от первобытности (нравы); от средневековья (цеховую «семейную» организацию труда); от капитализма (плоды цивилизации); да перевести бы это все на рельсы «честно» заработанной собственности, основанной на личном труде каждого... Да плюс к тому сдерживать алчность, врачевать нравы, поощрять образование и искусство — глядишь, все и устроилось бы ко всеобщему благу...

Маркс и Энгельс не просто доказали наивную неосуществимость этих «прожектов», напоминающих попытки голыми руками остановить набравший обороты огромный мельничный жернов. Они доказали, что именно во всемерном развитии производительных сил капитализма заложены необходимые гарантии не только разгрома старой мерзости, но и невозвратимости

Окончание. Начало см. в № 9—10.

любых ее форм и видов. «Сама история теперь судья, а исполнитель ее приговора — пролетариат», — писал Маркс.

Обоснование исторической миссии рабочего класса было поистине открытием «ворот в будущее», открытием материка надежды для обездоленных. Сгустком идей и образов огромной духовной и эмоциональной силы предстает это открытие в «Манифесте Коммунистической партии».

Неумолимо течение времени. Но, пока не прекратится род людской, идущие друг за другом поколения будут вчитываться в поэтически проникновенные, исполненные достоинства и убежденности набатные строки «Манифеста», прогремевшего в 1848 году.

«Современное буржуазное общество, с его буржуазными отношениями производства и обмена, создавшее как бы по волшебству столь могущественные средства производства и обмена, походит на волшебника, который не в состоянии более справиться с подземными силами, вызванными его заклинаниями».

Справиться с ними может только пролетариат — класс, производящий все материальные блага, накапливающий, словно гигантский конденсатор, великий гнев, железную волю и знание.

Следуя диалектике жизни, Маркс и Энгельс показывают, как буржуазный строй помимо воли и желания господ готовит собственного могильщика. Забитая, пассивная, страждущая масса пролетариев превращается в титана, рвущего цепи рабства. Превращение это, прорыв к свету социальной истины происходят не вдруг, происходят противоречиво, адски трудно — через ожесточение и стихийный бунт, через «машиноненавистничество», через иллюзии мелких экономических завоеваний... Сколько было их, этих иллюзий и трудностей, сколько еще осталось!

Но центробежным процессам разлада, колебаний и заблуждений с самого начала противостояли классовая закалка, единство действий. К тому же сама буржуазия волею объективных законов экономики и классовой борьбы вынуждена была вооружать пролетариат политическим опытом и элементами образования. «Бедный, страдающий брат» обретал все более острое социальное зрение, становился умнее, организованнее. Процесс этот в крайнем случае еще можно было притормозить (обманом, посулами, компромиссами, дезинформацией), но остановить уже невозможно!

Стройная система доказательств освободительной миссии пролетариата, воздвигнутая сто тридцать лет тому назад в «Манифесте» Маркса и Энгельса, ничуть не утратила своей актуальности, своей истинности. И сегодня из всех классов, противостоящих буржуазии, «только пролетариат представляет собою действительно революционный класс. Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием крупной промышленности, пролетариат же есть ее собственный продукт».

В последнее время рабочий класс прочно попал в зону особого внимания буржуазной философии, социологии, этики. С единственной, в общем-то, целью: приручить, нейтрализовать, приковать к колеснице капитала призрачной нитью «социального партнерства»! Началась целая полоса отрицания революционной роли пролетариата вообще. Громче всех проклинали

рабочих за «предательство» мелкобуржуазные леваки-революционаристы и их теоретики типа Герберта Маркузе.

Одна из самых злых антипролетарских версий — версия об «обуржуазивании» рабочего класса в эпоху позднего капитализма, об «интеграции» его в капиталистическую систему, растворении в материально обеспеченном «среднем классе» мелких собственников.

Версия «обуржуазивания» пролетариата активно вписывается в мировую политику. Империалистическая пропаганда твердит (вместе с социал-предателями) о приближении «классового мира», о единстве интересов капитанов и рядовых матросов на могучем корабле «индустриального общества».

Механизм манипулирования общественным сознанием настолько изощрен и отлажен в современном буржуазном мире, что некоторая верхушечная часть квалифицированного рабочего класса развитых капиталистических стран действительно идет на компромисс с хозяевами и на разрыв с лозунгами пролетарской революции.

Критические залпы в адрес мифической интеграции пролетариата в капитализм слышатся, причем все назойливее, и с другого социального фланга. Маоисты, предатели коммунистического дела, выдвигают на место рабочего класса в качестве гегемона революции «мировую деревню», то есть крестьянские массы бывших колониальных и зависимых стран. Псевдокоммунисты всякого рода ставят на место пролетариата армию «белых воротничков», то есть техническую интеллигенцию или студенчество. Анархисты-леваки проклинают пролетариат за «трусость» и проповедуют немедленный переворот методами жестокого терроризма.

Жизнь не подтверждает и не может подтвердить подобного рода домыслов. Рабочий класс повсюду возрастает численно; он повсюду возрастает интеллектуально, ибо становится все более образованным (как того требует современное производство); он включает в себя все большее число наемников умственного труда из числа инженеров и техников, он, наконец, все более остро ощущает принудительный, отчужденный характер своей трудовой деятельности. Все это ведет к накоплению революционности, а не к утрате ее. Ярчайшее свидетельство тому — наращивание сил пролетарского авангарда — международного коммунистического движения.

«Призрак коммунизма» стал могучей, определяющей материальной и духовной силой истории. Перед ним, перед его ярким светом исчезают призраки старого мира.

А сколь необычным казался во времена «Манифеста» тезис об интернациональной сущности пролетарского движения и его целей! Сегодня мы видим социалистическое содружество народов, интеграцию народного хозяйства стран СЭВ, бескорыстную помощь этих стран всем народам, борющимся за национальный прогресс. Это ли не торжество великой мечты основоположников нашего движения!

С «Манифеста» началась наука о коммунизме. Наука столь же объективная, как и любая другая, базирующаяся на фундаментальных истинах. Правда, формулы новой социальной науки еще нуждались в экспериментальном и логическом подтверждении. Впереди был «Капитал». Но все-таки первое сло-

во — призывное, мобилизующее слово! — за лозунгом «Манифеста»: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» За этим лозунгом пошли и идут поныне миллионы и миллионы борцов.

УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ

«Самым страшным снарядом», когда-либо пущенным в голову буржуа, назвал К. Маркс Главную Книгу своей жизни. «Библией рабочего класса» нарекли ее пролетарии мира. Имя ей — «Капитал».

Всякое сравнение хромает. Огромный конгломерат мифов, легенд, мистических пророчеств — такова Библия. Монблан фактов, венчаемый непреложными и точными, как математические формулы, научными обобщениями, диалектика идей, отражающая глубоко и цельно диалектику вещей, — таков «Капитал». Он неисчерпаем.

В книге этой и истоки, и основания научного предвидения будущего, вырастающего из недр капитализма. До «Капитала» коммунизм был прежде всего философским и политическим «истинным лозунгом борьбы», вдохновляющим прогнозом, убедительным предсказанием. Но лишь в «Капитале» он был прочно поставлен на фундамент научной экономической теории.

С этой поры мечта человеческая избавилась от, казалось бы, неизбежной своей спутницы — утопии. Не от фантазии и воображения, нет! — но от опаснейшего свойства: принимать желаемое за реальное (или, в крайнем случае, могущее вскорости стать реальным). Новая теория открывала широчайший простор свободе исторического творчества масс, их инициативе — на основе познания объективных законов общественного развития.

«Если Маркс не оставил «Логики»... (по типу «Логики» Гегеля. — Г. Г.), то он оставил логику «Капитала» (В. И. Ленин). Логика «Капитала» — это теоретическое восхождение от абстрактного к конкретному как совокупности внутренних связей органического целого. Только такая — диалектическая — логика позволила Марксу, ни на йоту не поступаясь объективностью, заглянуть в будущее, вывести возможные следствия из результатов и тенденций действия экономических законов.

В «Капитале» вновь, как у древних греков (но на качественно ином уровне интеллектуального развития!), воссоединились «разбежавшиеся» на века мысль и воображение, логика и фантазия. Недаром сам К. Маркс о своих трудах, и прежде всего о «Капитале», говорил как о «художественном целом».

Искусство помогало Марксу развивать революционную мысль. В соратники по скрупулезному исследованию мира частной собственности он взял Гомера и Шекспира, Бальзака и Дидро, Софокла и Данте, Лессинга и Пушкина. «Капитал» — это кладезь художественных образов, помогающих не просто оживить сухие экономические формулы и выкладки, но и представить социальную структуру как живое и динамичное целое.

Вспомним, к примеру, блистательный, острый теоретический анализ Марксом тысячелетней тайны денег, их власти над людьми, мистической тайны товарного фетишизма. Автор «Капитала» не ограничился одними только экономическими выкладками и научными аргументами. Чтобы не просто раскрыть

механизм товарообмена, но и нравственно заклеймить порабощающую, разрушающую человека силу денег, Маркс приводит монолог о золоте из шекспировского «Тимона Афинского».

Единство логики и диалектики, понятия и образа, теории и фантазии стало фундаментом научного предвидения, научного прогноза, иными словами — материалистического понимания будущего. Вот почему нет никакого преувеличения, когда мы называем «Капитал» книгой, устремленной в будущее.

Стержнем, становым хребтом «Капитала» является теория прибавочной стоимости. Она позволила не только описать (как было сделано в «Манифесте») цивилизаторскую миссию капитализма со всеми его великими достижениями и чудовищными преступлениями, но и выяснить механизм всех антагонизмов буржуазного мира, корчащегося в судорогах прогресса. Ариадниной нитью стало открытие тайны капиталистического накопления.

Было бы наивно заниматься здесь популяризацией великого «Капитала». Наша задача в другом — подключить Главную Книгу марксизма в общую цепь разговора о вызревании научной концепции будущего с тем, чтобы побудить стремление читателя подняться на ослепительные снежные пики «Капитала». Конечно, здесь нужны настойчивость и упорство. «Здесь нужно, чтоб душа была тверда» (Данте). Зато наградой будут необозримые горизонты самого необходимого знания о жизни и о будущем; наградой будут зрелый оптимизм и огромная уверенность в правоте нашей борьбы.

«Капитал» неисчерпаем. Он не принадлежит к числу книг, из которых зерна истины добываются так же легко, как семечки из подсолнуха. Это о своей главной работе (в письме к французскому издателю Морису Лашатру) писал Маркс: «В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам». Изучение «Капитала» — наилучший путь к сияющим вершинам знания о коммунизме. К сияющим вершинам Идеала.

После этого необходимого отступления попытаемся все же разглядеть в теории прибавочной стоимости ключ к пониманию как динамики роста самого капитализма, так и созревания внутри его предпосылок иного жизненного устройства.

Покупая на рынке труда рабочую силу, капиталист тем самым приобретает товар, который обладает способностью создавать прибавочную стоимость. Ею и является разница между стоимостью рабочей силы (затраты на обучение, восстановление жизненной энергии, на содержание семьи и т. д.) и стоимостью вновь созданного ею продукта. Прибавочная стоимость позволяет расширять производство, нанимать новых рабочих и т. д. — казалось бы, до бесконечности...

Обратим внимание на скрытый прогресс, таящийся внутри буржуазного экономического принуждения.

Заключается он прежде всего в расширении диапазона труда за пределы простейших, сиюминутных потребностей и формировании новых потребностей. Работа на общество (ибо значительную часть прибавочной стоимости капиталист вынужден в условиях конкуренции тратить на расширение производства, на соз-

дание новых средств производства) дает мощный толчок развитию производительных сил, тем самым готовя почву для создания материально-технической базы, вне которой коммунизм попросту невозможен.

Крупное машинное производство — база для извлечения во всевозрастающих размерах относительной (на техническом прогрессе основанной) прибавочной стоимости — вырабатывает высочайшую дисциплину труда, без которой высокоорганизованное общественное хозяйство немыслимо, экономический хаос неизбежен. Коммунизм преодолевает («снимает», говоря философски) бесчеловечный, жестокий, отчужденный характер этой дисциплины, переводя ее в плоскость нравственного сознания, привычки здорового организма, то есть первейшей жизненной потребности. Но формировать эту привычку начал капитализм. Он будоражит ее в человеке грубо, насильственно; однако до поры альтернативы этим стимулам не было...

Величие Маркса и здесь в том, что он сумел разглядеть за преходящей оболочкой новое содержание. Маркс подчеркивал: «Историческое назначение капитала будет выполнено тогда, когда, с одной стороны, потребности будут развиты настолько, что сам прибавочный труд, труд за пределами абсолютно необходимого для жизни, станет всеобщей потребностью, проистекающей из самых индивидуальных потребностей людей, а когда, с другой стороны, всеобщее трудолюбие благодаря строгой дисциплине капитала, через которую прошли следовавшие друг за другом поколения, разовьется как всеобщее состояние нового поколения».

По нашему мнению, в этом научном прогнозе Маркса содержится глубинное основание и для морали будущего. При коммунизме «больше отдавать людям, чем брать себе» (старая мечта гуманистов!) станет не только всеобщей экономической необходимостью, но и внутренней потребностью личности.

Место эгоизма и связанных с ним мерзостей окончательно займут альтруизм, радение не за себя только или своих «ближних», но и за «дальних», то есть за общество в целом. Она разогнется «от себя», упрямая человеческая пятерня, тысячелетиями сгибавшаяся только «к себе»! Главным в человеческой жизни объективно станет сотворение Добра — и не по велению божию, не из страха перед муками загробными, не под влиянием прекраснодушных моральных проповедей, но под воздействием радостной и свободной атмосферы осознанного коллективного творческого труда.

Теория прибавочной стоимости позволила увидеть за узким горизонтом буржуазного прогресса возможность организации социального бытия без «капитанов индустрии», то есть без капиталистов, без ожесточенной конкуренции частных собственников, — самими трудящимися массами.

По мере приобретения производством все более общественного характера капиталисты утрачивают позитивную экономическую функцию организаторов производственно-технологического процесса. Более того, они чем дальше, тем больше становятся тормозом промышленного и социального прогресса, «прорехой на человечестве», навязывая экономике (и обществу в целом) свои корыстные цели, раскручивая адскую карусель «производства

ради производства», выкачивания прибыли ради большей прибыли, денег ради денег, вещей ради вещей...

Мы уже знаем, кому предстоит «экспроприировать экспроприаторов»; знаем, как неотвратимо формирует и закаляет буржуазный строй своего собственного могильщика. Новое, что внес «Капитал» в теоретическое обоснование исторической миссии рабочего класса, — это тщательное исследование процесса роста его готовности принять на свои плечи огромное, сложнейшее планетарное хозяйство: индустрию, агрокультуру, просвещение, управление людьми и вещами. Процесса, когда трудящиеся, говоря словами Маркса, сумеют «сделать самих себя способными к господству...»

Вопли о «кухарках, управляющих государством», раздавались — с этакой высокомерной ехидцей — задолго до Великого Октября. Ф. Кугельман свидетельствует: «Однажды один господин спросил его (К. Маркса. — Г. Г.), кто же будет чистить сапоги в государстве будущего. Маркс с досадой ответил: «Это будете делать вы!»

В саркастическом ответе Маркса господину скрыт глубокий смысл. «Вечным» оправданием разделения общества на тех, кто чистит сапоги, и тех, кому их чистят, была монополия господствующего меньшинства на развитие науки, техники и культуры.

Капитализм в начале и середине своего пути сохраняет и углубляет пропасть между умственным и физическим трудом, между культурой и трудящимися. Мануфактура и фабрика не только не преодолели идиотизма деревенской жизни, цеховой замкнутой корпорации, но и дополнили их идиотизмом отчуждения личности, превращения труженика в придаток машины, в «частичного человека».

Но неотвратимо совершается игра законов буржуазного производства! Под спудом профессионального отупляющего однообразия, всеобщей малограмотности масс постепенно вызревают иные, чуждые и враждебные капиталу силы. Бешеная гонка за прибылью сопровождалась неуклонной модернизацией производства, его концентрацией и специализацией. В экономику властно вторглась наука — уже не как «служанка», а как полноправная и могучая производительная сила. Оказалось, что в исторически обозримой перспективе рабочий вовсе не обречен вечно «чистить сапоги», вечно быть одушевленной частью капитала. Напротив, чем дальше, тем больше само производство диктует (роли переменились!) капиталисту необходимость все более крупных затрат на образование и профессиональную подготовку рабочих. Сложная техника не для малограмотных. ЭВМ не механический конвейер!

В рукописях подготовленных работ к «Капиталу» Маркс пишет: «Прибавочный труд рабочих масс перестал быть условием для развития всеобщего богатства, точно так же как нетруд немногих перестал быть условием для развития всеобщих сил человеческой головы».

Эти «всеобщие силы» становятся непосредственным компонентом производства. Возникает и становится все более настоятельной необходимость, чтобы каждый труженик овладел ими. Овладел и приумножил за счет раскрытия личных творческих способностей и дарования. Крупное автоматизированное произ-

водство (в тенденции, в перспективе) делает былью мечту о всестороннем развитии всех! Оно создает предпосылки (поначалу куцые, ограниченные, но все же потенциально активные) преобразования труда всех людей во всех сферах в содержательную, творческую деятельность.

Совместно и на основе материально-технического развития происходит и фундаментальная духовно-ценностная переориентация личности, переключение ее интересов, склонностей и потребностей в иную, подлинно человеческую сферу самоутверждения, где все общество будет нацелено на всестороннее развитие сущностных человеческих сил и потенций, на «абсолютное выявление творческих дарований человека» (К. Маркс).

Но для этого, предсказывает Маркс, новое общество сделает мерилом богатства уже не рабочее, а свободное время индивидов, необходимое для «возвышенной деятельности» (наука, образование, изобретательство, управление общественными делами, художественное творчество и т. д.). Коммунизм поможет всем людям разогнуть спину, поднять голову к «небу» вдохновляющих занятий подлинно творческим, по-настоящему интересным и бескорыстным трудом на общее благо.

Словно приговор самой истории звучат над миром вещие, знаменитые семь слов из XXIV главы первого тома Марксова «Капитала»: «Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют».

Приговор окончательный. Приговор от имени поруганного прошлого и во имя счастливого будущего человечества. Но когда он будет приведен в исполнение?

«Капитал» — строго научный труд. Тщетно искать в нем «заветных чисел», на которые столь щедра была Библия. Маркс научно обосновал главную тенденцию развития капитализма, гениально обнаружил законы его разрешения, его самоотрицания. Но на вопрос: когда? — могли и могут ответить только трудящиеся массы.

Только от их способности (во главе с пролетарскими партиями) не упустить исторический шанс зависит, будет ли снова и снова отсрочен приговор истории, удастся ли «сократить и смягчить муки родов» (К. Маркс) нового общества из недр старого.

Здесь, в этом главном пункте, открывается простор для широкого исторического творчества народных масс. Опыт Страны Советов показал, как активно и творчески нужно было воспринять суть Марксова учения об экспроприации экспроприаторов.

Сколько было солидных предостережений тогдашних псевдомарксистов: погодите! Еще не созрели плоды крупной машинной индустрии, еще не цивилизовался российский пролетариат — островок в океане неграмотного крестьянства...

Партия большевиков ответила: нет! Нужно сначала взять власть, национализировать крупное производство, поднять массы к самостоятельному творчеству, разбудить таланты народа, задавленные капитализмом, а затем, опираясь на мощь пролетарского государства, неуклонно идти к вершинам знаний и культуры, создавать новый, социалистический строй и образ жизни.

Гениальный прогноз Маркса, начертанный в «Капитале», в главном, в сути своей полностью подтвердился. Считанные годы — всего лишь миг с точки зрения вечности — понадобились для того, чтобы более чем на одной шестой части планеты восторжествовала воплощенная тысячелетняя народная мечта!

ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

Еще в молодости Маркс и Энгельс нашли афористичную формулу гармонического развития человека: «Каждый, в ком сидит Рафаэль, должен иметь возможность беспрепятственно развиваться». Позднее, создав стройную теорию коммунизма, они подвели прочный научный фундамент под это гордое, непреложное: должен.

Если «каждый, в ком сидит Рафаэль», будет избавлен от изнуряющей и отупляющей погони за куском хлеба (или за миллионом — разница в том небольшая); если в сфере материальных потребностей будет достигнуто изобилие (не путать с излишеством, ибо оно безмерно, беспредельно); если в сфере труда будет возрастать доля свободного времени, обращаемого на благо духовного роста личности, — вот тогда (и только тогда!) каждый человек будет действительно «иметь возможность беспрепятственно развиваться».

Долог, сложен, неизведан путь...

Кажется, вся история свидетельствует против такой возможности гармонизации гуманистического идеала всесторонне развитой личности — и максимального размаха технической цивилизации. Поэзия идеала — и проза разделения труда; пламень мечты — и лед эгоизма; порыв к общему благу — и «тормоз» личного интереса...

Бесконечные нападки на коммунистический идеал, град псевдоученых насмешек, поток злобных оскорблений и громогласных «опровержений» — все было, все есть поныне, и все наперебой апеллируют именно к старушке истории.

В самом деле: на протяжении веков двигателем общественного и научно-технического прогресса было стремление индивидов к собственной выгоде и пользе. Не случайно умнейшие и честнейшие головы прошлого далеко не всегда осмеливались посягать на частную собственность, размышляли о том, как лучше впрячь эгоистические устремления в колесницу общего блага. Вспомним Фурье; вспомним разнообразные концепции «разумного эгоизма» и т. п. Почти все радетели за человечество цепенели перед леденящей душу перспективой воцарения всеобщей лености, дикого анархического разгула — либо, в противовес этому, жестокой казарменной дисциплины.

«Сила привычки миллионов — самая страшная сила» (В. И. Ленин). И родоначальники научного коммунизма в полной мере представляли себе, какую опасность и трудность для будущего таят веками укоренившиеся в человеке и обществе психология и мораль эгоизма, прагматического равнодушия к общественному благу, к природе, к другому человеку.

В мире собственничества «люди оказывают вещи (деньгам) такое доверие, какого они не оказывают друг другу как личности». В этом жестоком мире господствует «всеобщее отноше-

ние полезности и годности для употребления», господствует «князь тьмы», нагло попирающий робкие побеги добра, человеколюбия, бескорыстия...

«Так было, так будет», — утверждают апологеты капитализма.

«Так было, так, увы, будет», — вздыхают субъективно честные, но изверившиеся, беспомощные в своем отчаянии «жалельщики рода человеческого» из числа нынешней западной интеллигенции. Самое большее, чего, по их мнению, возможно добиться, — это сохранить внутри себя неприступный островок добра, совестливости, сострадания и милосердия...

«Так было, но так не будет!» — заявляют марксисты-ленинцы вслед за своими учителями.

Долог, труден, неизведан путь...

Но вовсе не с «нуля», не с корчевания каких-то непроходимых джунглей безнравственности начинают этот путь коммунисты. Одну из главных духовных опор в борьбе за нового человека они по справедливости видят в нерастраченном и драгоценном моральном фонде трудящегося человечества. Коммунизм по праву наследует «золотые россыпи» высоких помыслов и устремлений лучших человеческих душ. Более того: он всячески культивирует, побуждает к росту и развитию вековечные зерна добра, самоотверженности, героического энтузиазма — всего того, что не могло взойти и расцвести на бесплодной каменистой почве буржуазного эгоизма, жадности, бессердечия.

Главный хранитель этого морального фонда, этих неуничтожимых зерен — человек труда. «Для пролетариата смелость, сознание собственного достоинства, чувство гордости и независимости — важнее хлеба». Могильщик буржуазии несет гибель и ее морали, и ее психологии. Отмечая с надеждой и гордостью ростки новых взаимоотношений между рабочими, молодой Маркс писал: «Для них достаточно общения, объединения в союз, беседы, имеющей своей целью опять-таки общение; человеческое братство в их устах не фраза, а истина, и с их загрубелых от труда лиц на нас сияет человеческое благородство».

Уничтожение эксплуатации, нищеты, голода и бедности обрекает на вырождение и одну из самых сильных, «тысячелетних» человеческих страстей — неутолимую жажду обладания, приобретательства, эгоизма. Целью общества и человека перестает быть накопление собственности. Средства жизнедеятельности (вещи, комфорт, путешествия, образование и т. д.) перестают быть порабощающей силой, а человек и природа — всего лишь средствами достижения корыстных целей.

Коммунизм несет людям перспективу широчайшего развития и углубления благороднейших, нормальных (в самом высоком человеческом смысле) материальных и духовных потребностей. Он несет миру людей самые высокие радости: «радость человеческого общения» (А. Сент-Экзюпери), солидарности и бескорыстной взаимопомощи, радость творческих дерзаний и открытий, неутомимую жажду познания, радость огромной любви.

Это и есть подлинный, реальный гуманизм, то есть реальная, на высшем уровне развития науки, производства и общества свобода личности, основанная внутри и посредством свободной ассоциации тружеников.

Таков поистине орлиный взгляд Маркса, Энгельса и Ленина в будущее — взгляд с высоты «развития всех человеческих сил как таковых, безотносительно к какому бы то ни было заранее установленному масштабу» (К. Маркс).

Другую духовную опору для коммунистического переустройства мира и человека классики марксизма-ленинизма видели в необъятном прогрессивном культурном наследии прошлых эпох — от «полисного сознания» и искусства Эллады до величайших гуманистических исканий и обретений критического реализма XIX века.

Грубый практицизм, голая польза ведут к деградации личности — в том числе и личности господствующей, «богатой». Блистательно сказал об этом молодой Маркс: «Удрученный заботами нуждающийся человек невосприимчив даже к самому прекрасному зрелищу». Таков голодающий: для него «не существует человеческой формы пищи», он низведен до уровня «животного». Но по-своему беден, неспособен к человеческим наслаждениям и буржуа: «...торговец минералами видит только меркантильную стоимость, а не красоту и не своеобразную природу минерала...»

Совсем иные перспективы открываются перед человечеством, утверждает марксизм, когда владыкой мира станет освобожденный труд — труд творческий, вдохновенный, «преобразованный технически и осмысленный социально» (М. Горький). Труд как бесконечная, «свободная игра физических и интеллектуальных сил» (К. Маркс).

И здесь людям будущего есть что наследовать у предшествующих поколений — народную трудовую мораль, умение (при малейших благоприятных условиях) работать весело, складно, на совесть, работать художественно.

Освобожденный труд, поднявшийся до высшей в сравнении с капитализмом производительности, создает возможность и диктует необходимость «предоставить каждому достаточно досуга для восприятия всего того, что действительно ценно в исторически унаследованной культуре — науке, искусстве, формах общения и т. д. — и не только для восприятия, но и для превращения всего этого из монополии господствующего класса в общее достояние всего общества и для дальнейшего развития этого достояния» (Ф. Энгельс).

Спросим себя: а почему так важно для человека и всего общества «восприятие всего того, что действительно ценно в исторически унаследованной культуре», превращение этого наследства в «общее достояние»? Только ли для облагораживания грубых, неразвитых чувств вчерашнего «частичного» человека? Только ли для компенсации непривлекательного, неинтересного труда в сфере производства?

Вспомним крикливых авангардистов, «пролеткультовцев» молодой Советской России. Кого только не сбрасывали они с «парохода современности»! Каких только дифирамбов не пели «здоровому пролетарскому инстинкту», «новой классовой культуре» и т. п. А было все это, в сущности, исповедью волюнтаристского невежества, новой бездуховности, прямо ведущих от революции к реакции, к воцарению анархии, неизбежно завершающейся тиранией.

Нет, отнюдь не для увеселения или смягчения нравов про-

возглашали марксисты необходимость культурной революции. Она, эта революция, является важнейшим инструментом духовного и нравственного развития личности. Она и только она вслед за революцией социальной поднимает массы к вершинам сознательного исторического творчества — не только в сфере производства, но и в культурно-эстетической сфере.

Расщепление ядра собственнического бытия неизбежно высвобождает огромную «звездную» энергию творческой инициативы, энтузиазма, талантов народа, «расколдовывает» его деятельные духовные и художественные силы. Могучим молотом этих созидательных сил рабочий класс, трудящиеся массы неминуемо раздробят ржавые оковы эгоизма, жестокости, корысти, суеверий; до основания разрушат «иерархию профессий». И тогда равенство станет фактическим; и тогда не зависть и жестокое соперничество, а творческое, вдохновляющее соревнование в труде, учении, искусстве, спорте станет движущей пружиной роста и гармонического совершенствования личности.

Таково в общих чертах еще одно великое научное предвидение марксизма-ленинизма — предвидение качественно нового подъема общечеловеческой духовной культуры, нового шага вперед в художественном развитии человечества.

А теперь обратимся к первоначалу, к моменту, когда человечество сделало лишь первые шаги к социализму. «Мы хотим, — писал В. И. Ленин, — построить социализм из тех людей, которые воспитаны капитализмом, им испорчены, развращены, но зато им и закалены в борьбе».

Каковы же практические ступени восхождения к идеалу, каково реальное взаимодействие всех позитивных факторов революции, обеспечивающее неудержимое обновление жизни общества?

Маркс и Энгельс дали на эти вопросы лишь принципиальные общие ответы («...ни тени попыток... по-пустому гадать насчет того, что знать нельзя»). Дать конкретные ответы, прочертить на «карте будущего» стратегические линии, ведущие к идеалу, выпало на долю большевиков России. В работах В. И. Ленина были диалектически сопряжены, сцеплены воедино отдаленные цели революционного созидания нового — и ближайшей задачи «раскорчевки» старого мира.

Самым сложным, трудно преодолимым препятствием на пути пролетариата к социализму сразу же после победы над откровенными врагами революции была страшная сила привычки миллионов к тому, что все вокруг — чужое (а так оно и было веками), а потому не зевай, «коли плохо лежит», постарайся урвать для себя кусок побольше да пожирнее... «Не мое» — значит, будто бы и ничье. Государственное? Но как долго надо приучать людей к тому, что «государство — это мы», это — наше. Страшная сила привычки раба, мелкого собственника, чиновника, страшная инерция психологии человека, «который заботится только о том, чтобы иметь свое, а до другого ему дела нет...» (В. И. Ленин).

Стихии расхлябанности, обывательщины, хищничества победивший пролетариат противопоставил революционный порядок, «фабричную дисциплину» (В. И. Ленин).

Свобода — и «фабричная дисциплина»? Возможно ли такое? Не измена ли это идеалу, принципам? Но, главное, каков идеал?

«Свобода вообще»? Однако она есть необузданная, не ограниченная ничем и потому враждебная обществу свобода «дрянного индивида», синоним индивидуализма. Такую, с позволения сказать, «свободу», уводящую людей, — и самого индивида тоже! — в непроходимые дебри либо прекраснодушия, непротивления злу, либо анархизма и деградации, социализм самым недвусмысленным образом отвергает.

Но и «фабричная дисциплина», контроль, шире говоря — диктатура (пусть и большинства над меньшинством) — вовсе не вечная цель, а лишь необходимая ступень чистки «авгиевых конюшен» старого мира. Чем дальше, тем больше государство рабочего класса разворачивает свои творчески-созидательные и воспитательные функции, все более проявляет себя как государство нового типа.

Во всей своей деятельности оно опирается на духовную и моральную силу передового класса, на лучшее в человеке, втягивая его на арену великой исторической самодеятельности, активного участия в строительстве и управлении делами нового общества. Оно опирается на растущее могущество «прирученных», то есть планомерно, в интересах всего общества организованных, науки и техники. Оно приводит в действие и необъятный арсенал прогрессивного культурного наследия, выращивает и дает простор творчеству новых, из глубин народа вышедших, интеллектуальных и художественных сил.

Слияние революции и культуры — вот «тайная тайных» неодолимости движения человечества к коммунизму. Волею, разумом, силой пролетариата ликвидируется пропасть между мечтой лучших умов человечества о гармонической личности, облагороженной науками и искусствами, — и мечтой народных масс о великой Правде и социальной справедливости.

С ПОЗИЦИЙ НАДЕЖДЫ

Не будет преувеличением сказать, что рядом с «великой державой» растущего и борющегося пролетариата свою битву с буржуазностью, индивидуализмом, бесчеловечностью вела и «великая держава» литературы критического реализма и революционного романтизма XIX века. Они сближались, эти «державы», они были очень нужны друг другу. Самое время сейчас вернуться вновь под своды храма Красоты, воюющей с мерзостью буржуазного мира.

Всякое истинное великое событие в человеческой истории оставляет на память и в назидание потомкам нетленные образцы высокого мужества, самоотверженности, яркие и благородные озарения духа. Таким событием в XIX веке была Парижская коммуна. Она исторгла из глубин своих и подарила грядущему, кроме бесстрашных героев и непреходящих исторических уроков, рвущуюся из самого сердца пролетариата песнь — «Интернационал».

Руже де Лилю, творцу «Марсельезы», певцу буржуазной революции, удалось выразить в нескольких певучих строках характер, думы, веру и судьбу восходящей общественной силы. Такое же на новом витке спирали истории удалось участнику бар-

рикадных боев Парижской коммуны, свидетелю ослепительного «мига будущего», пролетарскому поэту Эжену Потье — автору «Интернационала». «Он оставил по себе поистине нерукотворный памятник» (В. И. Ленин). «Звездный час» творца «Интернационала» совпал с кровавым финалом Парижской коммуны. Революция погибла — да здравствует Революция! Из пламени и пепла пролетарского Парижа, словно сказочная птица Феникс, вырвалась к людям, в вечность ликующая песнь борьбы и неминуемой грядущей победы.

Через треть века после своего рождения «Интернационал», отлитый в звонкую бронзу мелодии рабочим музыкантом П. Дегейтером, взметнулся над баррикадами первой русской революции. Мир голодных и рабов шел в бой за светлое и справедливое будущее. И в этот бой их вела песня, вобравшая в себя всю неистребимую мощь народной мечты о торжестве Правды, всю правду и красоту грядущего обновления жизни.

«С Интернационалом воспрянет род людской!»

К свету великой истины неудержимо влекло и самых честных, совестливых, самых гуманных буржуазных интеллигентов, мучительно искавших выхода из социальных и нравственных тупиков оплывшего жиром, циничного и жестокого буржуазного строя. Перед их мысленным взором, пробуждая то надежду, то гейневскую тревогу за судьбы культуры, то яростное нетерпение сердца, вставала сплоченная, верящая в победу, могучая армия труда.

Наиболее дальновидные из них вплотную подходили (как ранее Гейне и Веерт, как в 1871 году Потье) к идеям социализма, к идее обновления, очеловечивания жизни — идее, которая буквально витала в насыщенном грозой воздухе эпохи.

Ни с чем не сопоставима работа на будущее, которую проделали титаны реализма. Бальзак и Стендаль, Диккенс и Теккерей, Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов бессмертными творениями своими выносили приговор искусства бесчеловечному строю наживы, уродующему, уничтожающему человека (о русском искусстве речь пойдет в следующей главе). Они щедро пополнили и возвысили гуманистический потенциал человечества, оставив потомкам нетленные образцы высоких дум, огромных чувств, светлых мечтаний, облагораживающих, очищающих человеческую душу нравственных исканий. Пройдя сквозь толщу лет, яркий свет «звезд» критического реализма освещает пути к добру и человечности, зовет людей нового, социалистического мира к бескорыстному общественному служению людям.

В 70—90-е годы XIX века, после поражения Парижской коммуны, в некоторых странах Европы в условиях бурного промышленно-технического развития капитализма, уже подступавшего к своей высшей, империалистической фазе, обнаруживается заметное ослабление «социальной мускулатуры» критического реализма. Нет, в конфликте собственников и неимущих он оставался всегда на стороне последних. Но теперь разоблачение, критика буржуазных устоев все больше ограничивалась критикой моральной. Многим честным, демократически настроенным художникам-реалистам грядущее казалось «иль пусто, иль темно...». Человек мельчает и вырождается, охваченный прагматической жаждой наживы; все благородное, высокое и прекрасное гибнет; нет никакого просвета, и, наверное, так будет всегда...

Позади был Бальзак — «один из величайших учителей мира» (М. Горький). Бальзак, о котором Ф. Энгельс с восторгом говорил: «Какая революционная диалектика в его поэтическом правосудии!» Теперь же «поэтическое правосудие» все больше превращалось либо в эмпирическое бытописательство, тягучебезрадостную прозу натурализма, которому в известной мере отдал дань и великий Золя, либо в отчаяние перед торжествующей мерзостью буржуазного строя. И Флобер, и Мопассан, и Доде — все они и многие другие были так или иначе отравлены этим отчаянием, не видели выхода, ибо исповедовали горькую веру в незыблемость, неизменяемость грязного, отвратительного, но вечного мира собственничества.

На небосклоне XIX века гордо высится исполинская фигура замечательного гуманиста, романтика, писателя Виктора Гюго. В прямом смысле слова «ровесник века», Гюго на протяжении многих десятилетий набатом звенел над бурлящей Францией, над Европой, и не было в мире события, на которое не отозвалось бы болью, гневом или радостью сердце поэта. По свидетельству Н. К. Крупской, великому Ленину слышалось «веяние революции» в громовых раскатах политической лирики «Возмездия» Гюго (1848 год).

Герои романов Гюго становились соратниками поколений борцов за народное счастье. Стоит лишь назвать один из самых притягательных образов Революции во всей мировой литературе — образ парижского мальчугана по имени Гаврош (из романа «Отверженные»). Уже одно это делает Гюго нашим надежным союзником. С нами и его «Труженики моря» и «Девяносто третий год». У Гюго учимся мы ненависти к людской подлости, своекорыстию, фанатизму. Громовый голос мастера зовет нас к солидарности в битве со зловещими силами уродливого мира.

Своим собственным путем шел к великой Мечте еще один француз — основоположник научной фантастики романист Жюль Верн. Его можно и должно назвать певцом одной из самых великих страстей человека — его неутолимой жажды познания.

Век шествовал «путем своим железным» (Е. Боратынский). Не каждому дано было увидеть поэзию этого пути, поэзию творчества великих технических новшеств — пара, электричества, машины. Жюль Верн увидел, постиг и развил ее дальше в замечательных творениях. Ему удалось, казалось бы, невозможное: соединить «коня и трепетную лань» — науку, технику и гуманистическую мечту о будущем, достойном Человека.

Сила его фантазии, размах его научных мечтаний огромны, они не могут не увлечь каждого вступающего в диковинный, экзотический мир природы, преобразуемой могучим человеческим разумом.

Жюль Верн, конечно, немножко утопист. Он весьма щедро использует (насыщая своим содержанием) широко известные утопические сюжеты. Скажем, Таинственный остров — разве он не сродни хорошо нам знакомым «рахманским» островам счастья? Все здесь щедро предуготовано природой: и обильная живность, и дивный климат, и вода, и ветер...

Но, пожалуй, на этом сходство и кончается. На «рахманских» островах всего вдоволь — только бери и наслаждайся: «молоч-

ные реки и кисельные берега»... На острове Жюля Верна путь к счастью лежит через упорный труд и крепкую волю человека, точнее — ассоциации свободных тружеников, вооруженных научными знаниями. Немного в мировой литературе найдется произведений, в которых был бы так опоэтизирован свободный труд, пребывающий в прочном содружестве с наукой!

И вот уже на всю жизнь запоминаем мы, как Сайресу Смиту удалось добыть огонь с помощью стеклышек от наручных часов и выплавить металл, что называется, голыми руками, но руками, которыми руководит совокупная сила человеческого разума, воплощенная в знании.

В знании — и в свободе Личности. Таков идеал великого фантаста. Он хорошо знал: знания и техника в руках враждебных миру и человеку сил могут стать проклятьем для людей, грозной опасностью для всего человечества.

Закономерно, что именно этот писатель стал автором одного из самых первых и самых сильных романов-предупреждений. «Пятьсот миллионов бегумы» — это страстный призыв к миру, это художническое предвосхищение фашизма со всеми его ужасами и бесчеловечностью. Мрачный Штальштадт (стальной город), угрюмый злодей Шварц — как во всем этом проступают зловещие контуры гитлеровского «тысячелетнего рейха»!

Идут годы и десятилетия, сменяются поколения, и для каждого из них наступает сладостный миг знакомства с миром, созданным фантазией и добрым сердцем бессмертного Жюля Верна.

Одним из тех, кто услышал в грозном рокоте «потопа всемирного» (В. Гюго) торжествующую песнь созидания, голос новых жизнетворящих социальных сил, был великий американский поэт-демократ Уолт Уитмен.

Читая Уитмена, вслушиваясь в волшебные шорохи его «Листьев травы», невольно приходишь к неожиданному сравнению из области, весьма далекой от литературы. Вспоминается рабочий-кожевник Иосиф Дицген — философ-самоучка, самостоятельно открывший материалистическую диалектику. Подобно ему Уитмен, не будучи социалистом по формальной партийной принадлежности, всем пафосом и содержанием своего творчества шел к социализму, утверждал его идеалы.

Он говорил языком социализма естественно и свободно, без какой-либо натужности или аффектации (каковая была свойственна поэтам типа Фрейлиграта). Он пел Человека, Труженика, Борца — и само собой выходило, что он пел Революцию.

Крепкими босыми ногами прошагал Уитмен по жестоким дорогам жизни, дрался за идеалы демократии и свободы не только стихом, но и винчестером — в схватках с расистами Юга. Невзгоды, болезни, скудный быт, угрюмое недоверие близких к его поэтическому труду... Было от чего ожесточиться, стать мизантропом, отвернуться от горестей людских. Но вместо этого в его лице явился миру, многим поколениям людей мудрый и веселый жизнелюбец, преданный рыцарь Мечты о всечеловеческом братстве трудящихся.

Уитмен верил, что «литература спасет мир». «Заветнейшая мечта моя, — писал он, — заключается в том, чтобы поэмы и поэты стали интернациональны и объединяли все страны, какие

только есть на земле, теснее и крепче, чем любые договоры и дипломатия».

Преувеличение несомненное, но разве не таится в нем «момент истины», подступ к идее служения литературы миллионам и миллионам людей? «Я буду счастлив, — мечтал поэт, — что меня услышат, что со мной войдут в эмоциональный контакт великие народы России».

Об Уитмене, чья поэтическая речь, окрыленная надеждой, раскаленная гневом, обрела «подлинность молнии», можно сказать его же собственными словами, посвященными Р. Бернсу: «Без таких, как он... не было бы обещания грандиозного будущего».

«Уолт Уитмен... — писал М. Горький, — Верхарн и Уэллс, А. Франс и Метерлинк — все они, начав с индивидуализма и квиетизма, дружно приходят к социализму, к проповеди активности, все громко зовут человека к слиянию с человечеством».

Мы ни на минуту не должны забывать о том, что обратившиеся к социализму писатели, поборники активного гуманизма — гуманизма деяния и творчества, — работали в социальной и нравственной атмосфере, мало подходящей для оптимизма. Буржуазные пророки предрекали «закат культуры», призывали отвернуться от разума, поэтизировали распад, ужас, смерть... Воздух эпохи был буквально отравлен мистицизмом, страхом перед революцией, перед будущим. На этом мрачном фоне «просвещенного невежества» тем ярче сверкали высокие звезды истинной поэзии, поэзии борьбы и надежды.

Однако время властно призывало передовых художников не только утверждать права светлой мечты, не только звать людей к братству. Все более настоятельными становились задачи выдвижения позитивных социальных альтернатив, создания «литературных моделей» социалистического будущего.

Одним из гигантов европейской культуры на рубеже веков был французский прозаик Анатоль Франс. Он вынес беспощадный приговор двум самым ходячим, самым живучим — по сей день — легендам буржуазного сознания: о «миролюбии» капитализма и его «демократизме». На долгие годы Франс отдался «прекрасной работе разрушения» (М. Горький) — разоблачения буржуазного мира, работе прекрасной, ибо он разрушал безобразное во имя утверждения истины и красоты.

Светом мечты пронизаны все, казалось бы, самые безнадежно-пессимистические сатиры и фантасмагории Франса. Она не давала ему извериться, впасть в отчаяние среди нуворишей и убийц. Он выдержал, потому что был «всесторонне и глубоко связан с духом своего народа» (М. Горький).

Разрушая — утверждать; веря в будущее — созидать лучшее в человеке. Таков Франс. «Медленно, но постоянно человечество осуществляет мечты мудрецов» — таким было его кредо.

В ряду мировых шедевров сатиры Рабле, Свифта, Салтыкова-Щедрина по праву стоят «Остров пингвинов» и «Боги жаждут» Франса. Грядущее долгое время связывалось в сознании писателя с утопией возрождения гуманизма Древней Эллады. «Я дожидаюсь того пока еще далекого дня, — писал Франс, — когда великий Дионис в сопровождении фавнов и вакханок придет, чтобы вновь научить смертных радости и красоте и вернуть им золотой век. Ликующий, я пойду за его колесницей».

«Золотой век...» Но какие «кони», какие исторические силы

примчат из прошлого лучезарную колесницу бога Радости? Интеллигент до мозга костей, Франс долго не мог обратить взор к революции: пугала зловещая перспектива испепеления, гибели культуры и искусства в беспощадном пламени бунта. Знакомая «роковая черта»...

Через сомнения и отчаяние, через эпикурейскую отрешенность, монтеневский скепсис движется Франс к «новым силам» — социалистам. Гроздья гнева сатирика несли в себе добрые семена надежды. Эти семена взошли одной из последних крупнейших литературных утопий гуманизма.

Знаменательный факт: первые главы романа-утопии «На белом камне» печатаются в первом номере газеты «Юманите».

А. Франс не скрывал вторичности сюжета своего произведения. Главный герой его, Инпомий Дюфрен, чудесным образом просыпается в 2270 году и узнает, что в большинстве стран Европы утвердился социалистический строй.

Как же выглядит этот неизбежный новый мир? Франса интересуют преимущественно судьбы личности. И, к радости, все вокруг свидетельствует о раскрепощении человека, об атмосфере взаимного людского уважения, доверия, сотрудничества, о культуре красоты. В фундаменте этой жизни — всеобщий труд и полная отмена частной собственности. Идея грубой уравнительности «снимается», отвергается правилом: «К чему доискиваться, равны ли люди между собой? Надо следить за тем, чтобы каждый давал обществу все, что может дать, и получал все, в чем нуждается» (А. Франс).

Весьма характерное: «надо следить»! Франс скептически относится к перспективе изменения эгоистической природы человека и потому не мыслит будущего без определенной регламентации, контроля, жестких обязанностей личности перед обществом и т. п. Горечь сквозит в словах: «нет никаких оснований надеяться на победу справедливости», на то, что «люди сделаются лучше».

Противоречие? Да. Франсу, как и многим его предшественникам, социализм представляется обществом технизированным, чересчур рациональным. «Ребяческим снам» поэзии в нем нет места, искусство подчинено лишь целям облагораживания среды человеческого обитания, целям воспитания. Прекрасно, но душе холодно...

И все же Франс приемлет социализм: и потому, что он все равно наступит (здесь явно сквозит оттенок фатализма!), и потому, во-вторых, что он обеспечивает подавляющему большинству людей достойное существование в условиях достатка, солидарности и упорядоченности.

После поражения первой русской революции А. Франс надолго погружается в пучину безверия. Он усомнился в возможности предвидения будущего. Ему начинает казаться, что история совершает жестокие, не постижимые разумом круги...

Из этой мучительной духовной депрессии А. Франса вывела Великая Октябрьская революция, которую он сразу принял своим пылким сердцем. Более того: на склоне дней писатель гордо и громко назвал себя коммунистом. Он одним из первых гневно обрушился на врагов Республики Советов.

Он постиг великую истину: Россия — это страна, где сбывается и невозможное!»

...Литература шла навстречу социализму. Социализм властно овладевал умами и сердцами самых дальновидных, самых гуманных художников.

Их было не так много. Еще только расправлял могучие крылья «буревестник революции», великий пролетарский писатель и основоположник социалистического реализма, русский самородок Максим Горький. Но первые зерна уже упали на благодатную социальную почву и дали живые зеленые побеги! И Уитмен, и Верхарн, и Моррис, а чуть позже Джек Лондон заложили первые камни в фундамент новой культуры будущего.

Это были драгоценные камни! Не риторика, не «тенденция» в обнаженном виде, не иллюстрация к идеологическим тезисам, но самородная, истинно художественная, согретая великой надеждой на великие перемены — вот какой была эта литература.

Она помогала расшатывать «оптимизм буржуазного мира», она вселяла «сомнения по поводу неизменности основ существующего» (Ф. Энгельс). Она перебрасывала мосты от общечеловеческой мечты к реальной борьбе.

ОТЕЧЕСТВО БУДУЩЕГО

...Передовая социальная наука, подлинно гуманистическая литература XIX века жили ожиданием «Великой Перемены» и, каждая по-своему, приближали ее.

Что же касается основоположников научного коммунизма, то еще в начале 60-х годов XIX века они надеялись на наступление «русского 1793 года» — всеобщей крестьянской революции против самодержавно-помещичьего строя. Карл Маркс изучает русский язык, культуру, историю России, восхищается Пушкиным, Гоголем, Салтыковым-Щедриным, высоко ценит труды Чернышевского и Добролюбова.

Письма Маркса в последние годы его жизни проникнуты радостной, светлой уверенностью, что грядущая русская революция должна будет явиться поворотным пунктом во всемирной истории, решающим шагом вперед, к торжеству освобожденного труда. Он писал: «В России неизбежна и близка грандиознейшая социальная революция». Гениальный прогноз, не правда ли?

В высшей степени сложно (и заманчиво!) проследить в небольшой главе, что называется, на одном дыхании тернистый, скорбный и славный путь духовных исканий народа-борца, народа-мечтателя, народа-страдальца в XIX веке — от громких побед и волнующих надежд 1812 года до баррикад Красной Пресни и поверженного Зимнего. Дать — пусть сжатым, спрессованным конспектом — целостное представление о странствиях жаркой, негасимой русской Мечты о воле, равенстве и счастье по бескрайним просторам России — вплоть до исторической трибуны в Смольном, с которой 25 октября 1917 года были произнесены открывшие новую эру слова: «Революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!»

Борьба, искания, жертвы и мужество трех поколений русских революционеров; муки совести, высшие духовные озарения нашей литературы, ее поистине космические мечтания о расцвете Человека в братском единении народов и рас под общим небо-

сводом Истины, Добра и Красоты; нескончаемое, упорное сопротивление народных масс неправедному строю порабощения и жестокости — такова неисчислимая, святая цена, которую заплатила Россия, выстрадавшая марксизм, за торжество своей всечеловеческой Мечты.

...Самая большая, пожалуй, сложность — рассказать о муках рождения и возмужания революционной Мечты в недрах великой русской литературы. «Грядущего волнуемое море», разлитое в ней, необъятно, бездонно — и бесконечно близко каждому советскому человеку. Ведь все мы начиная со школьной скамьи «проходили» эту литературу, трепеща сердцем и обливаясь слезами над поэтическим вымыслом Пушкина и Лермонтова, Некрасова и Тютчева, над великими романами Гоголя и Тургенева, Толстого и Достоевского. Кроме того, с годами нам становится все яснее, что такую литературу нельзя «пройти» — ее надобно прожить год за годом, столько, сколько человеку отпущено на земле...

...И снова автору неотвратимо пришлось прибегнуть к жесткому самоограничению, обходя молчанием все то, где, на его взгляд, крупицы Мечты, Идеала выражены в отвлеченной или не вполне оригинальной форме. В таком отборе, увы, неизбежен элемент субъективности, весьма уязвимый для критики. Однако постараемся хотя бы пунктирно проследить линию сближения мечты народной и мечты интеллигентски-литературной, вплоть до слияния их в активном, бесконечно трудном, противоречивом и прекрасном революционном процессе осуществления вековых чаяний трудящихся масс и поколений «народных заступников».

Социализм развивался от утопии к науке. Подлинно народная литература шла от сказки, мифа, притчи — к утверждению бытия как деяния, Мечты как путеводительного маяка творчества и преображения жизни. Шла к социалистическому реализму, выстраданному в муках, сомнениях, борениях, заблуждениях великих и взлетах — головокружительных. Они шли друг к другу навстречу: литература и революция, литература и ленинизм.

БОГАТЫРИ

...По колее, проложенной в духовных просторах России народным сострадальцем Александром Радищевым, двинулась вослед ему — и дальше его — целая фаланга тираноборцев-декабристов. Поэты, мыслители, мечтатели и деятели, они первыми швырнули железную перчатку самодержавию. Они посеяли зерна героического романтизма и высокой гражданственности в плодородный пласт формирующейся русской реалистической литературы. Они делегировали в бессмертие величайшую гордость нашу — Александра Сергеевича Пушкина.

С полей Отечественной войны 1812 года, из пламени и славы ее декабристы вынесли жаркую, неотступную, всепоглощающую Мечту: даровать многострадальному народу русскому, мужику, Отечество заслонившему, — вольность, землю, просвещение, человеческое достоинство.

Они в полной мере были детьми своей эпохи. Для них идеал свободы и братства логически вытекал из «природы», естества

человека, был той нормой, которую следовало восстановить в мире. Восстановить даже восстанием, силой, ниспровержением сущей власти, ежели правящая верхушка во главе с царем проявит полную глухоту к велениям Разума.

Непокорный дух звал к освобождению порабощенного, забитого народа. Но он же предписывал даровать вольность «сверху», волею просвещенных и добрых господ; не дай бог ввести мужика в греховное искушение бунта!

От имени народа, ко благу народа, но... без народа — такова трагическая формула декабризма как общественно-политического и литературного движения.

В подавляющем большинстве своем блестяще образованные, родовитые, обеспеченные всеми благами житейскими, они, однако, ни в коей мере не чуждались народа, его героической истории. Это злая и несправедливая легенда, будто декабризм есть сплошное западничество, попытка «офранцузить» Россию, презреть и попрать ее национальную самобытность. Не заемным, европейским, а родным, от белоствольных российских берез вспыхнувшим светом сияла взошедшая на мрачном самодержавном небосклоне яркая декабристская звезда.

Не «чуждость», а истинную любовь к своей земле, к измученному и обманутому народу доказали они — доказали жизнями самых лучших, повешенных на кронверке Петропавловки; кандальным звоном и непосильными муками других «во глубине сибирских руд...».

Поистине удивительное, даже в масштабах мировой истории, явление: столько людей (и каких людей!) сразу, словно подхваченные вихрем, «выломились» из своего класса и перешли на сторону народа, на сторону будущего. Перешли с огромным риском для жизни и благополучия своего. Да что там риск — они сознавали неизбежность кары, хулы, погибели... И все же вышли на Сенатскую площадь, когда пробил их звездный час — пробил на всю Россию, на всю историю, вплоть до отдаленнейшего грядущего!

...С самого детства и до смертного часа несет каждый из нас в своем сердце, в благодарной памяти пять скорбных силуэтов в траурном кольце. Пять гордых фамилий западают в юные души, словно тяжелые капли крови: Пестель... Рылеев... Каховский... Муравьев-Апостол... Бестужев-Рюмин... О них и об их собратьях-тираноборцах скажет позднее А. И. Герцен: «История нашей литературы — это или мартиролог, или реестр каторги».

Одни повешены... Другие убиты на Кавказе, сведены в могилу чахоткой и непосильными каторжными работами...

Многие из декабристов выжили, дождались амнистии 1856 года, сохранили честь, человеческое достоинство, любовь к народу и Отечеству. И все же, все же... Год царевой кары, год 1826-й, надломил духовный «позвоночник» декабризма; остается лишь гадать, сколько — противу содеянного — они сумели бы совершить для России. Но одно непреложно: содеяно воистину великое и вечное!

Вся жизнь и творчество «богатырей, кованных из чистой стали» (А. И. Герцен), — яркое свидетельство единства слова и поступка, мечты и бескорыстного деяния. Жертвуя всем, включая самое дорогое — жизнь, во имя будущего, ради народа, они оставили потомкам немало волнующих свидетельств своего пред-

восхищения, своего прозрения желанного грядущего жизнеустройства.

Вот дерзкий социальный «проект о будущем» храбрейшего и проницательного **П. И. Пестеля.** Символично само название проекта: «Русская Правда», отражающая в форме предполагаемых конституционных установлений вековечную народную мечту о жизни по правде, по совести, без обмана и жестокости, в равноправии гражданском, предполагающем уничтожение всех сословий.

На самую высокую и самую трагическую вершину — вершину декабризма — судьба, личная воля и талант вознесли **Кондратия Рылеева,** человека поистине аввакумовского темперамента, неотступной преданности идее. Его идея слепящая и острая, как кинжал: низвержение самодержавия, свобода, законность, уничтожение крепостного права, беспощадное искоренение тирании и деспотизма во всех формах. Он шел на верную смерть с гордо поднятой головой. «Но где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода?»

Он более всего жаждал, чтобы идущие вослед первым, обреченным на гибель, готовились «для будущей борьбы за угнетенную свободу человека». Исповедуя единую религию — гражданскую битву, он все оставляет «на потом». О чем можно мечтать, не преступно ли мечтать, когда народ в тенетах? Свобода — вот единственная сжигавшая его мечта...

Любовь никак нейдет на ум:
Увы! моя отчизна страждет,
Душа в волненьи тяжких дум
Теперь одной свободы жаждет.

...Милый, нескладный, застенчивый мечтатель, лицейский друг Александра Пушкина — Кюхля; мужественный и дерзкий повстанец, пытавшийся застрелить 14 декабря на Сенатской площади одного из Романовых — великого князя Михаила; несломленный, гордый питомец орлиной стаи декабристов — **Вильгельм Кюхельбекер** оставил потомству десятки стихов, проникнутых ощущением лучших, светлых дней, и даже утопический «проект будущего» в своих прозаических «Европейских письмах».

Рассказ в этом произведении ведется от имени некоего американца из XXVI века. (Утописты и фантасты тех неторопливых «каретных» времен вообще смело прибавляли нули к исходным историческим датам. У Вл. Одоевского, например, один из фантастических романов называется «4338-й год».)

Американец будущего рассуждает о Европе, о причинах ее запустения и одновременно проговаривается о том, как все устроилось у людей через 700 лет. «Мы (то есть люди будущего), живя в счастливое время, когда политика и нравственность одно и то же, когда правительства и народы общими силами стремятся к одной цели, мы перестанем жалеть, как некогда жалели некоторые в Европе о золотом греческом периоде, — перестанем жалеть о веках семнадцатом и осьмнадцатом».

Кюхельбекер и в поэзии мыслью всегда устремлен в будущее. Тюремные затворы, болезни, нарастающая потеря зрения — ничто до конца дней не сломило веру поэта, что будут «на Руси святой Свобода, счастье и покой!».

Ослепительной, негасимой звездочкой свободолюбивой Мечты сияет в поэзии декабризма ее жемчужина — «Ответ на послание А. С. Пушкина «В Сибирь», — принадлежащая перу Александра Одоевского.

Да, конечно, тайна высшего поэтического взлета А. Одоевского в жарком пламени пушкинского гениального послания. И все-таки в «Ответе...» есть одна строка, конгениальная волшебным пушкинским пророчествам: «Из искры возгорится пламя». Строкою этой поэт-декабрист вошел не только в историю родной литературы, но и в историю нашей партии — большевистской, ленинской РСДРП. Девизом самой первой ее газеты была бессмертная строка Александра Одоевского.

На ответ Пушкину и через него потомкам молодой поэт имел еще и высокое моральное право. Юный князь был истинным другом простого народа. Еще в самом начале своего пути он проклял цепи крепостного рабства («Молитва русского крестьянина»). После провала восстания — год в каземате Петропавловки, пять лет в кандалах на каторге; и вопреки всему: «В душе смеемся над царями»!

...Царь Николай I, да и то лишь после бесчисленных ходатайств родственников поэта, явил «монаршую милость» — укатал А. Одоевского на Кавказ, под пули горцев, в малярийные топи. Лихорадка уже через полтора года свела его в могилу...

...Но вечен род! Едва слетят
Потомков новых поколенья,
Иные звенья заменят
Из цепи выпавшие звенья...

Придут новые борцы. Дело свободы неуничтожимо. Таков завет декабристов; здесь — бессмертие их Мечты.

ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ

Революционный, героико-гражданский романтизм декабристов — лишь один (хотя, бесспорно, и важнейший) из духовных родников, от слияния которых начинается необъятная и бездонная стихия исканий Истины, Добра и Красоты, исканий смысла бытия и сокровенной тайны всечеловеческого счастья, составляющих внутреннюю пружину развития великой русской литературы XIX века.

Начало начал этой стихии — Пушкин. Он, «весь дитя добра и света», дал великой Мечте о прекрасном будущем русское имя — з в е з д а п л е н и т е л ь н о г о с ч а с т ь я.

Однако гении не приходят в этот мир внезапно, вдруг, словно «бог из машины» в древнегреческих трагедиях. Россия не просто ждала Пушкина; она готовила его приход и победой над Наполеоном, и взлетом национально-патриотического самосознания, и наращиванием духовно-культурного слоя тогдашней цивилизации (увы, для «верхних» тысяч), и упрямым сбережением исконно народных исторических и нравственных традиций.

Обратимся теперь еще к одному роднику российской Мечты, питавшему ее живой водой общечеловеческого гуманизма. Имя ему — прогрессивный романтизм, вобравший в себя и ренессанс-

ное преклонение пред вечною красой и гармонией Древней Эллады, и просветительский культ Разума, и байроновское неприятие социального зла, меркантильной бездуховной буржуазности.

Идеалы Просвещения, лозунги французской революции пронизывали духовную атмосферу России первой четверти XIX века. Рождающаяся вместе с веком новая литература, словно губка, жадно впитывала эти идеалы — и перерабатывала их на свой лад, на русский манер, сплавляя с многовековыми народными этико-культурными началами. Державин — Крылов — Жуковский: таковы семимильные шаги будущего великана к Пушкину, Гоголю, Толстому, Достоевскому. Стремительно перелистываются страницы тяжеловесно-высокопарного классицизма, умильно-галантного сентиментализма, полного вздохов и тайн элегического романтизма...

Но «не голое отрицание, не зряшное отрицание» достигнутого! Великое может быть сотворено, может произрасти только на богатой духовной ниве.

Современник вечности, равно принадлежащий всем временам сразу — и прошлому, и настоящему, и будущему, — **Александр Сергеевич Пушкин** есть «величайшая гордость наша и самое полное выражение духовных сил России» (М. Горький).

Имя Пушкина не нуждается в каких-либо эпитетах, более того, необъятностью своею лишь подчеркивает относительность, бессилие, бренность каждого из них в отдельности и даже всех вместе. «Бедна у мира слова мастерская», чтобы выразить невыразимое. Все — в нем, и все бесконечно; все — наше: духовный космос мечтаний, радостей и надежд, горестей и трагедий, гениальной прозорливости, «ума холодных наблюдений» и светлой, пронзающей густой туман обыденности, веры в грядущее. «Это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет» (Н. В. Гоголь).

Тысячи и тысячи строк, озаряющих души людские вот уже более полутораста лет яркими молниями гения: «Румяной зарею покрылся восток...», «На холмах Грузии...», «Я помню чудное мгновенье...» — океанская безбрежная ширь света Человечности! Однако достало бы для создания такого океана поэзии одного только великого таланта, образованности, духовной отзывчивости, даже помноженных на труд души необычайный?

Нет, тут одного гения, одного лишь священного дара — мало. Выше гения — народ. Сказано самим Александром Сергеевичем: «Неподкупный голос мой был эхо русского народа». Здесь — соль соли, сокровенная суть пушкинского бессмертия. Ему привелось стать эоловой арфой России, на волшебных струнах которой исполнила свои гимны, свои пророческие песни рука народа-исполина, поднявшегося к вершине национального самосознания, которое вызрело, выплавилось и закалилось в пламени Отечественной войны 1812 года, в дерзкой схватке с царизмом в декабре 1825 года. И на вершине этой маяком Красоты и Надежды вспыхнул всеми цветами жизни-радуги «магический кристалл» пушкинского творчества.

Пушкин — во всем, что окружает нас с колыбели и до самого смертного часа. И невозможно постижение человеком жизни, ее смысла и значения без постижения Пушкина.

...Прикоснемся к святая святых его поэзии — к пушкинской вольнолюбивой крылатой Мечте.

Сперва, в молодости своей, она — родная сестра батюшковской и дельвиговской игривой эллинско-эпикурейской мечтательности: «праздность вольная, подруга вдохновенья». Но даже не год от года — стремительно, день за днем мужает ее голос, полнится священной ненавистью к угнетателям и уверенностью в приходе времен, когда над Отечеством неугнетенного народа взойдет наконец «прекрасная заря», когда Россия вспрянет ото сна отвратительного самовластья.

...Бродит, бродит молодое хмельное вино непослушной, своенравной мечты в «мехах» мужающего гения, объемлющего все бури, страсти и надежды своего и минувших времен. Чутко, неравнодушно, неустанно вникая в добро и зло мира, Пушкин все отчетливее слышит глас народа, глухой, недоступный остальным голос Истории:

И внял я неба содроганье
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье...

Обретший после разгрома декабристов глубинное, выстраданное историческое чувство, он, как никто, внял и зову будущего.

Мечта его бесконечна, вольна, крылата; однако это не своевольная, не обманчивая, не усыпляющая, но именно возвышающая человека Мечта!

Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут,
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды...

На пятьсот лет вперед — ни много ни мало! — улетает дерзостная поэтическая мечта; пока она с народом и в народе, ей все по силам, все по плечу: раздвинем горы, пророем дерзостные своды! Потому что мы, народ, можем сотворить все!

Пушкин в то же время не позволяет мечте отрываться от матери-земли и отца-народа. Все впереди, но путь долог; сознавая это, поэт приземляет (ровно настолько, сколько требуется высшею мерой реализма) полет фантазии: «И заведет крещеный мир на каждой станции трактир». Вот он какой! Всегда и во всем «поэзия его чужда всего фантастического, мечтательного, ложного, призрачно-идеального» (В. Белинский).

Но вот совсем другое, грустное, пронзительное — и просветленное страданием:

...Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...

В начале XX века другой великий русский поэт — Александр Блок, сохраняя верность выстраданному пушкинскому оптимизму, скажет:

Узнаю тебя, жизнь, принимаю
И приветствую звоном щита!

...Известно, что в своих мечтах о будущем любимой России Пушкин отводил важное место родовитому дворянству, которое мыслилось им в качестве созидательной национальной силы. Только ли классовые, кастовые шоры надлежит видеть в этом несомненном заблуждении? Ведь и о заблуждениях гения самим Пушкиным сказано — на века вперед, и тогдашним, и будущим мещанам и эгоистам: «Врете, подлецы: он мал и мерзок — не так, как вы — иначе». Даже заблуждения гения открывают миру пути к истине грядущего — пути куда более верные, чем «логика» сиюминутности, ползучей верности фактам и фактикам.

14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь вышли друзья и единомышленники Пушкина. «Они дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется, много». Так полагал Александр Сергеевич. При этом, конечно, он имел в виду именно лучших: и умом, и культурой, и воспитанием, и благородством, и бескорыстием.

То была высокая поэтическая мечта о пути интеллигенции к народу, о постепенной и честной расплате с ним людей образованных, культурных, о воссоединении умов нации с «телом» ее. В ком еще тогда мог увидать надежду кто-либо, будь он хоть трижды гений? Одновременно была поставлена проблема — мучительная, душераздирающая. Сквозь весь век тащила на себе ее тяжкие вериги наша великая литература.

Пушкинское: «Мне жаль, что нет князей Пожарских» — исполнено тоски о новых рыцарях Вольности, о силах, способных повести Россию к вершинам благоденствия и славы. Тоска поэта, вера его, как мы увидим чуть позже, возродится в мечте другого русского гения, преданнейшего ученика Пушкина — Ф. М. Достоевского. Мечта эта и осуществится в новом веке — конечно, совсем в ином обличии, в иной системе идей. Осуществится не дворянской рукой (эта рука поднимется против народа плетью и виселицами Деникина и Колчака), но волею, умом, верой и жизнями лучших из лучших сынов и дочерей трудового народа России. Скажем ради справедливости: были в их числе и чистейшие из «князей Пожарских»; немногие, но были.

Вершина поэтического провидчества Пушкина — его нерукотворный «Памятник». Великой будет Русь, когда по ней пройдет слух (то есть всенародное признание) о творчестве народного поэта, о волшебных песнях его «заветной лиры». И время то будет благословенно, ибо не безгласным, а полноправным станет на Руси «всяк сущий в ней язык», и будет она чтить своих лучших сынов не за хвалы царям, но за пробуждение в

человеке чувств добрых, за призыв милости к падшим, за дерзостное мужество — восславить свободу в жестокий век.

В мечте Александра Сергеевича о собственном бессмертии в веках («нет, весь я не умру...») воплощен и пророческий взгляд на мир и людей будущего. Это будет прекрасный мир, поскольку в нем высшими ценностями станут свобода, человеколюбие, доброта. Высочайший взлет гуманизма дарован нам в «Памятнике», этом истинном завещании потомству!

...Идут годы, десятилетия, которые все больше приближают нас к Пушкину. Можно ли, мыслимо ли без него хоть день прожить? Его глазами мы видим природу и людей; его радостью радуемся; воздухом его чистой поэзии дышим. Всем нам никак нельзя без Пушкина, как ему самому невозможно было без России, будущее которой он, «заветов грядущего вестник», гениально предугадал. К нему не зарастет народная тропа!

В нем бездна пространства. Душа его была полна всемирной отзывчивости, высокогуманного интернационализма — и в этом тоже залог его непреходящей всемирности. В то же время вечно и непререкаемо его гордое: «Я числюсь по России».

Погиб Поэт... Но вещее перо не выпало из рук — оно было подхвачено другим светлым и любимым сыном России.

Михаил Лермонтов огненным метеором промчался по деготно-полуночному небу николаевской реакции. Промчался, угас, но навеки остался ослепительно чистым, манящим белым парусом возвышенной мечты и героического дерзания.

Поэтизируя героическое в те страшные годы, революционный романтик Лермонтов предвосхищал пробуждение своего народа — того народа, чьими сыновьями были удалой и гордый Степан Калашников, смелый поборник вольности Вадим, былинные герои Бородина.

«Богатыри, не вы...» Поэт без устали направлял исполинскую энергию своего праведного гнева на апатию, леность, ползучее пресмыкательство пред сильными мира, на барское пренебрежение общественным долгом и благом. До самой гибели своей бросал он в лицо подлецам «железный стих, облитый горечью и злостью».

Мое грядущее в тумане,
Былое полно мук и зла...
Зачем не позже и не ране
Меня природа создала?

«Мой ум немного совершит...» — горестно предчувствовал поэт. И все же вопреки всему Лермонтов — приверженец и последователь светлой пушкинской Мечты. Он — трагический оптимист, но вопреки всему и вся именно оптимист.

Вслед за Пушкиным поднимается он до глубочайшего историзма в осмыслении «цепи времен». Трагическое сознание невозможности что-либо изменить сейчас, сегодня, немедленно не ввергает поэта в бездну отчаяния, истерики, желчной мизантропии. Он — выше отчаянья, его отрицание сущего есть обещание иной жизни, неизбежно идущей на смену неразумной (и потому обреченной на гибель) действительности. Лермонтов —

«это демон движения, вечного обновления, вечного возрождения» (В. Белинский).

Незадолго до своей гибели Михаил Юрьевич создает бессмертный пророческий шедевр, одухотворенный поэтический кодекс патриотизма — свою просветленную «Родину».

«Люблю Отчизну я, но странною любовью...» Какое русское сердце не встрепенется, как только всплывут в душе эти пронзительные, воистину волшебные слова? Тайная надежда, мечта, провидчество поэта — именно в странности его любви к Родине, в том, что шевелит «отрадное мечтанье».

Не «слава, купленная кровью...», не «темной старины заветные преданья...». Нет! Такая, «немытая» Россия, страна косного официозного триединства «самодержавия, православия, народности», европейский жандарм — не его Отчизна! «Полный гордого доверия покой» — тоже не для истинного патриота; страшен и омерзителен «покой», осеняемый мрачными крылами самодержавного орла...

Но была, есть и будет вовеки веков другая Россия, настоящая Родина, настоящий ее хозяин — народ, возделывающий и преображающий свою землю-кормилицу. Как прекрасна она в неизреченности своего величия! Как просторна, огромна она! Лермонтовское эпическое: «Ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее, подобные морям»; увиденная гением «на холме средь желтой нивы» чета белеющих берез навсегда стали эмблемой России, символами подлинно народной эстетики нашей великой литературы — от Гоголя и Некрасова до Шолохова и Леонова. Народный идеал «полного гумна» войдет затем стержневой идейной и эмоциональной основой в концепции «крестьянского социализма» революционных демократов.

Странная любовь к Родине — это и разгадка гениального «Бородина», разгадка духовного воскресения «покорного», «послушного» голубым мундирам народа в битве с иноземным завоевателем. Разве не пророчески прозвучали более чем через сто лет, грозной осенью 1941 года, вещие и гордые слова: «Ребята! не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали!» Такой народ, когда он подымается на борьбу за свою землю, за великую идею, — непобедим! И только таким сынам Отечества, как Лермонтов, было дано предугадать будущее своего народа.

Вот почему всегда с нами, в каждом из нас — нынешних и грядущих — печальное, чистое и святое лермонтовское:

Из пламя и света
Рожденное слово.

...Устремленность в будущее; душу сжигающая мечта об очищении человечества от скверны эгоизма, равнодушия, прозябания; величие в прозрении судеб России и огромность заблуждений относительно путей ее морального возрождения и переустройства — таков **Николай Гоголь.**

В самом зените расцвета своего светоносного таланта он рухнул, раздавленный непосильным бременем начатого им поистине космического по размаху труда на благо России. Он мечтал открыть ей Истину добра и братства, но оставил в качестве

«проектов будущего» лишь беспочвенные ретроградные утопии. Он, давший народу и миру Манилова и маниловщину, убивший словом этим пустопорожнее краснобайство, лишенную жизненных сил и целей слезливую мечтательность! Такова ирония истории, таковы парадоксы гения...

А ведь за одного только Манилова честь и место Николаю Васильевичу в пантеоне великих и страстных поборников Мечты. Вспомним, что «маниловщиной» на протяжении едва ли не всей своей жизни клеймил и разоблачал болтунов либералов, «воздыхателей» о благе народном, постепеновцев — и волюнтаристских прожектеров тоже! — Владимир Ильич Ленин.

В чем же суть парадокса, где начала и концы «маниловской болезни» у самого ее диагноста и целителя?

Для этого надо обратиться к духовным истокам мечты писателя. Тут обнаруживаем мы не эпикурейскую традицию, но клубящуюся, веселую и страшную одновременно стихию фольклора, духовного творчества простого народа, его морали и культуры, его поверий и мечтаний. Отсюда — буйство красок, контрасты света и мрака в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Отсюда — исполинский в духовной мощи своей Тарас Бульба. Молодой Гоголь возвеличивает великодушие над корыстью, отвагу над трусостью, благородство над подлостью, гуманность — над эгоизмом. Его юношеские утопии «вольного козачества», поэтизация народного быта романтичны, трогательны, прекрасны, но обращены в прошлое, заметно подсвечены христианской религиозностью. Здесь, видимо, изначальная завязь будущих раздирающих мировоззренческих противоречий Гоголя...

Вразумить прошлым настоящее — так сам писатель (в письме к Н. Языкову) трактовал своего Тараса и, добавим, Вакулу, Левко, Данилу Бурульбаша и других умных, ловких, смелых и добрых героев.

Затем наступил этап «вразумления» настоящим — будущего. Вразумления «от противного», через изображение — остросатирическое, хлестко разоблачительное — «антимира» (как мы выразились бы сегодня) сокровенных мечтаний гения. «Его юмор смешит уже только простаков и детей, — писал В. Белинский, — люди, заглянувшие в глубь жизни, смотрят на его картины с грустным раздумьем, с тяжкою тоскою... Эта грязная действительность наводит их на созерцание идеальной действительности, и то, что есть, яснее представляет им то, что бы должно быть».

Противопоставление антимира пошлости миру мечты; неразрывность комического и трагического, отторжение мертвой, пустой застойности крепостничества и воинствующей буржуазной подлости — таков зрелый Гоголь в «Мертвых душах», величайшем произведении русской литературы. Свято веря в духовно-преобразующую силу Слова, произрастающего на благодатной народной нравственной почве, Гоголь не ставит точку ни на «промышленных» махинациях оборотистого Чичикова, ни на затянутом паутиной вырождения выморочном царстве коробочек и плюшкиных. Теперь уже он вразумляет настоящее не прошлым, а будущим. Вперед, вперед — и дальше! Неведома и неизведанна дорога России и ее народа. «Русь, куда ж несешься ты? дай

ответ. Не дает ответа». И в то же время: «Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу...»

Мучительно, упрямо и, увы, не там искал и видел Гоголь сопряжение, согласие народного русского характера и обновленных социальных условий. Искал в благостной патриархальной иллюзии единения крестьянства и «гуманных» (типа Костанжогло) помещиков, всеобщего благоденствия трудящихся и господ, осененного общностью экономических интересов и христианской любовью...

От гоголевской утопии прямая нить ведет к непротивленчеству Льва Толстого, к «братству во Христе» Федора Достоевского.

«...дай ответ. Не дает ответа»... Долог, долог еще предстоял путь неудержимой «тройке» русской народной Мечты!

КОЛОКОЛ ПРАВДЫ

Под негасимой, манящей «звездой пленительного счастья» росли, мужали, крепли литература великих вопросов и народ великих ответов. Они шли друг другу навстречу, неустанно отыскивая в необозримом море духовной культуры минувших веков и современности заветный «философский камень» правильной теории, всемогущей идеи, способной перевернуть, переустроить мир на светлых началах. Россия продолжает платить самую немыслимую цену за эти поиски: жизнями, судьбами лучших, умнейших детей своих... Цензурный террор; допросы, доносы, ссылки; каторга для петрашевцев, массовые «расстреляния» для бунтующих крестьян.

Тяжкий молот репрессий ковал прочный булат передовой революционно-демократической мысли и охваченной освободительным духом реалистической литературы. Первым из последекабристского поколения борцов за новую Россию, кто связывал воедино — во имя грядущего — «острый луч» теории и эмоциональную стихию слова, должен быть назван, конечно же, **Виссарион Белинский.**

«Неистовый Виссарион» был, по словам Ф. М. Достоевского, самым торопившимся человеком в России. Он словно бы предчувствовал, что немного ему отпущено судьбою для служения Отечеству и народу. Не знаешь, кого в нем больше: критика, философа, поэта или революционера. Все соединилось в нем: пламень мечты и лед ненависти, безмерная глубина таланта и энциклопедическая ширь познаний. Он стал в просвещении не просто «с веком наравне», но в прозрении своем увидел зарю социализма, сверкающую над его страной через сто лет.

Читайте Белинского! Не к очередному школьному уроку — читайте к очередному испытанию жизни, испытанию чувств, «во дни сомнений, во дни тягостных раздумий...».

В стереоскопическом зеркале его неповторимого критического дарования отразились и Пушкин, и Лермонтов, отразились во всей полноте великие и малые реки, с которых начиналась могучая российская литература. В нем, словно кадр за кадром, сменяя друг друга, прошли практически все испытываемые тогда русской мыслью на годность к борьбе философские, социоло-

гические и этические концепции, включая различные варианты утопического социализма.

Молодой Белинский начинает с высшей теоретической «отметки» эпохи — с философии Гегеля, с постижения «алгебры революции» — диалектики, с отрицания ложной мечтательности романтиков-одиночек. Он неотступно шел к идее объективной необходимости революции.

Важно подчеркнуть, что Виссарион Григорьевич, признавая решающую роль масс в истории («...как бы ни был велик человек, народ всегда выше его»), в то же время чуть ли не единственный из всей плеяды революционных демократов сумел избежать соблазна идеализации патриархальной русской общины, искушения «крестьянским социализмом». Уже по этому одному его взгляд на пути движения России к новому общественному устройству был ближе к марксизму. Г. В. Плеханов имел право назвать Белинского предшественником русского марксизма.

Не случайно именно Белинскому удалось глубже и дальше других заглянуть в прекрасное будущее своей Родины, высказать догадку, которую по праву можно назвать сбывшимся пророчеством:

«Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году, стоящею во главе образованного мира, дающею законы и науке, и искусству и принимающею благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества».

Современники говорили об «инстинкте истины», свойственном Белинскому. Зная его биографию, судьбу его трудов, точность его литературных прогнозов, мы, потомки, вправе сказать почти по-суворовски: инстинкт-то инстинкт, но, помилуй бог, нужны еще и ум, и умение! Такой провидческий инстинкт, свойственный подлинно великим людям, есть производное от разума и общественного «нетерпения сердца», от страстной нацеленности на истину. И еще — от страстной любви к Родине. «Я люблю русского человека и верю великой будущности России», — говорил Белинский.

Его гуманизм, его непримиримость к посредственности, бездарности, «дождевым пузырям литературным», его органический демократизм сделали необычайно много для русской литературы XIX века. Им указаны и доказаны единственно верные ее пути — народность и высочайшая художественность, горячее сочувствие униженным и оскорбленным.

Рядом с Белинским, затем продолжая его святое идейно-революционное дело, всю свою жизнь бил в колокол народной Правды и Мечты Александр Герцен — человек огромной культуры и духовной силы, дерзнувший открыто — вслед за декабристами — бросить вызов чудищу российского самодержавия.

Он любил Россию самозабвенно, до боли сердечной, любил лермонтовской «странною любовью» к страждущему народу, достойному иной жизни. Идея «полного гумна» — довольства, благоденствия, свободы — постепенно займет все пространство души Герцена, станет поэтической формулой «крестьянского социализма», им самим выношенного под страстным сердцем борца.

«Борьба — моя поэзия», — говорил Герцен. Он остался верен своей поэзии, как и России, до конца. Судьба обрекла его на страшное испытание: многие годы, вплоть до смерти, «жить

розно и в разлуке умереть» с любимой Отчизной... Обрекла, но не сломила. Таким был этот Человек.

До 1848 года, до краха буржуазно-демократических революций в странах Европы, Герцен был убежденным сторонником европейской, утопически-социалистической перспективы для родного народа. Да, утописты убегают «в мир мечтаний от действительного мира», но их величайшие пророчества, помноженные на революцию, должны привести Россию к светлому будущему.

...Он был буквально раздавлен кровавым финалом «весны народов». Кто же, кто и когда принесет миру свободу, равенство, справедливость?!

«Вера в Россию спасла меня на краю нравственной гибели», — скажет впоследствии Александр Иванович. Острым скальпелем своего диалектического разума он как бы мысленно рассек страну надвое: на Русь чиновников и крепостников, рудников и казематов — и Русь общинных крестьян, Русь великих традиций свободолюбия и свободомыслия. На эту «вторую Русь» отныне и до конца жизни направлены все его помыслы, все мечты, все огромные познания — иными словами, весь жар души революционера-изгнанника.

Герцен увидел социализм «в освобождении крестьян с землей, в общинном землевладении и в крестьянской идее «права на землю» (В. И. Ленин). Община в деревне притягивала его отсутствием права личного владения, равномерным распределением доходов между всеми ее членами, выборностью должностных лиц и подотчетностью их «миру».

Так вот: общинное устройство крестьянской страны (она, конечно, будет нуждаться в укреплении и «очищении» от искажений) следует дополнить политическим, экономическим и духовным освобождением народа — и Россия вступит тогда в новую жизнь на началах социализма.

«В сущности, это был вовсе не социализм, а прекраснодушная фраза, доброе мечтание». Так, сурово и справедливо, сказал впоследствии В. И. Ленин. Но революционную проповедь редактора «Колокола» — по-аввакумовски неистовую, по-рылеевски смелую — Владимир Ильич всегда высочайше ценил.

Не будем, однако, забывать, что Герцен не только философ, критик, журналист, но и крупнейший писатель, прямой предшественник некрасовско-щедринского направления в русской литературе, автор одной из удивительных книг во всей мировой культуре — «Былого и дум».

...Человек, ударивший в колокол гнева, в колокол совести, стоит у истока самой народной из всех интеллигентских социальных утопий. Сбылось его предощущение великой революционно-созидательной миссии русского народа. Сбылась, хотя и совсем иначе, чем он себе представлял, его мечта о коллективном землепользовании, о «земле и воле» для всех трудящихся.

Труды и заслуги его бессмертны. И главная из них, бесспорно, та, что «он поднял знамя революции» (В. И. Ленин).

...К. Маркс и Ф. Энгельс называли Добролюбова «социалистическим Лессингом», ставили как писателя рядом с Дидро. Он прожил намного меньше, нежели Белинский; та же чахотка

свела его в могилу. Ему посвятил одно из пронзительнейших своих стихотворений «собрат по музе, по судьбам» — великий Некрасов.

Николай Добролюбов, один из вождей революционно-демократической «партии народа» в литературе середины минувшего века, самоотверженно трудился ради соединения «крестьянского социализма» с крестьянской революцией.

«Я отчаянный социалист, — писал он в дневнике в январе 1857 года, — хоть сейчас готовый вступить в небогатое общество, с равными правами и общим имуществом».

Здесь крайне любопытно слово «небогатое». Социализм Добролюбов мыслил как общество без несправедливо богатых, как общество, где каждый трудится на общее благо в полную меру своих способностей. Оно не может сразу стать богатым: просто «переделом», перераспределением того, что награблено дворянами и царем, дела не решить. Понадобятся время и труды немалые; но это будут труды на себя и ближних, на общество, где исключается присвоение кем-либо и в какой угодно форме плодов народной работы.

Нельзя не поразиться зрелости суждений Добролюбова о принципах социализма. Небогатое — не цель, а исходная точка. Накапливая силы, общество равных и свободных людей пойдет вперед широкими, твердыми шагами и не унизится до уравниловки с ее обезличкой и казарменными «стимулами» к труду. Он писал удивительно ясно и точно: «Самое главное нужно, чтобы значение человека в обществе определялось его личными достоинствами и чтобы материальные блага приобретались каждым в строгой соразмеренности с количеством и достоинством его труда». В принципе распределения по труду мыслитель видит мощный импульс к всеобщему образованию («чтобы делать как можно лучше свое дело»), к подъему науки и культуры, путь к окончательному истреблению тунеядства.

Но сначала, прежде всего, нужнее всего — всколыхнуть мужицкую Русь, воззвать ее к топору, к восстанию против «внутренних турок» (В. И. Ленин). Только революция принесет на своих крыльях настоящий день, только она разгонит ярким светом победы удушливый мрак «темного царства». «Эрлиб» (буквально: «преданный чести» — так называл его Маркс) на все смотрел с точки зрения революции; в этом его завораживающая сила. Здесь разгадка, как удалось ему сделать всего лишь к двадцати пяти годам (студенческий возраст!) так много для Отечества.

Он каждую минуту прожил для народа, прожил ради скорейшего вызволения его из цепей рабства. Он меньше всего думал о вечности. Он торопил свое время, как Белинский; он весь, до последней капли, перетек в это свое время — и потому навсегда остался жить в будущем.

...Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...

Так сказал о нем — от имени своего и грядущих поколений — Н. А. Некрасов.

«БУДУЩЕЕ СВЕТЛО И ПРЕКРАСНО»

«Чистая лампада» беззаветного служения Отечеству, своему народу, его будущему, зажженная декабристами и Пушкиным, Белинским и Герценом, разгорелась могучим, со всех краев света приметным пламенем великой литературы. «Ваша поэзия, — писал И. С. Тургеневу Проспер Мериме, — ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою».

Прежде всего — правды! Здесь суть и смысл напряженных идейных, художественных, нравственных исканий и прозрений литературы 60—70-х годов XIX века. Идеал земной Правды, лелеемый трудящимися на протяжении веков, пронизывает творчество великих народных заступников, воодушевляет (пусть на время) даже тех, кто остался далек от народа, кто не сумел найти путей к социальным силам, чьим гневом, умом и волей будет преображена Россия.

Иван Никитин, Алексей Кольцов, Николай Огарев, Иван Суриков, Михаил Михайлов — вот преданные и стойкие рядовые в славной фаланге борцов за свободу народа;

Николай Некрасов, Тарас Шевченко — ее правофланговые;

Николай Чернышевский — ее духовный вождь, высшая точка взлета революционно-демократической мысли в России.

Известно, что юный Владимир Ульянов написал письмо Н. Г. Чернышевскому. Ответа не последовало; не сохранилось и письмо. Однако не подлежит сомнению, что послание это было проникнуто горячей симпатией к великому революционеру-демократу, желанием из первых рук получить столь необходимые в начале пути советы старшего товарища, служившего одновременно и эталоном мужества в борьбе с самодержавием.

«Он меня всего глубоко перепахал, — писал В. И. Ленин о романе «Что делать?». — Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь».

Роман-утопия, роман-подвиг, роман-воззвание, роман-правда: таковы грани удивительного творения Чернышевского.

Знаменитый «Четвертый сон» Веры Павловны мы все помним. «Будущее светло и прекрасно» сродни пушкинской «звезде пленительного счастья» и в своей возвышенной поэтичности, и в поэтической проницательности.

Свободный труд, направленный на служение людям, научная деятельность, революционная работа, благородная этика взаимного доверия, гуманной чуткости и самоотверженной дружбы — вот слагаемые борьбы за воплощение Идеала. Думая о личных интересах (они не фанатики, не аскеты, никоим образом!), новые люди глубоко сознают их неразрывную связь с интересами других людей. Они подчиняют страсти не рассудку даже, а воле к идеалу; они выше частных страстей, ибо им открылось «упоение в бою», упоение добром и дружеством. Красивые, гармоничные, прекрасные люди!

Это люди дела, а не прекраснодушной романтической мечтательности. Они не мыслят своей жизни без труда и глубоко ненавидят тунеядцев и эксплуататоров. Вместе с тем их деяния и помыслы проникнуты мечтой о социализме: и она движет ими, наполняет повседневность борьбы и работы сокровенным смыслом и светом.

Новизна героев «Что делать?» не в том только, что они бла-

городны, открыты добру и состраданию. Главное — они социально активны, они сила, умножаемая единением.

Утопия Чернышевского, как никакая другая, приближена к действительности, вырастает из нее. Мечта автора в высшей степени активна — она стремится к перенесению социалистических начал из будущего в настоящее и из настоящего — в крупицах, зернах, зачатках — в будущее. Отсюда — знаменитое, вечное, немеркнущее: «Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его!»

Он вполне доверял потомкам — детям, внукам и правнукам «новых людей» и потому не унижал их мелочной регламентацией, дотошным расписанием деталей будущего быта. Важны верные принципы и борьба, а уж «технические подробности даются практикой, самим исполнением дела и местными условиями». Сказано вполне по-ленински!

Высшим пиком оптимистической мечты Чернышевского является мысль о том, что идеал социализма, его мораль, его культуру способны воспринять и выработать самые широкие массы трудящихся. Способны — но только в труде, борьбе, образовании. Не случайно, что «золотые сны» о будущем снятся в общем-то вполне обычной женщине, но подготовленной к ним и упорной учебой, и долгими размышлениями, и практическим опытом организации мастерских.

Подготовленной также и беседами с социалистами. Вся сила в народе; это было для революционера-демократа непреложно. Но народу остро нужны Рахметовы, люди, вооруженные передовым знанием, огромным умом и волей, окрыленные мечтой и жаждой деяния ради человечества. «Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало, — писал Н. Г. Чернышевский о революционерах, — но они в ней — теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, соль соли земли». Трудно найти во всей мировой литературе строки более яркие и точные о рыцарях борьбы за народное дело!

В то же время мечта Чернышевского летит дальше и выше: «На той высоте, на которой они стоят, должны стоять, могут стоять все люди». Все люди! Это был смелый взгляд в будущее, в тот мир, где гармония, благородство, разум станут нормой. Вот как надо верить в свой народ — и в социализм!

Духовным соратником и сподвижником Чернышевского в русской революционной демократии был «нерв великого народа», его поэтическая совесть — **Николай Некрасов.**

Какой истинно русский человек не любит его? Да и возможно ли это, если в нем все до капли, до строчки — наше неизбывное и незабвенное? Нет Руси без Некрасова, как не могло быть и его самого без русского врачующего простора, без русской тоски и боли, без кудрявых берез, без русских многострадальных и непокорных мужиков и женщин — без народа, которому «пределы не поставлены».

С некрасовскими жаркими стихами в сердце лучшие сыны и дочери России шли на битву против деспотизма и рабства, за правду народную, шли на каторгу, в тюрьмы, по-некрасовски свято веря:

Доля народа,
Счастье его,
Свет и свобода
Прежде всего!

Линия Некрасова в поэзии — это линия страстной гражданственности подлинно поэтического творчества. Вослед Пушкину Некрасов возвеличивает подвиг декабристов, гордо заявляет о верности революционной демократии духовному наследию, идеям декабризма. Поэт смело сближает эти идеи с народными социальными утопиями, а самих декабристов — с трудовым крестьянством, рисует широкими мазками земную утопию земного счастья, достигнутого трудом свободных людей.

В далеком сибирском Тарбагатае горсточка русских, сосланных «за раскол» (то есть за восстание против царя), всего за полвека совершает чудо преображения жизни. А разгадка этого чуда — в том, что им дали волю да землю, что «сами творят они суд», живут честно и трезво, в здоровье и счастье.

Воля и труд человека
Дивные дивы творят!

Как, в сущности, несложно даже бесплодную землю превратить в цветущий сад! Для этого только надо объединить людей в свободное сообщество на вольной земле. Несложно вроде бы, но адски трудный, долгий, сквозь вьюги и горе, сквозь битвы и смерть пролегает путь на Тарбагатай...

«Золото, золото сердце народное», — утверждал поэт. Из чистого золота любви к народу отлито было судьбою и временем его собственное сердце. В нем кипела священная ненависть к угнетателям и «доверенность великая к бескорыстному труду». Некрасов славит подвиг любви, совершенный женами декабристов. Он прославляет мужество, красоту, волю русских крестьянок — Дарьи и Орины, благословляет на гражданское служение идеалу одну из любимых своих героинь — Сашу, старшую сестру Веры Павловны из «Что делать?», предшественницу чеховской «Невесты». Русские женщины Некрасова — это духовная опора нации, цвет ее и надежда, ее будущее. Образ женщины, Жены, Матери перерастал в некрасовской поэзии в образ нежной и бессмертной матери-Родины.

У матери вырастают красивые, смелые, честные сыновья. Поэт-гражданин продолжает — средствами поэзии — работу Чернышевского по созданию ярких, притягательных образов «новых людей». Герои Некрасова не отвлеченные фигуры, не «рупоры идей», а реальные, во плоти и крови, защитники высших интересов своего народа. Лучшие стихи поэта — о Белинском, Добролюбове, Шевченко, Чернышевском. Готовность к самопожертвованию, благородство мыслей, бескорыстие, моральная чистота — все сокровища душевной красоты этих людей были отданы борьбе за народное дело. Ими красна жизнь. Ими обеспечивается движение к лучшему будущему.

Некрасов весь устремлен в будущее. Страдания, муки, сон разума народного лишь иногда, в самые горькие минуты, порождали в душе его сомнение и тревогу. Тогда рождались стихи пронзительно печальные, и казалось, будто все труды и жертвы напрасны... Однако вера в народ спасала всякий раз:

...Вынесет все, что господь ни пошлет!
Вынесет все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе, —

предсказывает поэт в «Железной дороге» путь народа. Пророческие слова!

ПРОРОКИ

...Символом, песней, пророчеством летела навстречу звездному часу — своему и всей истории — неукротимая птица-тройка русской социальной Мечты. Воскресение народа к добру, радости и справедливости — этим жила великая литература России XIX века. Этим негаснущим жарким пламенем зажглись и воссияли в веках, на удивление и во благо всему человечеству, таланты поистине всемирного, общеисторического масштаба.

Их, как и саму Россию, «аршином общим не измерить». Но сказано о них с предельной точностью и глубиной: «...Если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях». Это сказал Ленин.

Сказал прежде всего о величайшем реалисте и мечтателе **Льве Николаевиче Толстом.**

Толстой был идеолог, пропагандист, психолог, учитель, пророк. Но прежде всего он художник. Всему было просторно в космосе его литературного гения. Все в нем счастливо сочеталось, звучало мощно и величаво.

Он жил святою верой в «улучшение души» человеческой. Он оставил потомкам не ржавеющее с годами оружие нравственного и духовного возвышения, очищения, облагораживания личности. Встреча с Толстым, общение с его героями, с необъятным миром его — всегда событие в нашей жизни, всегда шаг к добру.

С юных лет он насквозь проникся просветительским идеалом неиспорченного, нормального, естественного Человека и никогда не изменял ему. Известно: юношей Лев Николаевич носил на груди медальон с изображением Жан Жака Руссо. Он искренне любил великого француза, всегда был немножко руссоистом.

Он пришел к непреложному, казалось бы, выводу: ключ к райским вратам общечеловеческого счастья — в единении, братстве и взаимной любви людей. По словам самого Толстого, Правда — в религии, но только «очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле».

Подобное мы не раз уже слышали. Но ведь сейчас говорит не кто-нибудь — Лев Толстой! Его вывод, его «приговор будущему» вырастают из боли, крови, мучений, исканий миллионов тружеников и тысяч искренних «жалельщиков рода человеческого». Вырастают из яростного неприятия вывернутого, порочного мира корысти и стяжания, угнетения, насилия и обмана.

Толстой велик, когда он совершает громадную работу «срывания всех и всяческих масок» (В. И. Ленин) с жестокого, бесчеловечного царства собственности, тунеядства, антинародной государственности, фальшивой и насквозь лживой религиоз-

ности. Подобно Мелье, писатель сокрушает паучье триединство церкви, самодержавия и ненасытной эксплуатации. Его «огнепальными» устами говорила, проклинала, разоблачала Кривду жизни многострадальная крестьянская Русь. Толстой — это Аввакум XIX века: та же безоглядная ненависть, та же безоговорочная, беспредельная, никакими условностями не скованная жажда истины, справедливости и добра.

Он огромен и в своих заблуждениях — в наивно-упрямом «опрощении», в барской филантропии, вегетарианстве, в анафемах искусству, тоскливом непротивленчестве... В заблуждениях гения, словно в зеркале, огромно и объемно отразились иллюзии, надежды, упования самого века и прежде всего забитого, темного, терпеливого, но все-таки непокорного русского крестьянства. «До этого графа подлинного мужика в литературе не было» (В. И. Ленин).

О чем же мечтает этот мужик? Да о том же, о чем и до Толстого веками мечтал: о честном добровольном труде на своей земле, без царя и захребетников — бар и купцов; о мире, согласии и любви.

«Учение Толстого утопично, — подчеркивал В. И. Ленин, — и, по своему содержанию, реакционно в самом точном и в самом глубоком значении этого слова. Но отсюда вовсе не следует ни того, что это учение не было социалистическим, ни того, что в нем не было критических элементов, способных доставлять ценный материал для просвещения передовых классов». Толстовская, как мы бы сейчас сказали, модель будущего построена на зыбком абстрактном песке всеобщей доброты, согласия, разумения, терпения, а не на злобе или борьбе. Но это в проповеди. Однако нет-нет, да и перекатывал через иллюзии и страхи великого пророка девятый вал гнева, священной ненависти к насилию. И тогда «простительна жестокость и безумие революционеров» (Дневник, 11 июня 1909 г.). И потому: «Как французы были призваны в 1790 году к тому, чтобы обновить мир, так к тому же призваны русские в 1905» (Дневник, 18 июня 1905 г.).

Обновить мир — вот высшее духовное озарение Толстого. Пути к такому обновлению виделись ему смутно, искаженно. Но зато каким ярким светом сияют цели! Сколь яростен великий Мастер в неукротимой битве с «князем тьмы»!

Обновить мир — это значило установить на земле царство труда и справедливости, обеспечить для всех людей полнокровную, здоровую, цветущую жизнь — жизнь по совести в полной гармонии с природой, в любви друг к другу и всеобщем согласии.

...В 1905 году он гордо назвал себя «адвокатом 100-миллионного земледельческого народа». Он честно и достойно нес свой нелегкий добровольный крест. Россия победоносцевых и пуришкевичей рычала на него, мстила, предавала анафеме, а от громовых речей «адвоката» дрожали троны! Казалось, именно через Ясную Поляну проходит главный нравственный меридиан мира.

На переломе веков, в 1900 году, он мечтал: «Самое близкое моему сердцу желание — иметь своим читателем большую публику, рабочего трудящегося человека и подвергнуть свои мысли его решающему суду». Сбылось, свершилось!

Нашлась — общими огромными усилиями его любимого народа — и заветная «зеленая палочка» братства и счастья, на которой «написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо». Подлинно великие пророчества сбываются всегда!

Вместе с Толстым каждый из нас говорит, размышляя о смысле жизни: «Нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем». Святые, сокровенные слова!

Лев Толстой вечно с нами, покуда жива Россия, пока живет, борется, страдает и верит человечество.

Еще труднее, чем о Толстом, еще сложнее размышлять о человеке и писателе, который весь — мечта и весь — боль и страдание, весь — вера и весь — бесконечное сомнение. Это — **Федор Михайлович Достоевский.**

Бескрайний небесный полог его мировоззрения и творчества самой судьбою соткан из рвущихся нитей огромных, неразрешимых противоречий.

Радикальный фурьерист, слушатель кружка Петрашевского в молодости — и заклятый враг социализма (во всех его тогдашних вариантах) после возвращения с каторги и ссылки до конца дней;

заступник и печальник униженных, оскорбленных, забитых — и один из корреспондентов мракобеса Победоносцева;

противник всяческих утопий — и один из самых пылких мечтателей о «золотом веке», о мировой гармонии и всечеловеческой любви...

«Больная совесть наша» — так было сказано о нем; и долго центр тяжести в этой формуле, смысловой акцент, ударение переносились на первое слово. Время по-своему и с непреложной точностью расставляет акценты, выносит приговоры. Сегодня мы по праву, с любовью и волнением, говорим: Достоевский прежде всего — совесть наша. Как и Толстой, он велик и в заблуждениях, и в сомнениях, и в страданиях своих. Время приближает его к нам и нас — к нему. Искания великого проповедника активно помогают «выпрямлению» человечества; в этом главное, в этом — бессмертие писателя.

Взгляд Достоевского в будущее — взыскующ, фантастичен, противоречив, громаден. Чудится ему беспечальное счастье для всех и самоотверженные, красивые духом люди в новом мире, но как немыслимо труден путь туда! Пролегает он сквозь колючие тернии мучений и страстей, сквозь холодное чистилище смирения и терпения...

Всю свою жизнь посвятил Федор Михайлович терзающим душу раздумьям об освобождении человека, о раскрепощении и просветлении его. Философски глубоко и страстно сознавал он непрочность, недостаточность идеала всеобщей сытости и благополучия (несправедливо, кстати, обвиняя в стремлении к этой «цели» всех социалистов без изъятия). Как никто до него, великий писатель возвысил в человеке свободу нравственного выбора и воли (в том числе злой воли), эстетически и этически раз-

венчал жесткую формулу французского материализма, согласно которой человек есть продукт среды и обстоятельств.

Если бы только среда... Тогда и хлопот было бы немного: меняй среду — и сразу к лучшему изменятся люди! На этих метафизических дрожжах, в сущности, взошел весь утопизм XIX века. По Достоевскому, такой социализм — это «социализм брюха». Он неминуемо вырождается в новые, еще более ужасные и бескрылые формы господства и насилия. Вместе с ним в мире воцарились бы однообразие, тоталитарная дисциплина и скука... «Наестся человек и не вспомнит, — рассуждает писатель, — напротив, тотчас скажет: «Ну вот, я наелся, а теперь что делать?» Вопрос остается вековечно открытым...»

Что же человеку надо для счастья, кроме хлеба насущного, кроме удовлетворения плотских страстей? Социализм, по Достоевскому, «вековечно» не способен ответить на это. Более того, он может лишь регламентировать жизнь человека, отнимая свободу как плату за хлеб и существование. Но тогда рушится, ломается, корежится сущность человека — и всего сообщества равных, неповторимых, духовно самоценных индивидов. Цель приносится в жертву средствам... И мерещатся писателю унылые телеги с хлебом вместо Сикстинской мадонны, и хлопотливый, занятый одними только «промышленными заботами» людской муравейник...

Социализм «политический» (как Достоевский называл сразу все разновидности европейского утопического социализма) не с того начинает и не там ставит точку. Начинать надо не с перестройки условий жизни, не с насыщения голодных, не с организации труда и быта, но с переделки духовной природы человека. Не революция, не наука, не политические реформы — только красота спасет мир!

Не горбушка хлеба, а озаренное и окрыленное верой Слово — вот, по Достоевскому, путь к преобразованию души человеческой на началах добра и милосердия, к излечению ее от раковой опухоли гордыни, эгоизма, стяжательства. Как, пожалуй, никто до него, Достоевский свято верил в созидательно-преобразующую силу искусства. Недаром с юных лет любил повторять: «Слово, слово — великое дело!»

Человек преображает мир. Значит, важно посеять в его душе, взлелеять и вырастить подлинно возвышенный, прекрасный Идеал добра, правды, справедливости, братства. Изменить мир, изменяя человека, — вот ход мыслей писателя, вот где корень его веры в обязательное наступление на земле «золотого века».

«Золотой век, — писал Достоевский, — мечта самая невероятная из всех, какие были, но за которую люди отдавали всю жизнь свою и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть».

Как же выглядит невероятный золотой век Достоевского? Мечты о нем вплетены непосредственно в живую художественную ткань бессмертных произведений писателя. Вплетены преимущественно в форме «вещих снов» — прием, как мы знаем, корнями своими уходящий в фольклор, в сочинения старых утопистов. Но это не просто прием — глубже: во сне человек преодолевает время и пространство, там ему подчас доступны откровения. Сон-пророчество вырастает в символический и жи-

вой образ будущего — образ, который ведет человека к духовному возрождению.

Таков сон Раскольникова в финале «Преступления и наказания». Над ним «сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь...». И это — на пороге каторги, при полном разрыве с мирскими помыслами и страстями! Взамен в душе героя, в самых ее тайных глубинах вызревают «райские яблоки» любви, сострадания, упоения красотой, ощущения полноты бытия. «Воскресение в новую жизнь» — это и есть путь (для каждого и в любые времена!) к счастью, к своему раю земному.

А как же быть с золотым веком для всех? Достоевский ищет основание, опору для такого всеобщего преображения жизни именно в нравственном преображении каждого, в «воскрешении человека в человеке». Рычаг, орудие этого воскрешения — искусство, прежде всего «жгучий глагол», художественное слово.

Но если плодоносящие зерна упадут на камень? Если человек уже погряз в пороках и заблуждениях? Великий писатель бесстрашно и беспощадно исследует самые темные закоулки человеческой души, дабы найти ответы: возможно ли? Не поздно ли искать света во мраке эгоизма, своеволия, жестокости?

Поиск света — это поиск идеала совести, любви и красоты. Он, пусть слабой, неприметной искоркой, но теплится даже в самых заблудших душах. Значит, надо разжечь его, вдохнуть в него яркую силу добра и единения. В одиночку человек вряд ли пробьется к истине — такое по плечу лишь очень волевым натурам. Значит, надо воодушевить народ: он всесилен!

Достоевский беззаветно любил свой народ, в нем и только в нем видел залог прекрасного будущего для всех людей. «Я лишь за народ стою прежде всего, в его душу, в его великие силы... — как в святыню верую», — взволнованно говорил писатель. Здесь, в узловом пункте, он был вместе со всею передовой литературой России — великой народной заступницей.

Однако вера Федора Михайловича в преобразующую миссию русского народа в мировой истории, как и мечта его о новой жизни, резко противоположны революционно-демократической концепции «русского социализма» Герцена и Чернышевского. Его философия будущего целиком исходит из особенностей русской национальной психологии и народной морали, главные из которых, по Достоевскому, — «всечеловеческая любовь», «всемирная отзывчивость», «всемирное боление за всех»; такой народ укажет погрязшему в прагматизме, в погоне за куском хлеба человечеству дорогу к счастью, к единству Истины, Добра и Красоты. «В народных началах, — писал он, — заключаются залоги того, что Россия может сказать слово живой жизни и в грядущем человечестве».

Умиление взаимной любовью братьев во Христе, покорностью народа — это слабое, реакционное, преходящее в Достоевском. «Богоизбранный», совестливый, христо- и царелюбивый мужичок русский сказал свое слово миру через каких-то сорок лет после фантастических призывов писателя к созданию «всенародной и вселенской Церкви, осуществленной на земле».

Но разве здесь суть Мечты великого провидца? При всей невероятности «снов» Достоевского о будущем разве не пробирает

каждого из нас озноб прикосновения к пророчеству? Ведь справедливо и суждение о духовной мощи народа, существеннейшей чертой характера которого является общечеловечность, то есть, говоря современным языком, глубинный интернационализм. Человеческое богатство, ставшее законом истинного, прекрасного мироустройства, способно спасти мир от бездуховности и вырождения.

Что же видит Достоевский в будущем? Как устроен мир, как живут люди? Подобно А. Франсу, он воодушевлен греческим идеалом гармонии — идеалом содружества счастливых и невинных людей, «детей солнца», как он называет их во «Сне смешного человека». Дети, постигшие некие высшие тайны бытия, главная из которых — любовь ко всему живому, способность понять другого, простить ему, помочь и поддержать его. В высшей степени характерно, что в царстве «детей солнца» полностью отсутствуют какие-либо приметы индустриальной цивилизации. И наука у них совсем иная, и трудятся они немного, легко и приятно. Здесь отразилась цельная, решительная неприязнь Достоевского к буржуазному прогрессу, к «мертвому дому», иссушающей душу погоне за наживой. «Не в промышленности, а в нравственном перерождении — сила», — утверждал писатель, в том числе и в утопиях «золотого века».

Однако «сны» Достоевского — вовсе не рядовой вариант патриархальной или эллинской идиллии. «Сон смешного человека» — клубок безверия, отчаяния, восторга, просветления — завершается в высшей степени знаменательно: герой, увидевший светлый сон на самом краю своей гибели, прозревает истину и отныне видит цель жизни в том, чтобы проповедовать эту истину. «Главное — люби других как себя, вот что главное, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться». Нести ее людям — в этом видит писатель призвание литературы, высшую задачу искусства, спасающего мир и человека.

Как завещание потомкам, исполненное страстной надежды и высокой гуманности, доносятся до новых поколений вещие, призывные и обязывающие слова Достоевского: «Люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей».

...Гений, чутко слышавший и клокотанье человеческого духа, и зов будущего, — он духовно сродни Бетховену.

«По силе изобразительности его талант равен, может быть, только Шекспиру» (М. Горький).

С нами его призыв: «Работайте для будущего!»

Высший нравственно-эстетический суд над российской косностью, пошлостью, отсталостью, над огромно-зловещей «Палатой № 6» царской реакции вершил на рубеже веков великий знаток человеческой души, светлый мечтатель Антон Чехов.

Он, как и Лев Толстой (с которым был дружен искренне и крепко), не считал себя социалистом. Он не обуздывал свой удивительный талант пристрастием к какой-либо из модных тогда социальных теорий. Просто он верил в народ, верил в свою Россию, верил в Человека, в его, как он любил говорить, «абсолютную свободу».

Верил — и потому горько смеялся над ним, порабощенным

тогдашними социальными и духовными обстоятельствами, подлостью, бескрылостью российской действительности... Смеялся, а сердце разрывалось от боли, жалости, негодования; а сердце жаждало обновления, неутомимо искало того, «что жизненно, что вечно».

Ромен Роллан называл подобное состояние души «интуитивным социализмом», Ленин — «социализмом чувства». У Чехова, необычайно чуткого к новизне, год от года нарастало радостное предощущение кануна иной, разумной и справедливой жизни для родного народа. Его пророчества столь же громадны, как и у Толстого и Достоевского. Но его пророчества, пожалуй, ближе к будущему, реалистичнее и светлее — при всем том, что они так же обобщены, лишены утопической псевдоконкретики.

«Я с детства уверовал в прогресс», — говорил Антон Павлович. Он впитал в себя лучшие традиции предшествующей русской культуры; он не сомневался, что человек может разогнуться, выпрямиться, расправить крылья. Но ему надо помочь — смехом и ободряющим вдохновенным Словом (Чехов вполне разделяет платформу прогрессивной литературы своего века: слово есть дело). Помочь — выколачиванием из людей рабьей психологии угодничества и самоунижения, унылого и тупого покорства. Иными словами, надо помочь человеку поднять глаза к звездам, стать Человеком!

«Готовится здоровая сильная буря, которая идет, уже близка и сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку», — утверждает он в «Трех сестрах». Взгляд Чехова в будущее обретает лирико-символическую насыщенность: «небо в алмазах», «цветущий сад», «здоровая буря».

Писатель буквально вплотную подступает к новому мировоззрению, в основании которого должны лежать труд, творчество, красота, благо народа. Жажда обновления становилась жаждой нового знания о судьбах Родины и человечества. По словам К. С. Станиславского, Чехов «одним из первых почувствовал неизбежность революции». Его по праву называли «Человеком будущего».

...В конце своей трагически короткой жизни Чехов пишет «Невесту» — последний рассказ, как-то по-особому светло озаренный верой в скорое преображение России. Героиня рассказа не просто осознает пошлость, серость окружающей жизни, но и начинает действительно новую жизнь. «Невеста» уходит в город, уходит навстречу борьбе, навстречу неизвестному, которое манит, увлекает ее. Пророчески звучат слова Нади в финале рассказа: «О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным! А такая жизнь рано или поздно настанет!»

«ПУСТЬ СИЛЬНЕЕ ГРЯНЕТ БУРЯ!»

Первым певцом и пророком расправляющего плечи российского пролетариата, поднявшим во мраке самодержавной реакции ослепительный, словно горящее сердце Данко, «призыв

гордый к свободе, к свету», стал буревестник Революции — **Алексей Максимович Горький.**

...На рубеже веков взмыл над Россией яростный и светлый, исполненный гнева и веры клич пророка победы:

«Пусть сильнее грянет буря!»

Поднявшийся снизу, с самого глубокого «дна» русской жизни, он не нуждался в «хождении в народ». Сызмальства началось для него «хождение по мукам» — своим собственным и своего народа, и сызмальства озаряли его путь алмазы мудрости, великодушия и героизма, жизнелюбия и достоинства народной души. Он не был «человеком со стороны»; он изнутри открыл — и принес в мир зла, в мир борьбы со злом — неистребимую, полную решимости одолеть и победить народную Мечту. В нем, в его романтически возвышенном и реалистически глубоком Слове, она сплавилась воедино с талантом и революционным Действием.

...Он был всего на два года старше Владимира Ульянова.

Борьба — вот слово, наиболее точно выражающее сущность его души и его таланта, смысл всей жизни великого писателя. Борьба — за человека; борьба — против рабства труда и мысли, против бездуховности и бесчеловечности буржуазного мира. Таким он начинался; таким был всю свою сложную и яркую жизнь.

Революционный пафос ранних произведений Максима Горького могуч, неукротим; но он носит еще преимущественно аллегорические (как у Чехова «небо в алмазах»), иносказательные, пророческие формы. Искра великой правды века вспыхнет в нем чуть позже — после встречи жаркой мечты писателя с точной и суровой социальной истиной марксизма, в дружбе и совместной работе с большевиками, с Лениным.

А сначала — крылатый романтизм, безудержный, во многом фантастический порыв к свободе, «ковер-самолет» героической Мечты. «Нужны подвиги, подвиги! — восклицал молодой Горький. — Пусть отвращение к настоящему будет беспокойной, острой болью и жажда будущего — страстным мучением». В его прекрасных, возвышающих легендах отражалась, как в зеркале, растущая мощь нового трудящегося класса, разум и мечта пролетариата.

В пышущих жаром строках молодого пролетарского пророка выплавлялось чистое золото принципиально новой символики народной Революции.

Зрелый Горький произнесет великие слова: «Нет героики более величественной, чем героика труда и творчества». Он пришел к этой героике закономерно и последовательно по ступеням героической Мечты о распрямленном, раскованном Человеке.

А реалист Горький (он изначально был неотделим в нем от романтика) беспощадно срывал маски с мещанства, пошлости и подлости, безвольной «расейской тоски» и холопства, по-щедрински смело и безоглядно отрицал мораль, психологию, иллюзии старого мира. И вот уже распростерлись над пробуждающейся Россией не «совиные крыла» самодержавного мракобесия, а несущие победу красные знамена бессмертного Буревестника, зовущего к революционному преобразованию жизни.

В самый канун революции 1905 года Горький создает великую

поэму «Человек» — торжествующий гимн Разуму и Творчеству.

Разум — против безумия; мысль — против безмыслия; гуманность — против жестокого насилия: таков непреходящий завет пролетарского писателя потомкам.

...Эпоха вызвала к жизни огромный, жизнетворящий талант Горького.

Должен был, не мог не появиться в великом народе, воспрянувшем от сна рабских веков, и Человек, могущий возглавить очистительную бурю — Революцию трудящихся масс.

Эпоха, человечество, Россия ждали ЛЕНИНА.

ЭПИЛОГ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕВОЛЮЦИЯ, РАДОСТНАЯ И СКОРАЯ!

История, все убыстряясь, вела отсчет времени, оставшегося старому миру, уже не на века или десятилетия — лишь на годы.

Над огромной, развернувшейся на полсвета, многострадальной Россией занималась заря Революции.

В хриплом сипении фабричных гудков, в скрежете металла, в угрюмом шарканье тысяч и тысяч ног у закоптелых заводских проходных уже слышались будущие сокрушительные громы очистительной бури. «Буря — это движение самих масс» (В. И. Ленин).

Однако к мускулистой руке рабочего люда позарез нужна была крепкая, умная, бесстрашная голова. Умная! Стихийную массу пролетарского движения предстояло сцепить в монолит стальным каркасом научной социальной теории и революционной организации. Предстояло прочно сомкнуть воедино рабочий гнев, решимость, солидарность с научным социализмом Маркса и Энгельса. Чем скорее произойдет историческая смычка, тем скорее и победоноснее грянет буря!

...Как скоро — это был вопрос вопросов для перехода русского освободительного движения к решающему его этапу. В самом деле: в Европе уже почти полвека распространялись марксистские идеи; и с каждым годом все сильнее становилась, говоря словами Ф. Энгельса, великая держава социалистических рабочих, внушающая страх буржуазии всех стран. Но в то же время распространение марксизма вширь сопровождалось измельчанием революционной мысли пролетарских вождей Запада. Над ними почти до конца века одиноко возвышался Ф. Энгельс; после его смерти в 1895 году на пролетариат Европы обрушилась лавина ревизионизма...

Так, спрашивается, мог ли быть иным удел России, только-только ступившей на тропу буржуазного развития? Мог ли не плутать годами, десятилетиями ее неопытный пролетариат — вчерашний дремучий, необразованный мужик? Европа уже наскочила на рифы оппортунизма; а у нас еще бушевали страсти вокруг «особого пути» России — минуя «фабричный котел», прямиком в бесчисленные соты патриархальных крестьянских общин. Народничество, анархизм, терроризм, сектантство, толстовство, либерализм... — поди разберись во всей этой круговерти, выведи на дорогу, укажи верный курс!

Чтобы не увязнуть на долгие годы в болоте мелкобуржуазных иллюзий, чтобы развеять утопические миражи и дать взлет революционной мечте, нужна была марксистская партия нового типа.

...Когда Володе Ульянову было всего лишь тринадцать лет, самые первые марксистские прививки на неокрепшее еще пролетарское древо России осуществил **Георгий Валентинович Плеханов** — пионер марксизма в нашей стране.

Двадцатилетним юношей Плеханов с головой окунулся в революционную борьбу. Со ступеней Казанского собора в Петербурге он, тогда правоверный народник, произносит пламенную речь перед участниками первой политической рабочей демонстрации (1876 год). Там же, за спиною пылкого оратора, впервые в истории России развернул и поднял Красное знамя юный пролетарий Яков Потапов.

Потом были неудачное хождение в народ, работа в подполье, крах народнических иллюзий, долгая-долгая эмиграция... Но главное, что было потом, — это перевод на русский язык «Коммунистического манифеста» Маркса и Энгельса, создание социал-демократической группы «Освобождение труда», напряженнейшая и плодотворная работа по пропаганде и распространению научного социализма в России.

Казалось, сама история избрала эту незаурядную личность на роль вождя российского пролетариата и его грядущей революции. Однако вышло иначе. Мы знаем: все глубже и глубже погружаясь в болото меньшевизма, Плеханов закончил жизнь, не поняв Великого Октября...

Трагедия? Да. И много тому было причин: прогрессирующая болезнь «вождизма», неуживчивый, трудный характер, претензии на абсолютное знание путей исторического развития, стадий «полной готовности» условий для перехода России и мира к социализму... Всего не перечесть!

Но, однако, думается, следует подчеркнуть особо: Плеханов, в сущности, не был мечтателем. Вера в «железную поступь» истории (было в этом что-то холодно-гегельянское) остужала душу, отрывала Антея мысли от матушки-земли, от народа. Не прошла даром и многолетняя эмиграция...

Судьба Плеханова, одного из лучших сынов России, и ярким взлетом своим, и горестным завершением подтверждает непреложность истины: дело Революции — дело дерзкое и крылатое, и крылатость его немыслима без великой всепоглощающей Мечты о счастье людском. О счастье, которое не даруется слепой игрой объективных экономических законов, а добывается в яростной и беззаветной борьбе вместе с народом.

«Гений прост и понятен, как истина, — утверждал Н. Г. Чернышевский, — ведь естественно человеку видеть вещи в их истинном виде».

Видеть не только вещи, то есть реальность настоящего, но и сокрытое временем будущее дано было Человеку, простому, как истина. Простому, как Правда. Именно в **Ленине**, в его могучем разуме, в его необъятно доброй душе, в его непреклонном характере, волею истории, муками бессчетных поколений тружеников совпали, благодатно слились в торжествующей гармонии

Истина, Мечта и необъятное, созидающее новый мир революционное Дело.

Неподкупен, бескорыстен
И с сознаньем правоты
Непокорный силой истин
Над неправдой грянешь ты!

Эти вещие строки неизвестного поэта пела над колыбелью своего младшего сына Мария Александровна Ульянова. Мальчик вырос — и на века, навсегда, до скончания жизненного круга Земли стал ее красным знаменем, ее совестью, ее честью и надеждой.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН...

С детских лет выросло и утвердилось в Ленине великое, драгоценное чувство доверия к жизни, неиссякаемого жизнелюбия; здесь — глубинные корни истинно ленинской земной мечты о грядущем, его гениальных прозрений, предвидений и открытий.

Как и Маркс, он нашел свое высшее призвание в том, чтобы «трудиться для человечества». Этому без колебаний была отдана вся жизнь. До последнего удара сердца. «Одна, но пламенная страсть» служения народу определила монолитную цельность его натуры.

Он шел к этой всепоглощающей, радостной страсти поступью великана. И на всем сложном, тернистом, великом пути в бессмертие сопутствовали ему накопленные гениальными предшественниками мудрость, доброта, высокое человеколюбие. Он встал на плечи гигантов; а «подсадили» его на эти могучие плечи ласковые руки матери, отца, старшего брата, верных друзей.

«Коротка и до последних мгновений нам известна жизнь Ульянова», — сказал В. Маяковский. Известно, сколь ярко и непосредственно отразилась в ленинской судьбе благотворная роль по-настоящему хорошего семейного воспитания. Сызмальства — в светлом царстве прекрасных книг и высокой музыки; сызмальства — в чистой атмосфере подлинной интеллигентности, исключающей всяческую пошлость и фальшь, приспособленчество и безделье.

Наконец, сызмальства — рядом, повседневно, словно светоч, — благородные примеры честного служения народу. Примеры отца и матери. Счастлив человек, когда у него такие родители. Счастливо и всегда будет благодарно им человечество!

Володя Ульянов был счастлив еще и оттого, что у него был замечательный старший брат. К нему, к любимому Саше, тянулась, словно цветок к солнцу, восторженная детская душа. На одних и тех же жарких духовных «углях»: Чернышевский, Писарев, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Гейне — вскипала их революционность.

Яркая и чистая лампада таланта — и прежде всего таланта души старшего брата — помогала разгореться пламени ленинского гения. Великий Бутлеров верил в «химическую звезду» старшего Ульянова, другие прочили его в профессора зоологии.

Гибель брата, трагедия его, словно молния в ночи, озарила Владимира Ульянова знанием — и того, что произошло, и того, что делать.

Хрестоматийно-известному: «Не таким путем надо идти» предшествовали горестные и гордые слова: «Он не мог поступить иначе». Какая глубина в постижении величия подвига народовольцев! Какая истинно ленинская мощь в прозрении исторической истинности их трагических заблуждений!

«Мы пойдем другим путем». Это был путь к Марксу, к пролетариату, к Революции.

Владимиру Ильичу глубоко в душу запали слова брата, произнесенные перед казнью: «Среди русского народа всегда найдется десяток людей, которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело». Только не десяток, а десятки, сотни, тысячи и тысячи «настолько преданных» героев сплотил Ленин под красным знаменем своих идей — идей научного социализма.

Это будет позже, потом. Но над священною могилой брата-тираноборца встал грозным возмездием человек, теперь уже навсегда обладающий «внутренним сознанием необходимости идти на смерть ради жизни, идти в тюрьму ради свободы», способный «пережить с открытыми глазами весь ад жизни, чувствуя в своей душе взятый из этой жизни великий возвышенный гимн красоты, правды и счастья». Так сказал Ф. Э. Дзержинский о настоящем революционном борце. Значит, это сказано прежде всего о Ленине.

Как и сама Россия, он выстрадал марксизм, проверил его, что называется, на себе. Он шел к нему снизу, от стихийного «бунта».

Он шел к марксизму через разрыв с верой в боженьку: в пятом гимназическом классе был сорван и вышвырнут в мусор нательный крест.

Он шел к марксизму и «сверху», каменистыми тропами знания, усердно и неустанно. Он шел тропою великой литературы, которая давала опору в мечтах и надеждах, питала любовью и ненавистью.

Декабрь 1887 года — время рождения революционера-трибуна. Во главе первой студенческой демонстрации в Казанском университете — лучший учащийся, пылкий, неудержимый Владимир Ульянов!

Еще в шестнадцать лет он предпринимает первую попытку перевести Марксов «Капитал». А уже через два года, в Кокушкине, в «ссыльном университете», произошла взрослая великая встреча с «библией рабочего класса».

В начале 90-х годов блестящий молодой юрист Владимир Ульянов в Самаре. Он смело и умело отстаивает интересы своих подзащитных — крестьян, рабочих, голытьбы. Поистине народный заступник бесстрашно разоблачает несправедливость «шемякина суда» власть и деньги имущих. Здесь, в эти годы, он узнает думы и беды народные, бестрепетно заглядывает в бездну горя и зреющего гнева. Здесь же он впервые возглавил один из подпольных марксистских кружков. Спираль революции начала раскручиваться в сторону ленинской Правды.

И все время — работа, работа, работа! Юридическая практи-

ка — и глубокое изучение русской истории: В. Ключевский, С. Соловьев, Б. Чичерин. Рядом, для отдыха, вдохновения и раздумий — томики Бальзака, Шекспира, Толстого, статьи Г. Успенского. Переведен на русский язык великий «Манифест» Маркса и Энгельса. Готовится знатная драчка с либеральными народниками.

Такими были семимильные шаги гения. Час за часом, день за днем.

Юность Ленина... Сколько бы ни минуло лет в жизни каждого из нас, сколько бы ни сменилось поколений, она всегда будет, словно магнит, притягивать к себе лучшие людские чувства, волновать стремительностью созревания вождя революции, звать к благородному подвижничеству во имя великой идеи, ради Отечества. Думается, прав Н. И. Подвойский, сказавший так: «Владимир Ильич рано познал, что только человек, способный совершенно не интересоваться личными делами, способный отдаваться безраздельно, всецело, до полного самозабвения революционной службе, службе для других... — только такой человек способен на самую искреннюю, преданную, на самую героическую службу человечеству».

Юность Ленина, вся его последующая жизнь дают исчерпывающий ответ, почему именно он, реалист до мозга костей, смог подарить человечеству гениальную философскую формулу сопряжения мечты и действия, формулу движения из царства необходимости в царство свободы.

«От живого созерцания — к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания истины».

Живое созерцание — это прежде всего доверие к жизни, бесстрашное и открытое приятие мира со всеми его болями и несовершенствами, со всею его непреходящей красой, историей и будущностью. Созерцание не холодно-отрешенное, не бесстрастное «добру и злу внимая равнодушно» — нет! Деятельное созерцание предполагает горячее чувство, активное отношение ко всему сущему, но чувство, поверенное затем безошибочной, трезвой «алгеброй» разума, железной логикой абстрактного мышления.

Однако самое главное, альфа и омега познания, борьбы, преобразования — это общественная практика! Только она окончательно определяет жизнеспособность и эмоций, и рациональных выводов, и жарких мечтаний. Практика как деяние, творчество, слиянность миллионов воль, сплоченных великой социальной целью. Практика — это сокрушение старого, отжившего, косного во всех сферах бытия и познания; это — Революция.

«Триада» В. И. Ленина непременно и органично включает в себя человеческую Мечту как необходимый момент истины истории и революции. «Без мечты человек превращается в животное. Мечты двигают прогресс, — утверждал Ленин. — ...Осуществленная мечта — социализм — откроет новые грандиозные перспективы для самых смелых мечтаний».

Революция есть осуществление Мечты — так мыслил, так жил, так боролся Ленин. Так создавал он свое самое могучее и бессмертное детище — Коммунистическую пар-

тию. Нет ничего вреднее и опаснее головных схем и утешительных утопий; но — НАДО МЕЧТАТЬ!

Вот почему можно и должно утверждать, что Владимир Ильич действительно был «кремлевским мечтателем», но только в самом благородном и высоком, недоступном обывательскому рассудку, смысле. И только поэтому он видел то, что́ временем сокрыто. Только поэтому и сегодня, и завтра, и всегда «по всей вселенной ширится шествие мыслей, слов и дел Ильича» (В. В. Маяковский).

* * *

...Наступил грозный, кровавый и светлый XX век.

«Двадцатый век принес с собой больше перемен, чем любое предшествовавшее ему столетие. И ни одна страна не внесла в эти перемены более весомого вклада, чем Союз Советских Социалистических Республик — родина Великого Октября, первая страна победившего социализма. Вот уже седьмое десятилетие осеняет ее непобедимое ленинское знамя!

Нет такой страны или группы стран, такого идейного или политического течения, которое не испытало бы на себе в той или иной мере влияния социализма. Такова реальность конца двадцатого века.

Нелегко рождается новая жизнь. Труден, иногда мучителен путь социального прогресса, но тем значительнее, тем рельефнее достижения социалистического общества, тем величественнее подвиги его строителей и защитников.

Нашей Коммунистической партии, нам, советским коммунистам, выпала завидная роль — находиться у истоков социалистического преобразования жизни. На нашу долю выпала почетная миссия защищать, отстаивать мир.

Величественная наша цель — коммунизм. И каждый трудовой успех, каждый год героических свершений, каждая пятилетка приближают нас к этой цели. С этой точки зрения партия оценивает и предстоящее пятилетие. Дел предстоит много. Задачи надо решить большие, сложные, но мы решим их и решим обязательно.

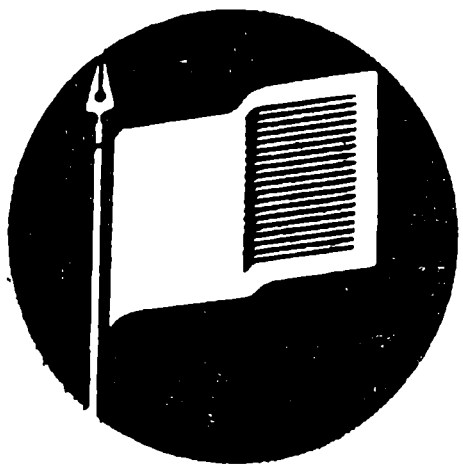
Да, советские люди с уверенностью смотрят в завтрашний день. Но их оптимизм — не самоуверенность баловней судьбы. Наш народ знает: все, что он имеет, создано его собственным трудом, защищено его собственной кровью. И мы оптимисты потому, что верим в силу труда. Потому, что верим в свою страну, в свой народ. Мы оптимисты потому, что верим в свою партию, знаем — путь, который она указывает, — единственно верный путь!»

Эти замечательные, подлинно ленинской глубины и размаха слова были произнесены с высокой трибуны XXVI съезда Коммунистической партии Советского Союза. В них — бессмертие великой человеческой Мечты и бессмертие ленинского дела. В них — высокая Правда времени; в них — неодолимость движения человечества к коммунизму.

В них — единственная альтернатива ядерному безумию, распаду, вырождению, гибели.

Революция продолжается!

●



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

РУБЕЖИ ТВОРЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ

Андрей БЛИНОВ

ЗА ГРАНЬЮ ГРАНЬ

О ПОЭЗИИ ИГОРЯ ЛЯПИНА

Я прозаик, но тем не менее поэзию люблю, интересуюсь современными поэтами и радуюсь каждой новой (увы, не столь часто восходящей) звездочке на поэтическом небосклоне. Так, лет восемь назад, рецензируя тоненькую книжку под названием «Междуречье», я порадовался первой творческой удаче молодого поэта Игоря Ляпина.

Меня подкупили эмоциональная глубина его стихов, острота философских размышлений. Не было уже набившего оскомину самокопания, замыкания только на себе — была высокая гражданственность в лучшем смысле этого слова. Не было поэтических вывертов, оригинальничания во что бы то ни стало — была большая человеческая простота и ясность слога. И было то, что невозможно обрести никаким опытом, то, с чем надо родиться — свое, неповторимое, не похожее ни на какое другое лицо, свой мир, своя интонация, своя мелодия.

Конечно, не один я заметил и оценил книгу. Сборник «Междуречье» был удостоен первой премии издательства «Совет-

ский писатель» за лучшую поэтическую книгу года. Так — решительно и сразу — Игорь Ляпин переступил грань начинания.

И вот по прошествии нескольких лет передо мной большая и серьезная поэма И. Ляпина «Линия судьбы» *. О чем говорит это новое произведение? Сразу и не скажешь. Но прежде всего о времени и о себе. Переплелись — и для автора не существуют отдельно — личная судьба героя с судьбой его поколения, принявшего на свои еще не окрепшие плечи тяготы послевоенной разрухи, с судьбой всей страны. Переплелись так тесно потому, что лирический герой причастен ко всем делам своей Родины, он кровная ее частичка.

Что же было между той, первой книжечкой и сегодняшней поэмой? Как складывалась поэтическая судьба Игоря Ляпина? Теперь можно сказать — время не прошло для него даром. От книги к книге неуклонно набиралась эта высота: «Стороны света» («Современник», 1976), «Живу тобой» («Молодая гвардия», 1977), «Не вешние воды» («Советский писатель», 1978) и, наконец, последняя, весьма солидная «Не в чистом поле» («Современник», 1979).

По этим книгам-вехам можно проследить и собственную судьбу поэта, и судьбу поколения, к которому он принадлежит («Живешь, как все, ни легче, ни трудней»): суровое военное детство, вынужденное раннее повзросление («Ведь наши книжки трудовые постарше наших паспортов...»), кипучая заводская, полная радости труда юность, оставившая глубокий след в памяти служба в рядах Советской Армии, жажда новых дорог, новых встреч, впечатлений. От севера до юга, от запада до востока — где только он не побывал и кем только не работал: и металлургом, и матросом, и плотогоном, и лесорубом, и землепроходчиком.

Нет, не налегке пришел Игорь Ляпин в поэзию — с хорошим жизненным багажом за плечами, со сложившимся мировоззрением трудового человека. Поэтому-то так достоверны, правдивы и жизненны его стихи.

Еще в своих заметках о «Междуречье» я писал, что лирический герой И. Ляпина по своему мироощущению сильный, деятельный, нежный и памятливый.

Память... Этим ценнейшим даром щедро наделен поэт («Нет, я не позабуду ничего...»). Его память хранит ставший историческим плакат «Ты записался добровольцем?»:

Мне до сих пор и, видно, до конца,
Какие б ветры в жизни ни подули,
Не позабыть сурового бойца,
Готового с плаката и под пули.

Он помнит яблони под Днепропетровском, где его отец-металлург прощался с матерью, уходя в сорок первом с эшелонами на Восточный наш фронт, на далекий трудовой заводской Урал. Помнит натруженные руки матери, тети, старшей сестры — опору и боль России. Помнит, как вновь поднимался из руин отцовский огнедышащий завод, как «магическое слово «надо» гуляло эхом по цехам», как «победной той и горестной порой мы выживали вме-

* Линия судьбы. Поэма. — «Огонек», 1981, № 23, 24.

сте со страной». В стихах И. Ляпина нет общих фраз и декларативных рассуждений о беззаветном, самоотверженном труде советских людей. У него говорят детали, простые, безыскусственные и потому сильные:

А матери таких, как я, мальцов
По десять раз подогревали ужин,
С работы поджидаючи отцов.

В памяти поэта навсегда («Ничто бесследно в жизни не пройдет...») остались «и грустный скрип подвод, и шум очередей в голодный год», и речушка Лапинка на юге Украины («А берег черен, поле выжжено...»), и однорукий паромщик, который «трудится меж берегами, как связной», и женщина, стирающая белье, — «ведь ни одной мужской рубахи, а все ребячье да свое», и «учитель в полинявшей гимнастерке», который, «прихрамывая, ходит у доски». Поэту дороги памятные приметы того трудного времени: и парусиновые девичьи туфельки, кокетливо начищенные зубным порошком, и тряпичные мячи, которые гоняет не знающая обувки детвора, и затертые химическим карандашом белые нитки на ветхих пиджаках. Предметны, осязаемы, зримы стихи Игоря Ляпина.

Меня особенно подкупает в творчестве этого тонкого и чуткого поэта его трепетное чувство к родителям (ведь по одному отношению к тем, кто дал нам жизнь, можно уже судить о нравственном потенциале человека): неизменно нежная интонация, когда он пишет о матери, и священное поклонение памяти отца, сгоревшего на «той, испепеляющей работе, венец которой — огненный металл».

Характерно умение И. Ляпина одним-двумя скупыми, но верными штрихами дать зримый облик человека. Яркий образ отца, предельно честного, совестливого, беззаветного коммуниста, предстает перед нами не через рассказ, а через показ:

А тут, не сразу сев обедать,
Он маму в комнату позвал:
— Ну, мать, теперь держись, что делать?
Я наши карточки отдал.

И мамино лицо худое
Чуть задержал в руках своих:
— Пойми, у нас с тобою двое,
А та одна растит троих.

Меня с сестренкой обнимая,
Присела мама на кровать
И лишь вздохнула: — Ваня, Ваня...
Ну кто еще бы смог отдать?..

И без всякой патетики, просто, но как сильно — оценка этого нравственного подвига:

Я был уверен абсолютно,
Что по-отцовски буду жить.

Потом узнается, как трудно
Хотя бы раз так поступить.

Одна из самых ярких граней творчества И. Ляпина — это связь поколений, их преемственность.

...Едва седьмой заканчивался класс,
Широкие отцовские спецовки
Перешивали матери для нас.
И прямо в цех.
Там звон и грохот стали
Нас оглушал.
Там сам рабочий класс
Нам руки жал.
Там наших батек знали
Настолько, что считали —
знают нас.

Перешитые отцовские спецовки — какая многозначная художественная деталь! И не нужно никаких лишних слов об эстафете, принятой детьми от отцов.

Уважение к старшему поколению, преклонение перед его нелегкой судьбой, благодарность за наше сегодня пронизывают поэзию Игоря Ляпина. Он имеет полное право выступать от имени своего поколения («Я родом из России, из того, клейменного бедою поколенья...»). И от имени поколения горячо вступать в спор с теми, кто хотел бы выторговать для себя жизнь без борьбы и труда:

Мы дети той, обугленной страны,
Мы никогда не ждали, не просили,
Чтоб нам отцы на блюдечке с войны
Еще конфетки счастья приносили.

Эти строки из поэмы «Линия судьбы» не случайны у И. Ляпина. Они полемически направлены против тех его сверстников, которым вдруг не стало хватать еще чего-то для полного счастья, и они, считая себя обделенными судьбой, возложили вину за это на отцов и матерей, уже сделавших для них все, что только можно было сделать. Безнравственна и страшна эта неблагодарность, это иждивенческое желание, не пролив и капли пота, получить все готовеньким. Тут, конечно, имеется в виду не столько материальное, сколько духовное, хотя и то и другое, пожалуй, одинаково убивает в человеке жажду активного действия, труда. И потому волнуется поэт, чтобы быстротечное время не изгладило из памяти то, как самоотверженно, мужественно, целеустремленно и красиво жили старшие поколения строителей нового общества.

Дырявая историческая память для поэта — плохой спутник. Не забывать своей давней и ближней истории, оглядываться на отцов, на дедов и прадедов, уважать прошлое, без которого нет настоящего, — один из самых основных принципов поэзии Игоря Ляпина.

Много проникновенных строк у поэта посвящено Родине. Поначалу трудно понять его привязанность к разным уголкам нашей земли — кажется, у него везде отчина. Да, пожалуй, так оно и

есть. Его родители, уроженцы Брянщины, юными уехали в Днепропетровск, потом война забросила их на Урал, где и родился поэт, а после войны вновь позвала Украина. В юные и зрелые годы И. Ляпин влюбился в мощь и красоту Сибири, в ее людей, реки, тайгу, и она, бескрайняя эта земля, стала для него новой отчизной. И нет ничего противоестественного, когда реки Украины, Сибири, Урала причудливо переплетаются у поэта.

Я перед картой Родины не слеп,
Но сердце географии не знает.
И Енисей опять впадает в Днепр,
А Днепр в речушку Лапинку впадает.

В поэме «Линия судьбы» много значительных слов о Сибири. Герою невольно вспоминаются и ее царские остроги, и тяжелый кандальный звон на дорогах, и отупляющая ссылка лучших умов России. Но влюблен он в другую Сибирь, Сибирь электрическую, полную света, трудной и радостной преобразующей работы. Своими руками творил герой здесь то, что творило его поколение: рубил просеки, сплавлял лес по бурным таежным рекам, ходил матросом на речных судах. И поэтому так подкупают строки о первом поезде на БАМе, который,

Дорогу пробуя, пошел,
Несуетливо утверждая
Расчет и риск — не чью-то блажь,
Гудком басистым убеждая,
Что он реальность — не мираж,
Что ни в каких снегах-буранах
Вовеки неостановим,
И рельсы новые на шпалах
Слегка пружинили под ним.

Сибирь предстает в поэме как строительная площадка мужества, трудового подвига, где человек проходит испытание на крепость и вырабатывает в своем характере коллективизм, взаимовыручку, беззаветное служение Родине. Хотя поэт ясно дает себе отчет в том, что

...ехали, конечно, кто за чем.
Кто за рублем, а кто, глядишь, за славой.
Как и повсюду в жизни, между тем,
Народ вокруг и сильный был и слабый.
Тому масштабы кипятили кровь,
А тот от тещи убежал — и здрасьте!
Кто шел забыть несчастную любовь,
А кто искать, как говорится, счастья.

Но вот что сумел подметить автор: люди эти пели песни не про себя, а «все про Каховку, про Катюшу да про буденновских бойцов».

И чувство, чувство было свято,
Что эти парни и девчата
Сюда приехали не зря.

Таких площадок, как Сибирь, для Игоря Ляпина, его лирического героя и его поколения в стране множество. К ним они лично причастны, и это превращает любовь к Родине в действенную силу, в неотделимую от ее судьбы свою судьбу. Так, в стихотворении «Снежногорск» автор говорит о тех, кто любит Родину несозерцательной любовью:

Ушел последний пароход,
А люди снова остаются.
И, доходя до самой сути,—
Чем тут сильны, чему верны,
Вдруг чувствуешь: судьба страны,
Она и есть вот эти судьбы.

Еще в первой книжке я отметил целомудренное и возвышенное — в лучших традициях классической русской поэзии — отношение поэта к женщине, к любви. В любозной лирике Игоря Ляпина особенно остро чувствуется его добрый талант. Именно добротой, идущей от самого сердца, продиктованы строки:

Я женщине желаю солнца,
Все ей лучи,
все ей цветы,
Пусть ей живется и цветется,
Пусть ей поется,
пусть ревется,
Но пусть от счастья — не беды.

О любви пишут много, о любви пишут все. Мне кажется, что именно в любовной лирике явственней всего проявляется поэтическая сущность — дар души, без которого стихи мертвы, как бы изысканно профессионально они ни были сделаны. В стихах И. Ляпина есть главное — душа. Они по-мужски сдержанны, но всегда предельно искренни.

Мне хочется полностью процитировать небольшое стихотворение, раскрывающее интимный мир лирического героя. Оно называется «Любимая».

Опять стихам до света не звучать,
А ночь темна, а ночь такая длинная.
И тут ко мне приходит помолчать
Моя любимая.

Войдет неслышно, нежностью пахнет,
И, кроме сердца, никому не зримая,
В ладони все печали заберет
Моя любимая.

Ее глаза на все ответят мне,
И я прочту в них еле уловимое,
Что лучшее мое на всей земле —
Моя любимая.

Любовь для Игоря Ляпина — «самый щедрый жизни дар», ею, любовью, проверяет он истинную ценность человека, его моральную крепость. Вся его лирика пронизана предчувствием той единственной встречи, которая должна, которая не может не произой-

ти. Особенно сильно этот мотив глубокой веры в чудо звучит в «Линии судьбы»:

Я точно знал, что ты на свете есть,
Не знал лишь, где мы встретимся с тобою,
В каком краю сведут дороги нас,
Но что сведут, настолько ясно было,
Что, может быть, поэтому как раз
Меня по белу свету и носило...

Это ощущение обязательности, неизбежности встречи вело героя в новые края и земли, делало его жизнь наполненной и неугомонной. Но... и об этом поэт пишет мужественно и откровенно, в особенно тоскливую минуту душевной усталости голову его

...Не спящаяся женщина обнимет.
Оно прошепчет нежное «люблю»,
И хоть мои слова застрянут в горле,
Я от надежд заветных отступлю
И ей на горе, и себе на горе...
В тот час погасла ясная звезда...

Трудная, сложная любовь в поэме И. Ляпина. Герой проходит через все муки отступничества от мечты, прежде чем возникают следующие строки:

Однажды поднимусь я на заре
И осознаю страшную потерю,
И вновь на этой праведной земле
В твое существование поверю.

И как высшая справедливость на свете — эта выстраданная встреча:

Еще пахнет тревогой и бедой,
Но жизнь уже нам радость подарила:
На миг застыть на лестнице одной,
Руками за одни держась перила.

В тот самый миг все было решено,
Несвязные слова лишь подтвердили,
Что ты и я уже давным-давно
В душе готовы к этой встрече были.

Любовь открывает лирическому герою целый мир («твоим глазам спасибо говорю за этот мир, не ставший мне пустыней»), наполняет его светом, радостью, дерзанием, борьбой. Поэма — вся — поиск любви и себя в любви. Через рассказ любимой женщине предстает перед читателем лирический герой, его душа, его судьба, а вместе с ней и судьба его поколения, и судьба всей страны.

Многогранно творчество Игоря Ляпина. Не стоит, пожалуй, определять его в какой-то поэтический ряд, искать его учителей (хотя сам поэт говорит, что всегда и навсегда поклоняется Некрасову). Не в этом дело. А дело в том, что у него есть биография. И значит, ему есть что сказать читателю о времени и о себе. Сказать по-новому. По-своему.

●

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Д. А. ФУРМАНОВА

Георгий СУРИН

КОМИССАР

Книги Дмитрия Фурманова вот уже шесть десятилетий остаются в строю современности.

Книги писателя всегда связаны с его судьбой. Творчество Дмитрия Фурманова в этом смысле исключительно даже в ряду литераторов первых лет Октября. Весь опыт новой жизни Фурманов запечатлел в произведениях с правдивостью, которая делает их ценнейшим документом эпохи.

Судьба Дмитрия Фурманова удивительна. Не внешней пестротой часто менявшихся профессий или неожиданной парадоксальностью человеческих столкновений, столь типичных для литераторов той пестрой поры. Напротив, тут для бурного времени прочерчивается линия на редкость прямая. Судьба Фурманова удивительна своей сознательной завершенностью, подчинением ее ясной цели — борьбе за народное счастье. Часто через заблуждения, реже через ошибки и никогда через отступление.

Вот строки из автобиографии: «Ученье: городское шестиклассное в Иваново-Вознесенске, там же торговая школа... Засим Московский университет. Закончил по филологическому факультету в 1915 году, по

не успел сдать государственные экзамены — братом милосердия с поездами и летучками Земсоюза гонял на Турецкий фронт...

В половине 1916 года приехал в Иваново-Вознесенск... работал преподавателем на рабочих курсах.

...Ударила революция 1917 года... Жизнь толкнула работать в Совете рабочих депутатов... дальше — в партию к большевикам, в июле 1918 года — и в этом моем повороте огромную роль сыграл Фрунзе: беседы с ним расколотили последние остатки анархических иллюзий.

Вскоре работа секретарем губкома партии, членом губисполкома. Потом с отрядом Фрунзе на фронт...»

Что было потом, знают, пожалуй, все. Комиссар Чапаевской дивизии — бои с Колчаком; уполномоченный политуправления Туркестанского фронта — подавление мятежа в Верном; начальник политотдела Кубанской армии — красный десант во врангелевский тыл...

Партийная и советская работа 1917 года неожиданно открыла удивительную способность Фурманова — оратора и организатора. И именно эта способность определила позже особенности всего его литературного творчества. Спокойная уверенность, аналитическая работа ума, но прежде всего самоотверженное подчинение своей жизни и творчества интересам рабочей и крестьянской революции.

Он пришел к писательству как литератор-политработник, свободный от «поэтических перехлестов», но умеющий воодушевляться величием работы и борьбы и умеющий воодушевлять своим словом и примером. Всюду он проводник партийной линии, всюду организатор, всюду комиссар.

Девятнадцатилетний, он записывает в дневнике: «На свое будущее я смотрю очень и очень спокойным взглядом... Мне думается почему-то, что я должен стать писателем...» Через огромную работу приходит Фурманов к осуществлению своей мечты. Но можно ли сказать, что эта работа — лишь этап на пути к цели? Нет, это сам путь. Без него, вне его не совершалось формирование художнического, писательского ядра.

Чувство напряженности борьбы настолько сильно владело Фурмановым, что, когда ее накал ослабевал хоть незначительно, когда наступала передышка, хоть краткая, им овладевало странное состояние беспокойства, тревоги, и он обязательно принимался искать — и находил! — новый свой фронт, где ясно было, с кем бороться, что защищать. Фурманов писал о Чапаеве: «Боевая страда — чапаевская стихия. Чуть затишье — и он томится, нервничает, скучает, полон тяжелых мыслей...» Но таким был и сам Фурманов.

Живая жизнь. Она всегда рвалась со страниц книг Дмитрия Фурманова, хотя была далека от стихийности. Первым из молодых советских писателей Фурманов обнажил в «Чапаеве» пружины сознательности в бурном движении революционных масс. Но не только преодолением анархизма и партизанщины, показом идейного роста интересно и ценно изображение Чапаева. Фурманов анализирует само рождение народного героя, рождение молвы, легенды и, сопоставляя их с поступками реального человека, рассуждает: «Где героичность Чапаева, где его подвиги, существуют ли они вообще и существуют ли сами герои?» Припоминает все — бои, приказы, походы. И понимает: «Слить дивизию

в одном порыве, заставить поверить в свою непобедимость... дать командиров, подобрать их, закалить, пронизать и насытить своей стремительной волей, собрать их вокруг себя и сосредоточить всецело только на одной мысли, на одном стремлении — к победе, к победе, к победе, — о, это великий героизм! Но не тот, который с именем Чапаева связывает народная молва».

И Фурманов показывает нам именно тот истинный героизм, лишь немного прибавляя черт легендарности, выделяя и возвеличивая те невыраженные стороны человеческого существа, что делали Чапаева командиром, вошедшим в историю гражданской войны.

Вскоре Фурманов становится одним из руководителей Московской ассоциации пролетарских писателей, до последнего дня жизни сражается за партийную линию в литературе, выступает против групповщины и, в частности, против фанатической узости «напостовцев» *. Вяч. Полонский вспоминал: «Фурманов был «красный герой», кавалер ордена Красного Знамени, но не кичился этим; «Чапаев» прославил его имя, но это на Фурманове нисколько не отразилось: ни тени самодовольства, ни малейшего налета пошлости, который всегда густо покрывает лица любимцев славы. Вокруг него кипела борьба уязвленных самолюбий — он был спокоен, ровен, и интересы литературы волновали его больше, чем его собственные интересы... Но если он защищал какое-нибудь дело, то дрался крепко, стиснув зубы, не щадя ни друзей, ни врагов: был он человек большой воли и большевистской выучки».

Спокойствие и уверенность давались непросто. Дневниковые записи тех лет полны сомнениями, прежде всего творческими.

Читательское признание к Фурманову пришло сразу, как раньше сразу овладевал он вниманием тысячной рабочей и солдатской массы. Но утверждение его писательского авторитета в кругу литераторов потребовало времени. Хотя «Чапаев» был положительно оценен критикой, прежде всего в партийной печати, к автору предъявлялось немало претензий литературного свойства. Кое-кого, видимо, поражала ярко выраженная в этой книге партийная позиция писателя.

На общем лоскутном фоне жизни искусств в двадцатые годы книга Фурманова выглядела удивительно уравновешенной. Ни крикливости, ни чрезмерной восторженности, но есть величие героической борьбы, есть образ народного героя, высвеченный в деталях, пронизанный авторским анализом и не утративший при этом эпической масштабности.

Своей первой книгой Фурманов сразу положил начало плодотворной традиции советской литературы, которая заметно развилась уже в тридцатые годы. Раньше многих Фурманов сказал новое слово. Он как бы противопоставил всяческой «литературной моде» реалистическую прозу, одухотворенную четкой партийной мыслью. Его книги складывались естественно, как продолжение и воплощение его жизни.

Росло мастерство писателя, надо бы сказать, с годами, но какие тут годы: всего-то пять лет профессиональной работы литератора отпущено ему было! Являлось внимание к мелочам, к

* Группа литераторов, составлявших редакцию журнала «На посту».

деталям. Возникало желание улучшить уже сделанное, и прежде всего переработать «Чапаева», любимую, самую дорогую вещь.

«И уже вовсе решил. Достал стопу бумаги, на первом листе написал, как когда-то, три года назад: «Чапаев». Написал — и испытал то же самое чувство, когда его садился писать впервые. Отступил. Дал главу: «Рабочий отряд». И встал. Открыл «Чапая». Прочитал несколько страниц и ощутил, что перерабатывать не могу.

Как же я стану — да тут каждое мне местечко дорого — нет, нет, не стану и не могу».

Перерабатывать было нельзя. Написано было так, как могло, как должно быть написано.

Фурманов считал Горького первым своим главным учителем. Письма от него были величайшей радостью. Оценку его ставил превыше всех. С критикой его соглашался полностью, хотя критика была суровой: «...историческое и идеологическое значение книг — превышают их значение художественное.

...Вы пишете наспех, небрежно... рассказываете как очевидец, но не изображаете как художник», — писал А. М. Горький.

Фурманов соглашался. Но все же считал необходимым разъяснить: «Книжкам своим я ставил практическую, боевую, революционную цель: показать, как мы боролись во дни гражданской войны, показать без вычурности, без выдумки, дать действительность, чтобы ее видела и чуяла широчайшая рабоче-крестьянская масса (на нее моя ставка)... Я не смотрел на эти книжки как на чисто художественные произведения (в прежнем толковании этого термина)...»

Да, Фурманов все время ощущал себя связанным строгим историзмом, документальностью описываемых событий. Ему наперебой советуют давать побольше выдумки, «литературной неправды». Он снова соглашается и принимается за роман «Писатели», где собирается показать рапповскую борьбу, показать вполне реальных и очень типичных беллетристов: «...Поставил стержневые фигуры, наиболее характерные: сложившийся, начинающий, даровитый, бездарный, страстный, вялый, рабочий, старая труха, интеллигент и т. д.».

Как же выдумывать, когда нужно «дать действительность»?! Выдумывать нет времени, а его уже так мало осталось. Здоровье все хуже. Фурманов часто огорчается недостатком знаний, хочет приняться за систематическое изучение культуры, философии, истории, искусства, но как тогда быть с газетами, журналами, как можно оторваться от напряжения сегодняшней кипящей жизни? И все снова откладывается. И только мечтается: вот будет время, и он отправится путешествовать в Африку, на Восток, в Европу, в Америку... Но пока — текущая работа. И борьба.

За три недели до смерти, больной, он выступает с докладом о деятельности Московской ассоциации пролетарских писателей. На конференции Всесоюзной ассоциации четыре дня спустя Фурманов уже не может присутствовать и обращается к участникам с письмом: «Требую полностью выполнения постановлений ЦК о литературе, привлечения «попутчиков», близких нам, очищения рядов наших от двурушников, интриганов и склочников...» Завершить его борьбу предстояло другим.

В статье «Умер художник революции» А. Серафимович писал: «Ушел — и унес с собой еще не развернувшееся свое будущее.

Ушел — и говорит нам своим художественным творчеством: берите живую жизнь, берите ее, трепещущую, — только в этом спасение художника».

Сложная судьба выпадает на долю некоторых произведений. Задумаемся: яркая эмоциональность замечательного фильма братьев Васильевых не затенила ли книгу Фурманова? А ведь как ни родственны эти творения, Чапаев в исполнении Бориса Бабочкина ближе как раз к народной молве, к легенде... Режиссеры ставили перед прекрасным актером свою задачу, но в зрительском и читательском восприятии не сливаются ли порой два образа? И не забывается ли вдумчивый аналитизм писателя, сумевшего спустя лишь четыре года после революции показать нового героя, которого само время сделало героическим...

Вне теоретических рассуждений, вне литературно-критической суеты Фурманов, по существу, первым указал путь, которым пойдет молодая литература социалистического реализма.

«Фурманов дал критике первую твердую основу, — говорил Константин Федин, — в ее требованиях к писателям показать героя нового времени — опору искомого и должного в советской литературе». Именно Фурманов сделал в прозе решающий шаг от патетической романтики, которая неизбежно рождала схематизм, к подлинному социально-психологическому исследованию характера.

И одним из таких характеров, детально и глубоко исследованных писателем, останется Федор Клычков в «Чапаеве», как и Дмитрий Фурманов в «Красном десанте» и «Мятеже». Этот человеческий тип окажется близким и понятным читателю разных, в том числе и новых, поколений, это образ человека искреннего, страстного, умеющего любить и мечтать, образ человека кристальной чистоты, образ убежденного бойца партии большевиков. Образ комиссара.

●

НАШЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПРАВДА ИСТОРИИ

Константин Прийма, автор широко известной книги «Тихий Дон» сражается», опубликовал сборник статей о творчестве Михаила Александровича Шолохова. Новая работа К. Приймы интересна прежде всего с точки зрения познавательной. Особенно она полезна молодежи, любящей творчество нашего великого современника, но не всегда знающей его историю. А она, эта история, удивительно интересна, богата и полна драматических ситуаций.

С чего и как началась великая эпопея «Тихий Дон»? Константин Прийма получает ответ на этот вопрос в личной беседе с М. А. Шолоховым в его семейном кругу. «Было это 29 ноября 1974 года в станице Вешенской. Шолохов обратился к Марии Петровне:

— Может, ты припомнишь, с чего и как начался «Тихий Дон»?

И Мария Петровна, жена писателя, поведала о том, как весной 1926 года Михаил Александрович решил писать роман. «Хочу показать казачество в революции. План уже продуман. Надо приступать к работе. Так что поедем домой, Маша... Там будет легче дышать и писать». Вернувшись на Дон, они остановились в станице Букановской. «Сняли квартиру в доме кузнеца Долгова, — продолжает рассказ Мария Петровна. — За стеной ковали́ куют, а Миша сидит за столом, первые страницы «Тихого Дона» пишет. Трудностей было много». — «Их не перечесть! — подключается Шолохов. — Случалось, что денег не было и на табак. Бумаги недоставало».

К. Прийма спрашивает далее, как был найден образ Григория Мелехова? И писатель отвечает: «Все бралось из жизни». А затем рассказывает о том, что образ Григория Мелехова — это собирательный образ, художественный вымысел, что давался он писателю не сразу. И затем

Константин Прийма. С веком наравне. Ростовское книжное издательство, 1981.

Шолохов сообщает, что прототипами Григория, Петра и Дарьи Мелеховых была семья Дроздовых из хутора Плешакова, с которой под одной крышей в годы войны и революции жила семья Шолоховых. Братья Дроздовы, Алексей, черты портрета которого переданы Григорию, и Павел, прототип Петра Мелехова, были простые труженики, заслужившие храбростью на фронте георгиевские кресты и офицерское звание. «Однако, — рассказывает Шолохов, — в разработке сюжета стало ясно, что в подоснову образа Григория характер Алексея Дроздова не годится. И тут я увидел, что Ермаков более подходит к моему замыслу, каким должен быть Григорий. Его предки: бабка турчанка, четыре георгиевских креста за храбрость, служба в Красной гвардии, участие в восстании, затем сдача красным в плен и поход на польский фронт — все это меня очень увлекло в судьбе Ермакова. Труден у него был выбор пути в жизни, очень труден... Однако поверь, что и жизненного опыта Ермакова мне не хватало для того, чтобы создать образ мятущегося человека — правдоискателя Григория Мелехова, несущего в себе отблески трагизма эпохи. Образ Григория — это обобщение исканий многих людей». К этим последним глубочайшим суждениям писателя мы еще вернемся.

Историческим личностям и одновременно героям романа Харлампию Ермакову и Павлу Кудинову посвящены особые статьи. О Павле Кудинове мы узнаем, что он возглавлял Вешенское контрреволюционное восстание 1919 года, которое в повествовании «Тихого Дона» является кульминационным событием. После разгрома белых в Крыму Кудинов бежал в Турцию. Но скоро понял свои трагические заблуждения, снял полковничьи погоны и не только отошел от белогвардейского эмигрантского движения, но и стал активно бороться с ним, перейдя на положение рядового беженца. В 1922 году он переслал на родину письмо-обращение к соотечественникам, в котором призывал однополчан верно служить Советской власти. Это письмо было опубликовано 2 августа 1922 года в «Известиях Верхне-Донского окрисполкома и окружкома РКП(б)». С годами все про него забыли. Все, кроме простых людей. Некий казак Петр Плешаков, шофер, везший весной 1955 года К. Прийму в Вешенскую, спросил, узнавши, что пассажир едет к самому Шолохову:

— А почему в статьях о «Тихом Доне» так мало правды пишут о Павле Кудинове? Все контрой да контрой его изображают... А Кудинов палачом и не был.

Он и рассказал К. Прийме о письме-обращении Павла Кудинова, о его публикации в какой-то газете и о том, что сам автор письма жив. К. Прийма разыскал вышеназванную газету, а впоследствии установил, что П. Кудинов действительно проживает в Болгарии. И через какое-то время началась с ним интересная переписка, из которой выяснилось, что в годы второй мировой войны П. Кудинов участвовал в антифашистском движении и за это преследовался властями, что в колхозе он числится ударником, что он приезжал в 1956 году в Вешенскую, по

Шолохов в это время был за границей, и Кудинов не смог встретиться с ним.

На главный вопрос, интересовавший К. Прийму, — где и когда Кудинов прочел «Тихий Дон» и какое впечатление произвел на него роман, тот ответил большим взволнованным письмом: «Читал я «Тихий Дон» взахлеб, рыдал-горевал над ним и радовался — до чего же красиво и влюбленно все описано, и страдал-казнился — до чего же полынно-горька правда о нашем восстании. И знали бы вы, видели, как на чужбине казаки — батраки-поденщики собирались по вечерам у меня в сарае, и зачитывались «Тихим Доном» до слез, и пели старинные донские песни, проклиная Деникина, барона Врангеля, Черчилля и всю Антанту».

Павел Кудинов появляется на многих страницах третьей книги романа. Вот каким предстает он в описании Шолохова в тридцать второй главе третьей книги: «Суярова на должности командующего объединенными повстанческими силами сменил молодой, двадцативосьмилетний хорунжий Кудинов Павел, георгиевский кавалер всех четырех степеней, краснобай и умница. Отличался он слабохарактерностью, и не ему бы править мятежным округом в такое буревое время, но тянулись к нему казаки за простоту и обходительность. А главное, глубоко уходил корнями Кудинов в толщу казачества, откуда шел родом, и был лишен высокомерия и офицерской заносчивости, обычно свойственных выскочкам».

Из статьи «Над страницами автографов «Тихого Дона» мы узнаем о гибели летом 1942 года всего шолоховского архива, в том числе почти всех рукописей «Тихого Дона». В суровую осень первого года войны Шолохов приехал в Вешенскую, чтобы срочно эвакуировать в Заволжье свою семью — мать Анастасию Даниловну, жену Марию Петровну и четверых детей. Из своего архива он отобрал все самое ценное — рукописи четырех томов «Тихого Дона», первый и черновой набросок второй книги «Поднятой целины», письмо и телеграммы Сталина, письма Серафимовича, Островского, Фадеева, диплом лауреата Государственной премии, уникальные зарубежные издания своих произведений. Все это прочно было упаковано и закрыто в цинковом ящике, а затем сдано Вешенскому районному отделу НКВД. Летом 1942 года фашистские войска внезапно прорвались к станице Вешенской, и в спешке при срочной эвакуации управление НКВД потеряло шолоховский ящик. А вскоре на одной из улиц станицы бойцы, оборонявшие Вешенскую, собрали разгоняемые ветром страницы рукописи «Тихого Дона» и передали комбригу-танкисту, который хранил их всю войну, а по ее окончании передал М. А. Шолохову. По словам писателя, из автографов романа уцелела «примерно одна десятая часть».

В книге есть и другие статьи, также относящиеся к творческой истории «Тихого Дона». Однако отличаются они от предыдущих чувством резкого негодования. И действительно, эти статьи невозможно читать спокойно. Ведь творческая история «Тихого Дона» полна драматизма, а писательская судьба Михаила Шолохова была нелегкой!

Первые две книги романа

без особых затруднений появились в 1928 году в журнале «Октябрь». Эти книги были встречены восторженно как у нас, так и за рубежом. Но уже через несколько месяцев после их выхода на Шолохова обрушиваются не только несправедливые оценки, но и клевета.

В 20-е годы деятели РАППа в своих статьях и выступлениях, в речах и докладах на пленумах, конференциях и съездах начинают квалифицировать Шолохова как непролетарского художника, а журналы «На литературном посту», «Настоящее» и «На подъеме» третируют его как кулацкого и даже белогвардейского писателя.

Самые тяжелые времена наступают для Шолохова с того момента, когда в том же журнале «Октябрь» он опубликовал первые главы третьей книги романа (январь — февраль 1929 года). Этот журнал был органом РАППа. И вот руководство РАППа и редакция «Октября» принимают решение прекратить публикацию «Тихого Дона». После «изучения» рукописи третьей книги романа редакция журнала пришла к выводу, что Шолохов в своем романе не только «выдумал» какое-то контрреволюционное Вешенское восстание, но, выдумавши его, откровенно встал на его защиту. Это решение редакции было сообщено автору «Тихого Дона». Рапповцы забраковали свыше сорока глав. «Если всех слушать, — писал Шолохов А. М. Горькому в это время, — то три четверти нужно выбросить...» Почти три года не появлялось продолжение «Тихого Дона». Шолохов не мог работать. Его возмущали и невежество рапповских руководителей, незнание ими истории гражданской войны, и чья-то провокационная затея опорочить его честное имя.

В книге К. Приймы описывается, что ни заступничество А. Серафимовича, ни даже авторитет А. М. Горького не могли сломить силу сопротивления рапповцев. «В сложнейшей ситуации, — пишет автор сборника «С веком наравне», — только вмешательство Сталина могло решить вопрос о «Тихом Доне». Поэтому Алексей Максимович Горький организовал встречу Шолохова со Сталиным в середине июня 1931 года у себя на даче. Беседа была дружеской и обстоятельной. Все трое хорошо понимали значение этой встречи, которую Сталин закончил словами: «Третью книгу «Тихого Дона» печатать будем».

В работе К. Приймы раскрываются причины такого отношения к «Тихому Дону» со стороны разных людей и организаций, особенно к третьей книге романа. Эти причины неоднозначны.

В третьей книге идет решительное разоблачение троцкизма, коварной роли Троцкого и его сподручных в судьбе трудового казачества в сложные годы гражданской войны. Вопреки политике Ленина и нашей партии о братском союзе народов России с трудовым казачеством Троцкий, бывший тогда предреввоенсовета Южного фронта, выдвинул, а затем начал претворять в жизнь лозунг о «расказачивании» казачества. Троцкий представлял себе казачество в виде однородной, монолитной массы без классового расслоения, враждебно относящейся к Советской власти. Начались повальные и необоснованные расстрелы, высылки казачьих семей с Дона в глубь России,

запрещение носить казацкую одежду и именоваться казаком. Именно сословные и социальные предрассудки казачества, а также троцкистские перегибы привели к восстанию верхнедонского казачества в 1919 году, принесшему много горя и Красной Армии, и повстанцам.

М. Шолохов не только разоблачил эту провокационную роль троцкистов, но и назвал в романе тех, кто проводил в жизнь троцкистскую линию. Это были в то время председатель Донбюро РКП(б) С. Сырцов и комиссар Малкин. Но как раз в 1929—1930 годах, когда печатание «Тихого Дона» было прекращено, С. Сырцов занимал пост предсовнаркома РСФСР, а Малкин был ответственным работником ОГПУ. По обоснованному предположению К. Приймы, эти деятели старались делать все, чтобы опорочить и роман, и доброе имя его автора. Они имели влияние и на рапповцев и даже находили пути повлиять на Сталина.

У левацких группировок во главе с РАППом были свои причины приостановить публикацию «Тихого Дона». Они считали себя блюстителями «пролетарской чистоты» в литературе и открыто выражали политическое недоверие Шолохову. Рапповцы, вульгаризаторы в области искусства, не могли понять и принять глубочайшей художественной правды Шолохова, выразившейся в концепции о неизбежном переходе человечества от мира частной собственности к миру свободного коллективного труда и гениально воплотившейся в художественном образе Григория Мелехова.

Пройдя через ад, герой сохранил «очарование человека», признав Советскую власть единственно законной и самой справедливой для трудового человека. Однако многие литературоведы по-прежнему смотрели на Григория Мелехова как на преступника, выступившего против Советской власти во время Вешенского восстания 1919 года. А так как он на протяжении всего повествования не утрачивает своего человеческого обаяния, то по законам рапповской логики выходило, что автор не только сочувствует своему герою, но и одобряет его действия.

Именно от рапповцев, от их вульгарной узости понимания правды истории пошла, да еще и до сих пор бытует ошибочная концепция в трудах В. Лежнева, Л. Якименко, Ю. Лукина, В. Гуры и некоторых других. Они смотрели на Григория Мелехова как на врага Советской власти, бандита, отщепенца и т. п.

В книге К. Приймы говорится о том, что М. Шолохов, не вмешивавшийся в научные споры о «Тихом Доне» около тридцати лет, 25 августа 1957 года произнес свое первое слово о главном герое эпопеи. Вопреки господствовавшей тогда концепции «отщепенства» писатель указал на «очарование человека в Григории Мелехове».

Однако тогда мало кто из литературоведов прислушался к мнению Шолохова. И только спустя много лет литературоведы В. Щербина, А. Хватов, Л. Ершов, Ф. Бирюков, В. Петелин, А. Мацай, А. Метченко, В. Ковалев, П. Палиевский научно доказали вульгарно-социологическую сущность обанкротившейся концепции «отщепенства» и обосновали новый взгляд на ве-

ликое творение, приближающийся к позиции и замыслу автора.

Но, говорит далее К. Прийма, концепция «отщепенства» оказалась живучей, отголоски ее обнаруживаются в самых последних работах о Шолохове. И для примера ссылается на книгу В. Гуры «Как создавался «Тихий дон». К. Прийма пишет, что вся драматическая история «Тихого Дона» освещена критиком «предвзято и извращенно», а задержка рапповцами публикации третьей книги на два года и девять месяцев обходится молчанием. Зато В. Гура обвиняет самого Шолохова в задержке сдачи рукописи романа в редакцию. Он так и пишет: «От публикации последующих глав в это время отказался сам писатель». Ознакомившись с книгой В. Гуры и обратив внимание на это необоснованное утверждение, М. Шолохов сказал: «Я отказался сам?! Это неправда... Все эти годы — 1929—1931 — я вел упорную борьбу за публикацию третьей книги «Тихого Дона».

На вопрос, почему в работах Ю. Лукина, Л. Якименко, В. Гуры игнорировались определенные исторические события и факты, легшие в основу третьей книги «Тихого Дона», М. А. Шолохов ответил: «Боятся правды! Потому и молчат. Ведь их «концепция» об отщепенстве Григория Мелехова давно выброшена на свалку». Десятилетиями существовала концепция, в которую указанные критики верили и которую отстаивали, написавши для этого гору книг. Даже теперь, когда эта концепция, по словам Шолохова, выброшена на свалку, они еще сомневаются. Им трудно расстаться с ней раз и навсегда. Но дело решительно идет к тому, что они вынуждены будут смело посмотреть правде в глаза, и тогда все советское литературоведение, а значит, и школьное, и вузовское преподавание поднимутся на новую ступень в изучении великого, всемирно-актуального, подлинно гуманистического и истинно партийного творения гениального писателя. Книга К. Приймы «С веком наравне» страстно призывает к этому.

С. ШЕШУКОВ,
профессор

НАСЛЕДИЕ

Вопросы национально-исторического своеобразия России, образа жизни и традиций культуры русского народа, народности искусства и литературы стали в наше время полем ожесточенной идеологической борьбы, в которой активно развернули свою деятельность буржуазные ученые. Полемикой с ними и начинает Ф. Нестеров свою книгу «Связь времен».

«Буржуазная историография, — пишет он, — совершает двойной подлог, стремясь доказать, что исторический

Федор Нестеров. Связь времен. Опыт исторической публицистики. М., «Молодая гвардия», 1980.

опыт родины Октября якобы не имеет ценности для стран Запада. Октябрьская революция провозглашается исключительно русским явлением — тем самым под разряд национальных «особенностей» подводятся общие закономерности социального переворота (прежде всего диктатура пролетариата), те закономерности, которые должны действовать в любой социалистической революции». Создав исходную «модель» русского народа как отсталой и стихийной бунтарской массы, западные советологи, особенно американские (Т. Андерсон, Г. Маркузе, Д. Биллингтон), выводят из нее нигилистическую «теорию» Октябрьской революции, в которой набившая оскомину «русофобия» оборачивается обыкновенным антисоветизмом. Опровергая тезис буржуазной науки об отсталости России в экономическом и культурном развитии, автор книги «Связь времен» убедительно показывает исторические предпосылки поступательного движения трудового народа к социалистической революции, раскрывает истоки, говоря словами В. И. Ленина, «невиданного чуда», позволившего голодной и полуразрушенной Советской стране победить многочисленных врагов. «Но ведь чудо, если обойтись без ссылок на потусторонний мир, — пишет Ф. Нестеров, — есть внезапное появление на изломе событий дотоле скрытой реальности, когда при катаклизме пласты серой обыденности рассыпаются в прах и на поверхность выходит глубинная сущность. Нужно вглядеться в нее, чтобы постичь истинную связь времен, чтобы найти подлинные национально-исторические особенности России и ее великой революции, чтобы открыть наше неподдельное историческое наследие».

Конечно, столь грандиозную задачу полностью не решить в одной книге. В целом Ф. Нестеров помогает читателю вглядеться в глубинную сущность исторических процессов, происходивших в России на протяжении XIII — начала XX века. Исторически сложилось так, что Россия вынуждена была не раз решать вопрос: быть ей или не быть? Отсюда необходимость постоянно давать ответы на вызов судьбы — первые главы книги так и называются: «Исторический вызов» и «Ответ Москвы». Поэтому совсем не случайными и вполне убедительными выглядят приведенные в книге подсчеты русского историка В. О. Ключевского: менее чем за два с половиной века (с 1228 по 1462 год) великорусская народность вынесла 160 внешних войн. И в целом для России XIII—XVIII веков, пишет автор, «состояние мира было скорее исключением, а война — жестоким правилом... Поставленная судьбой на границе двух континентов, Русь прикрыла собой, как щитом, Европу от вторжения диких татаро-монгольских орд и в благодарность от нее получила удары в спину... Не успев еще сложиться в плотное этническое ядро, Великороссия должна была занять круговую оборону».

Что же помогло русскому народу выдержать испытания, победить сильных и лучше вооруженных врагов? Ф. Нестеров называет три фактора жизнестойкости и одновременно исторического величия России: строгая государственная

централизация власти, требовавшая полнейшего подчинения «уделов» и объединения земель вокруг Москвы; высокий уровень политической дисциплины всех классов и сословий, сходившихся на ратном поле против общего врага; и, наконец, такой могущественный фактор, как сила народного патриотизма. Истокам патриотизма автор отводит отдельную главу, в центре которой — трактовка Куликовской битвы с точки зрения исторической преемственности подвига русского народа как высочайшего проявления стойкости и величия народного духа. Русские «мужи» и «отроки» скромно и с достоинством приносили на алтарь победы свою жизнь, выполняя воинский долг. Личный пример Дмитрия Донского, вставшего простым воином в общий строй ратников, был образцом не одного лишь умения владеть оружием. «Русским ратным людям довольно и победы общей, одной на всех. Не энтузиазм, быстро вспыхивающий и легко угасающий, но спокойная готовность к выполнению воинского долга составляет основу этого вида мужества», — пишет Ф. Нестеров. Вот откуда в русской литературе ее высочайший гуманизм и нравственный пафос.

Как видим, в книге намечен глубокий историко-культурный срез явлений, концентрированно выражавших сущность сложившегося в прогрессивных слоях русского общества понимания народности. Ф. Нестеров прежде всего обращается к событиям на крутых поворотах истории, страницам героического эпоса народа — таким, например, как оборона Смоленска в 1609—1611 годах, Отечественная война 1812 года, восстание декабристов... Автор книги справедливо полагает, что в эти периоды отечественной истории демократическое содержание народности достигало своего ярчайшего выражения и сыграло в дальнейших судьбах России роль «узла», которым соединились традиции освободительного движения, революционный энтузиазм, безграничная вера в силы трудового народа, интернационализм и братская помощь другим народам. Рассматривая линии преемственности между традициями многовековой классовой борьбы угнетенных масс и российским революционным движением, Ф. Нестеров отмечает выступления трудового народа против самодержавия, самоотверженность и гуманизм, высокую гражданственность, преданность свободолюбивым идеалам, честь и достоинство защитника Отечества. «И сегодня в облике нашего современника, — пишет автор, — мы узнаем лучшие черты соотечественников, живших 100, 200, 500 и более лет назад. В этих чертах угадывается живая связь времен и поколений». Такова общая концепция книги, лейтмотивом которой служит идея неисчерпаемости духовных сил народа, высокого нравственного служения идеалам социальной справедливости и человеколюбия.

Можно выделить немало других удачных мест в книге. С неослабевающим интересом читаются, например, страницы из истории борьбы трудящихся против самодержавия, о гражданской войне в Сибири. Однако целесообразно обратить внимание на те моменты, где концепция автора недостаточно подкреплена аналитически, либо выглч-

дит чересчур односторонней, упрощается весьма спорными или парадоксальными толкованиями. Заметно прежде всего, что принципиальные общенаучные положения историзма, классовости и партийности исследования могли быть проведены в книге Ф. Нестерова с гораздо большей четкостью и последовательностью, что́ сделало бы повествование более убедительным и стройным одновременно. В связи с этим коснемся лишь исторически сложившегося понимания народности. Ф. Нестеров много пишет об этом, приводя интересный и довольно богатый материал. Однако автор берет за основу факты общенационального, всенародного звучания (Куликовская битва, Отечественная война 1812 года), то есть такие, содержание народности которых закономерно вобрало в себя общие национально-исторические интересы, выдвигавшие на первое место чувство патриотизма и национальной гордости. Между тем уже В. Г. Белинский, опиравшийся на прочный фундамент историзма, внес в понимание народности классовую трактовку, выделив как основную историческую тенденцию живое творчество трудовых масс и социальный протест русского крестьянства против самодержавия и помещиков. Стоило бы, по всей видимости, сказать в книге «Связь времен» о борьбе революционеров-демократов, всей передовой русской культуры против господствовавшей в середине XIX века теории так называемой «официальной народности», служившей долгое время удобной идеологической «уздой», которую господствующие классы набрасывали — не без помощи либеральных теоретиков «чистого искусства» — на массы трудового народа.

К тому же понятие народности, будучи краеугольным в марксистско-ленинском учении о культуре, требует для своего всестороннего уяснения привлечения материалов не одной лишь общей истории: здесь не обойтись без достижений эстетики, литературы и других видов искусства, без литературной критики и социологии. Вряд ли правомерно ограничиваться лишь несколькими пунктирно прочерченными линиями исторической преемственности, вскользь касаясь, к примеру, национального вопроса или роли классической русской литературы в разработке передовой революционной теории... В таком случае, вероятно, неизбежны потери не только стилистического свойства.

Характерный тому пример — глава «Сила патриотизма», где говорится об умении русских воинов и ополченцев отстаивать каждую пядь земли, держаться в бою до последнего. Здесь же автор замечает, что западные историки и теоретики военного искусства не находят ничего предосудительного в капитуляции перед превосходящими силами противника. Ф. Нестеров, желая подкрепить эту мысль, пишет: «Великий Роден в скульптурной группе «Граждане Кале» увековечил сдачу города на милость английского короля». Такое неожиданное толкование памятника способно вызвать по крайней мере удивление. Скульптура «Граждане города Кале» Родена увековечила отнюдь не капитуляцию, а героический подвиг Эсташа де Сен-Пьера, пожертвовавшего

собой во имя спасения своего города от разрушения английскими войсками.

Вообще проблема историко-культурной общности, типологического сходства и национально-исторического различия духовных культур могла бы многое прояснить в общей концепции книги «Связь времен». Проведи автор взятые им линии преемственности на более твердой исторической основе, проследи он линии «сцепления» между сходными событиями и явлениями в истории, идея патриотизма и героизма русского народа получила бы более яркое и убедительное подтверждение... В главе «Октябрьская буря», которой заканчивается книга, Ф. Нестеров приводит слова сибирского крестьянина Полунова, сказанные им колчаковцам перед расстрелом жителей деревни Казанки: «Я стою за власть народа. А народ стоит за власть Советскую. Значит, и я думаю так, как весь народ. Я против народа не ходок». Полунов и есть тот подлинный представитель народа, его истинный исторический герой, который вырос на традициях стойкого патриотизма, когда подвиг есть нравственная мера жизни, народно-этическая норма и одновременно высокий жизненный образец...

О живой связи поколений, традициях отечественной культуры и движении истории мы задумываемся не только в дни юбилейных дат. Таково свойство дорогого нам прошлого; сколько бы ни проходило времени, а самое памятное, героическое и славное словно бы рядом с нами, и не за спиной оно, а чуть-чуть впереди: уверенно ведет нас по дороге в будущее и строго проверяет...

Ощущением этой животворной связи эпох в истории нашей Родины было проникнуто 600-летие Куликовской битвы, широко отмеченное народами Советской страны осенью прошлого года. «Именно на Куликовом поле впервые проявились те черты, что выделят впоследствии Россию из Европы и придадут ей неповторимый национальный облик», — эти слова взяты из книги Ф. Нестерова. Ее подзаголовок — «Опыт исторической публицистики» — определяет живую и страстную форму повествования, а подчас и весьма острые полемические отступления. Однако полемический нерв книги не свойство одного лишь жанра, он вполне закономерен, особенно в тех случаях, когда речь идет об исторической памяти народа, о его судьбе, его вкладе в развитие мировой культуры. Автор заставляет нас задуматься о явлениях, которые в совокупности составляют понятие исторического примера, или того, что в 1920 году В. И. Ленин называл «русским образцом», говоря о мировом значении Великого Октября.

Не следует преувеличивать значение национально-исторических особенностей во всемирном историческом процессе; однако же и не меньшей ошибкой для наследников и потомков тех, кто совершил величайшую пролетарскую революцию, было бы замалчивание этих особенностей, забвение всего того, что непосредственно вытекает из традиций российского революционного движения, из всей многовековой истории России, ее великой культуры.

Николай ЗАЙЦЕВ

СОКРОВИЩА ДЯТЬКОВСКОЙ МЕСТИНЫ

На Руси всегда были подвижники, неугомонные люди, собирающие песни и пословицы, сказки и былины: А. Гильфердинг, братья Соколовы, В. Даль, А. Афанасьев, многие менее известные собиратели, бескорыстно и преданно трудившиеся на благо своего народа.

Не перевелись такие энтузиасты и поныне. Журналист из Брянска Юрий Лодкин из их числа. В течение ряда лет он по крупицам собирал изустные предания о дятьковских стеклодувах. Человек не сторонний — он сам работал одно время на Дятьковском хрустальном заводе, — выпустивший не так давно книгу очерков «Хрустальщики» о замечательных мастерах этого прославленного предприятия, Ю. Лодкин представил теперь читателям сборник сказов.

Книга Ю. Лодкина впитала сюжетные мотивы, порой фантастические образы, народную мудрость устного народного творчества. Однако Ю. Лодкин не фольклорист-обработчик, а самостоятельный художник, использовавший в своем творчестве глубокое знание труда стеклоделов, истории предприятия, быта и нравов прошлого, народного языка.

Рассказывая об искусстве дятьковских умельцев, о талантливости русского рабочего, Ю. Лодкин вместе с тем ставит в своих произведениях вечные вопросы об истинной нравственности, о душевной красоте, законах творчества.

Во все времена у трудового человека было развито чувство собственного достоинства и гордости за свое умение, уверенность в том, что если он своими руками не сделает дела, то «ни бог, ни черт не помогут».

Герою сказа «Солнечный камень» Петру Зайцеву пришлось везти хрустальное ложе, которое он сам сработал, в подарок персидскому шаху от русского царя. Восхищению шаха не было предела, и он предположил, что такое чудо даже самый лучший мастер в мире может сделать только один раз в жизни. На эти слова Петр Зайцев гордо возразил: «...Для настоящего мастера нет границы. Хрустальное ложе и впрямь недурно сделано, но вот коли Родина наша, Россия-матушка прикажет, то, уж будь уверен, светлейший шах, русские мастеровые такое чудо сообразят, какое и высокоименитым, и высокородным, и высокоместным, и всем прочим государям-императорам не снилось».

Другой мастер, Григорий Белов, герой сказа «Золотой рубин», оскорбился подачкой попа, давшего ему золотую пятерку, лишь бы тот сварил красное стекло для церкви: «Мы с голоду мрем. А вы в церкви по пятаку последнему с нас грабите да потом нашими же пятаками одариваете».

Схватил Григорий у попа монету и швырнул в печку.

Запороли насмерть Григория, но не сломили его. Друг Григория, Василий Чуков, позже догадался, как получить стекло рубинового цве-

---

Ю. Лодкин. Хрустальная радуга. Тула. Приокское книжное изд-во, 1980.

та, его тоже пороли, да не выдал он тайну в память о загубленном друге, лишь сыну секрет свой передал, а уж тот его раскрыл, когда варили стекло для кремлевских звезд.

Такие вот люди, трудолюбивые, верные своему слову, надежные в дружбе и любви, люди благородных чувств, и являются главными героями сказов.

В сказах присутствуют не только реально жившие когда-то люди, но и существа, созданные богатым народным воображением. Фантастические персонажи сказов олицетворяют стихийные силы природы, которая доверяет свои тайны только трудолюбивым, настойчивым и чистым душой: старик-лесовик одному подарит колоколец стеклянный, другому рисунок для вазы подскажет, изукрасит инеем оконное стекло, третьему посоветует разрыв-траву в расплав бросить; у злого же, нечестного человека огонь в печи гасит.

Талант мастера-самородка испокон века поражал воображение, рождал в народе легенды о его сговоре с волшебными силами. Самых знаменитых мастеров своего дела в далекие времена называли колдунами: Ку́да-стеклодела, ученика Ломоносова, Николу-травозная, любохонских чугунолитейщиков.

Вот и об Иване Ивановиче Браткове говорили, что ему Красный Кочеток, который в стекловаренных печах огнем правит, заветное слово сказал, «своей вызовкой одарил» и пришел на выручку в трудную минуту, когда фашисты заставляли на себя работать: сгорели басурманы, и пепла не осталось.

Ю. Лодкин сумел придать фантастическим персонажам необыкновенную поэтичность и наделил каждого своим характером. Поэтична история о том, как беглого крепостного Арсена Дятькова лес к себе принял, от разъяренной барыни Мальцовой укрыл, свою силу передал, а дочку его спрятал от злой купчихи ручей, родник ключевой. С тех пор и случается в разных местах лесовика Арсена видеть, но все близко от воды, где может с дочкой встретиться.

Но это еще не весь сказ. Главное в том, что когда купчиха ударила со всего маху кнутовищем Дятькова, то раскололся осколок хрустальный, что Арсен на груди берег: «Рассыпалась хрусталина малыми дольками, поднялись они над лесом синими звездами и вниз упали... Ежели кому попадет звездочка-хрусталинка малая, тому откроется, как поделку сработать затейливую... Только непростое дело добыть ту каплю-хрусталинку: к каждому листику, к каждой былинке приглянуться в лесу надобно, под каждый кустик заглянуть... Уж многие искали, не у всякого терпенья хватило».

Тяжела была жизнь крепостного хрустальщика: и били его за малейшую провинность, и в подвал сажали, и голодом морили, с семьями разлучали, могли и вовсе сгноить где-нибудь в дальней лесной избушке. Но никакие тяготы жизни не могли сломить душу талантливого умельца, убить в нем стремление к красоте. Не могли задушить и свободолюбие. Тема протеста, борьбы угнетенных за революционное освобождение органично входит в сказы Лодкина «Грашкины выкладки» и «Заветный камешек».

Завершает книгу «Слово о

дятьковском хрустале», в котором рассказывается, какого расцвета достигло хрустальное производство в последние годы, о том, как ценится в настоящее время искусство дятьковских мастеров.

«Вот уже без малого два столетия полыхают в лесном крае стекловаренные печи и выплескивают наружу радужное буйство красок. Два века поют здесь точильные камни, на которых под умелыми руками мастеров рождаются сказочные сокровища. И на чистом глянце хрустальных ваз распускаются фантастические цветы, рассыпается изморозь сверкающих граней, матовые нити переплетаются в тончайшее кружево...»

Закрывая книгу, испытываешь признательность автору, который донес до нас всю прелесть чудесных преданий.

Е. ПАНФИЛОВА

Первая страница обложки журнала: «За власть Советов» — иллюстрация из книги «Сын России». Художники О. Ан и К. и Б. Кукулиевы. Четвертая страница обложки: Эстонское село. Фото Н. Васильева.

Рисунки в номере художника Л. Белова (с. 27, 88).

Главный редактор **Анатолий ИВАНОВ**

Редакционная коллегия: **Валерий ГАНИЧЕВ, Вячеслав ГОРБАЧЕВ** (заместитель главного редактора), **Нодар ДУМБАДЗЕ, Александр ИГОШЕВ** (ответственный секретарь), **Александр КОЛЯКИН, Борис ЛЕОНОВ, Михаил ЛОБАНОВ, Сергей ЛЫКОШИН, Борис ОЛЕЙНИК, Петр ПРОСКУРИН, Иван САВЕЛЬЕВ, Владимир СЕМЕНОВ, Иван УХАНОВ, Василий ФЕДОРОВ, Владимир ФИРСОВ, Вячеслав ШУГАЕВ, Виктор ЯКОВЕНКО** (первый заместитель главного редактора).

Художественный редактор В. Недогонов

Технический редактор Н. Строева

Сдано в набор 04.09.81. Подп. к печ. 27.10.81. А09850.
Формат 84×108 1/32. Печать высокая. Условн. печ. л. 16,8.
Уч.-изд. л. 21,4. Тираж 870 000 экз. Цена 60 коп. Заказ 1430.
Типография ордена Трудового Красного Знамени
изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

Отлично проявил себя транзисторный переносный радиоприемник «СОКОЛ-308».

Точная настройка и оптимальная выходная мощность позволяют уверенно принимать радиостанции на волнах СВ, КВ и УКВ. В диапазонах УКВ подстройка частоты автоматическая.

Удобно расположенные на передней панели органы управления, декоративная металлическая отделка корпуса соответствуют современным требованиям.

Цена — 78 руб.

С технической характеристикой можно познакомиться в магазинах, торгующих транзисторными радиоприемниками.

ЦКРО «РАДИОТЕХНИКА»

Цена 60 коп.

Индекс 70544